

3

ГАММЛЕЯ

Литературно-художественный журнал

ГАММЛЕЯ

Израиль
1999/2000

3

Г А Л И Л Е Я

Литературно-художественный журнал

№ 3

*Федерация Союзов писателей
государства Израиль
(северное отделение)*

*Литературное объединение "Галилея"
Амута "Мишнаха — байт хазак"*

*Издательство
Федерации Союзов писателей
государства Израиль
1999-2000*

”Галилея” — общеизраильский журнал.

”В переводе с оригинала слово ”Галиль” (Галилея) обозначает два понятия. Первое — некое пространство земного проживания, очерченное кругом, округ. Второе — сверток. Я бы разыграл эти понятия следующим образом: округ — это пространство, сверток — свернутое наподобие священного свитка время этих мест, несущее события, ставшие поистине главнейшими в жизни человечества”.

(Из напутствия Ефрема Бауха первому номеру журнала ”Галилея”).

Журнал выходит в свет при содействии
Министерства абсорбции
государства Израиль

***Главный редактор* Марк Азов**

Редакционная коллегия:

**Валерия Баргашник, Анна Реак,
Юрий Супоницкий, Анна Фишелева,
Грэгори Фридберг**

***Художник* — Мирьям Азова
На обложке фото Грэгори Фридберга
*”Ожидание” и ”Свет”***

Copyright "Galilea"

**No part of this publication
may be reproduced
in any form or by any means,
without permission**

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г., Хайфа

All rights reserved

ISBN - 965-7030-08-0 - 1"лппп

Рудольф Ольшевский

ИНОРОДЕЦ

“Оказалось, что родина есть у меня

Семен Липкин

По чужбинам рассеялось древнее племя,
У чужих очагов уцелеть повезло.
Виноградное семечко, сладкое семя
Стало горьким и в стылой земле проросло.

По каким плоскогорьям оно прикатилось,
Приглушенное эхо библейской души?
Иудейская ветвь. Чья жестокая милость
Сохранила ее в местечковой глуши?

Ни хозяева этих пределов, ни гости,
Корни где-то, а ветви зеленые тут.
Виноградная косточка, белые кости
Грамотеев, философов, сельских зануд.

Инородцы – народ из иных поколений.
Из пророков в торговцы, в ткачи, в скорняки.
Через тысячу лет только камни и тени,
И пустых европейских широт сквозняки.

И вина, что чужой, что божественным знаком,
Ошалелым сознанием мрак осветя,
Не явился испанцем, германцем, поляком,
Россиянином на маскарад бытия.

Вырой возле отцовского дома колодец,
Но прольется когда золотая струя,
Не твоя это будет вода, инородец,
Можешь пить ее, только она не твоя.

Это эхо судьбы. Ни обиды, ни злости.
Это ноют в земле посредине зимы
На чужбине родной виноградные кости.
Слышу голос, за мною летящий из тьмы:

Не твоя это родина с вешней капелью,
С деревянной церквушкой и тенью коня.
Не твое это дерево над колыбелью,
Хоть его во дворе посадила родня.

Ты здесь вырос, ты выбрал жену и дорогу,
Но не думай, что держишь синицу в руке.
Ты ругаешься и обращаешься к Богу,
И во сне говоришь на чужом языке.

Виноградное семечко, сладкое семя,
Вот откуда оно, жаром дышат поля.
И за каждой оградой минувшее время,
И красна, как в России рябина, земля.

Вифлеем – ослепительно, празднично, сухо.
Галилея – как колокол ожил в тиши.
Имена здесь открыты для русского слуха,
Каждый звук обнажен для еврейской души.

Эти лица сошедших с икон бѣгородиц,
Эти камни – остывшие слитки огня.
Значит, я не для всякой земли инородец,
Оказалось, что родина есть у меня.

Пусть она для меня не родная, иная,
Пусть не ведаю я своих предков имен,
Но стоит моя память у склона Синая,
В стороне от людей, вне пространств и времен.

Оказалось, что горсточка глины под солнцем
И отара в загоне, и в поле стерня
Есть не только у чукчей, чечни и чухонцев.
Оказалось, что есть это и у меня.

Марк Азов

ИЦИК ШРАЙБЕР В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ

Эпизоды

- Дедушка, это что?*
- Плавающие водоросли.*
- Они не достают до дна!*
- Ну, да.*
- Так как же они живут?*
- ...Сами по себе.*

В последние годы автору все чаще и чаще приходится слышать: мол, так и так, человек ты не молодой, бывалый – вот и расскажи нам то да се из своих личных жизненных впечатлений.

И я бы с радостью, да есть такая фраза, принадлежащая неизвестному гению:

“Врет, как очевидец”.

И еще есть притча, сочиненная мною лично. Она так и называется:

Очевидец

– Вы, правда, видели, как Самсон побивал филистимлян ослиной челюстью?

– Как вам сказать?.. Кто-то кого-то побивал, а я – без челюсти.

Так вот, опасаясь потерять последнюю вставную челюсть, я буду врать не о себе лично, а о некоем весьма близком мне персонаже по имени Ицик Шрайбер.

I. Ицик Шрайбер и Сковорода

Воспитательница детского санатория собрала задохликов в белых пижамках, построила парами и, повелев крепко взяться за руки, повела, как

“мальчиков-с-пальчиков”, в темный лес. Долго шли они сырým лесом все вниз и вниз, скользя по прошлогоднему гнилью. В дырчатые сандалики заползали кусучие мураши... А на самом дне урочища, где в промоине обнажились первобытные гранитные глыбы, тек да тек себе неслышно и неспешно тонесенький струмочек (ручеек). Вода в нем была красно-прекрасная от природного железа, и глухо было, как в недрах Земли.

Ицик, вцепившись в руку девочки – своей пары, замер, и все другие в белых пижамках, казалось, вросли в землю, как грибы-шампиньоны.

– Туточки, – сказала воспитательница, – біля цього джерела любив сидіти видатний український філософ Григорій Савич Сковорода.

При слове “сковорода” некоторые захихикали. Но уж больно было темно и сыро. И вода делала свое дело, точила железный камень, окрашиваясь в бурый кровавый цвет...

...Прошло время, и в харьковской “держопере” – державном (государственном) оперном театре Ицик услышал стихи на “суржике” – полуукраинском слободском диалекте:

“Всякому городу нрав и права,
Каждый имеет свой ум-голова...”

Слова эти придумал Сковорода. Здесь был его, Сковороды, город, с его, города, нравами и правами. Здесь Григорий Савич нашел свой источник – “джерело”. А Ицик Шрайбер не искал вовсе: не думал, что это может понадобиться, – он жил, как в сказке, по принципу: “пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”, – то есть просто-напросто гулял.

“Лопань в Харькове не течет” – мнемоническое правило для запоминания трех харьковских рек: Лопани, Харькова и Нетечи. А еще Уды и Мжа – многовато для такого сухого места – целый гадючий клубок темных вод под зеленой ряской среди свалок, на дне яров и под обрывами.

Помнится, пацанами цеплялись на “рембуль” (трамвай) и тряслись верхом на буфере до самой Нетеченской, а там скатывались к ржавой воде, ловили жабенят в консервную банку. Наш герой лежал пузом на траве и созерцал жизнь под латухами (а не лопухами, уважаемый читатель) – там жили головастики, одни еще как булавки, другие уже с лапками, хотя еще при хвостах...

Кто знает, чей это город, чья историческая родина: пацанов или головастиков? Боюсь, ответ будет в пользу последних. А если не под латухи зырить, а еще глубже – голова закружится, какая откроется бездна! Ведь лежим-то мы не пузом на траве, а на дне юрских морей – мелового периода. Тут прилежно жили и исправно умирали мириады

ракушек, потому на размытых обрывах обнажается мел – та самая “крейда”, которой учитель в школе записал на доске всю эту премудрость... И, выходит, трудолюбивые ракушки, а не мы с вами заложили здесь город. Кабы родился великан и сдул одним дыхом всю эту коросту крыш, стен, квартир-клоповников с коврами, половиками, полосатыми матрасами и всеми нами заодно – то и открылись бы великие холмы, ныне так привычно называемые: Университетская горка, Журавлевка – Журавлиная гора и Нагорный район, и Холодная гора – Холодайка, и Лысая гора – все это работа тружеников моря. А мы лишь нагромодили на тех нерушимых фундаментах свои временные жилища. Да и кто мы такие? Мы здесь вообще без году неделя. Новоселы, можно сказать. До нас среди этих холмов порезвились и скифы, и половцы. Помните, ребята, по средней школе, как Северский Донец, куда, кстати, впадают все харьковские реки, лелеял меж своими сребристыми берегами дубок князя Игоря, когда тот драпал из плена половецкого?.. И “неразумные хазары”, которые поразумнее остальных: вместо каменной бабы стали поклоняться Книге... И татары. Одни названия чего стоят – Мерефа, Мурафа, Изюм... Жили, прожили, прошумели, и даже пыль после них улеглась. Тоскуют во дворе музейном безликие каменные бабы, точит железный камень “джерело” Сквороды.

Скворода свой источник нашел. А наивный ягненок Ицик Шрайбер всего лишь лакал, из него время от времени ржавую воду, не зная, не ведая, что как раз он, Ицик Шрайбер, не имеет ко всему этому напрочь никакого отношения. И никакой ему Волк из басни дедушки Крылова не сделал тогда замечания:

“Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое...”

Так и блаженствовал в счастливом неведеньи, пока не купили Изе Шрайберу украинскую рубаху.

II. Ицик Шрайбер и украинский язык

Купили мальчику Изе Шрайберу украинскую рубаху. Очень хорошая для лета рубашка из нежаркого льняного полотна с вышитой крестиком планкой и воротничком. Все носили. А Ицик, как всякий пацан, вообще не замечал, что на нем надето. Стоит на подножке трамвая, обдуваемый пыльным ветром под названием “харьковский дождь”, так что белая

рубаша на нем чернеет на глазах... Но пацан на то и пацан – не замечает, что на нем надето. Зато другой пассажир, уже вполне половозрелый дядька, смотрит с площадки на интеллигентную эту шейку, продетую в колечко «вышиванного» воротничка, и как-то ему, дядьке, становится некомфортно. И тошно ему, и грустно, и, как говорится, некому морду набить. Словом, плохо ему от этого живется.

И мальчик улавливает страдальческий дядин взгляд, хотя, впрочем, понять не может, чем это он так огорчает дяденьку. Может, тем, что едет на подножке и без билета?

А дяденька не сводит глаз с вышитой крестиком планки и вдруг как бы не для посторонних ушей, а лишь для себя одного произносит с большим сожалением:

– Раньше в этом городе жили украинцы...

Жили, а как же, жили! Почему бы не жить? Старые ухоженные земли по Днепру отошли реестровым казакам, коих цари да царицы жаловали за верность российскому престолу, а здесь – земля для тех украинцев, кому места не забронировали в калашном ряду. Слободская Украина. Слободской край. Слобода. Слободка. В слободках, за стенами крепостей, всегда селился всякий-разный люд, и не только украинцы, а еще и армяне, греки, цыгане, караимы, евреи, ассирийцы. О русских не говорим: русские не только приезжали из России, но и тут же из украинцев делались. Сунь “хабара” писарчуку, и он тебе пришпандорит к фамилии на “ко” – “Коваленко” – литеру “в”: Коваленков, Гарбузенков, да хоть бы и Переперденков – своя рука владыка.

(Много позже ходил анекдот:

– Почему нашего Левочку в институт не приняли? У него тоже фамилия на “ко”, только не сзади, а спереди: Коган”.

И еще жил в Харькове еврей с фамилией на “ко” и в конце, и в начале: Комиссаренко.)

Основа, конечно, была украинская, Основа с большой буквы, откуда пошли украинские просветители Слободского края, скажем, тот же Квитка-Основ’яненко... Но надо же – на Основе еврей Гольдберг, владелец извозчичьих бирж, возвел христианский храм, именуемый и поныне Гольдбергская церква. А улицы: Москалевка, где жили поначалу москальи, потом – евреи (говорили: “улица Моськи и Левки”), Армянский переулок... Они где, не в Харькове?

Всего этого дядька с площадки харьковского трамвая, “одиннадцатой марки”, не “зважавав”, то есть не учитывал, конечно, – но, что самое примечательное, свою сакраментальную фразу: “Раньше здесь жили украинцы” – произнес он, между прочим, по-русски.

В том, что украинцы, жившие в этом городе, забывали родной язык, теперь говорят: большевики виноваты – наряду с электрификацией проводили русификацию всей страны.

Может быть, может быть. С большевиками не соскучишься. То у них русификация, то, наоборот, украинизация. Как раз в момент нашей трагической истории владычествовал на Украине большевик товарищ Скрыпник, который волею партии повелел всем и вся перейти на украинскую мову.

Подробности скрыпниковской реформы Ицик Шрайбер узнал гораздо позже, когда уже стал взрослым и учился в университете...

(Надеюсь, читатель не откажется совершить небольшой перелет во времени. Тем более бесплатно.)

Преподаватель истории философии любил поболтать со студентами, чтоб и самому не заснуть. Да-а... Фамилия преподавателя была Сухов, как у известного красноармейца из “Белого солнца пустыни”. Сухов-преподаватель, вопреки своей фамилии, никогда не просыхал. Он мог, не слезая с кафедры, достать из пузатого портфеля чекушку, подмигнуть аудитории: “Лекарство, доктор прописал”, – “хильнуть” и продолжить лекцию в таком примерно духе:

– Философ Диоген, ясно, не от хорошей жизни, жил в бочке и ходил в рубище. У него “пети-мети” не было даже на то, чтобы жертву богам принести, как у них тогда было положено. Так он что делает? Ловит вошь. Этого добра у греков на всех хватало. И хлоп... давит на алтаре... Его, ясное дело, судить – “оскорбление святыни”. А он же тоже не пальцем деланный – одно слово, философ, стихийный материалист. Он что делает? Прибегает к диалектике – толкает им оправдательную речь: мол, так и так, по закону в жертву положено приносить домашний скот, ну там ягненок, теленок, бычок. А кто докажет, что вошь не домашнее животное, если она у меня вот тут... распахивает свое рубище... живет?! Может, она еще ближе к телу, чем какой-нибудь козел?! Аргумент?! Крыть нечем. Оправдательный приговор! – лектор “принимает” еще чуть-чуть из своего флакончика и подводит итог: – Теперь поняли, что я буду спрашивать на экзамене?.. Не поняли?.. Я буду спрашивать три источника марксизма!..

И тот же Сухов делился воспоминаниями о том, как при Скрыпнике довелось ему переходить на украинский язык:

– Читаю лекцию. Входит комиссия. Я сразу: “Так ось я й кажу...” Комиссия выходит – продолжаю: “Так вот, я и говорю...”

В это время звенит звонок, и доцент Сухов, сгребая с кафедры свой побулькивающий портфель, отправляется в туалет “добавить лекарства”.

Там, в мужской аудитории, он добавляет еще и анекдот про скрипни-ковскую украинизацию:

“Значит, приезжает Скрипник в Москву-Кремль ко всесоюзному ста-росте товарищу Калинину и просит два (аж целых два!) миллиона на ук-раинизацию.

- Зачем вам, – спрашивает Калинин, – столько миллионов?
- Надо же все перевести на украинский язык – документы, вывески...
- Гм... А как будет по-украински, допустим, хлеб?
- Хліб.
- А стол?
- Стіл.
- Гм... А жопа?

(Автор просит учесть, что из анекдота, как из песни, слова не выки-нешь.)

- Срака!.. Совсем не то слово, что по-русски, Михаил Иванович!
- Так что же вам, товарищ Скрипник, целых два миллиона под одну сраку?!”

Анекдот этот, как вы сами понимаете, безнадежно устарел. Ну что в наше время какие-то два миллиона?! Но тогда украинские большевики, видимо, рассудили, что национальное достоинство им не по карману – дешевле обойдется израсходовать на Скрипника одну пулю из нагана...

Впрочем, на партийную линию это не повлияло. Она, сколько ни вы-прямяй, всегда оставалась ломаной. Не все ревнители “рідної мови” сти-рались в лагерную пыль, а лишь уличенные в национализме. Даже комму-нистический царь, коего инициалы были, как у Грозного Ивана Василье-вича, “И.В.”, – Иосиф Виссарионович любил, чтобы перед ним Микита выплясывал гопака. И на разных декадах в первопрестольной прилежно славили “старшего брата” дрессированные хохлы.

В том же Харьковском университете, когда там учился Ицик, лекции по украинской советской литературе читал доцент с замечательным про-звищем Кырпычина. Говорят, он не знал, как сказать по-украински “крае-угольный камень”, поэтому излагал так:

- Тычина – це кырпычина української радянської поезії.

Павло Тычина в то время стал наркомом (министром) просвещения, а был неплохим поэтом, пока не скурвился...

А по коридорам филфака расхаживал декан по фамилии Рева в “выши-ванной” сорочке и академической, почему-то, шапочке. Рева “розмовляв виключно українською мовою і робив зауваження”, в частности, Ицику, который вывешивал стенную газету:

- Чому це у вас російська газета? Жівете на Україні, вчитесь в ук-раїнському учбовому закладі, ще й українське сало їсьте...

С салом в 1946-м было туговато, а мову Ицик знал не хуже коренного населения. Вообще, кто осмелится утверждать, что ицики не коренное население того замечательного города? Был даже такой городской анекдот:

“В трамвае. Кондуктор объявляет:

– Остановка – улица Свердлова.

– А бившая? – спрашивает старый еврей.

– Бывшая – Екатеринославская.

Едут дальше.

– Площадь Розы Люксембург! – кричит кондуктор.

– А бившая?

– Павловская.

Пассажир на время успокаивается.

– Остановка – площадь Тевелева!

– А бившая?

– Послушайте, товарищ еврей, бывшая жидовская морда! У меня уже нет на вас терпения!..”

Но, как говорится, на чьем возу сидишь... Даже животные одной породы в разных странах изъясняются по-разному. Это поразительное открытие Ицик сделал еще в детстве. В русской книге петух пел “ку-ка-ре-ку”, а в немецкой, представьте себе, “ки-ки-ри-ки”. Кошка по-русски произносит “мяу”, а по-украински, на что уж близкие языки, “няу”.

А Ицику к тому же повезло с учительницей. Екатерина Ивановна Доценко пришла на свой первый урок в их классе ополоумевшая от счастья:

– Діточки! Ой, що я зараз бачила! Цуценятко (щеночка)! Воно ж таке манесеньке, білесеньке, пухнасте (пушистое)!..

Потом они с ней читали “Энеиду” Котляревского:

“Эней був парубок моторний
И хлопець хоч куди козак...”

И ласковое, и смешное, как тот щенок. Нет, по-русски так не скажешь. Это язык веселого сердца.

...Короче, Ицик взял и написал для той стенгазетки байку из студенческой жизни “виключно українською мовою”. Там, среди прочих, были таковы слова:

“Деканом був тоді осел,
Який вважав себе за лева (льва).
Він звався Рева”.

Естественно, сидевший внутри Шрайбера саморедатор ту строку, где осел упоминался по фамилии, изъял. Но басню к тому времени весь факультет знал наизусть. Так что перед газеткой уже толпились знатоки, когда в своей вышитой сорочке подошел декан Рева.

– Оце добре, товаришу Шрайбер, – похвалил он, – шо вы не плюете у криницю, з якої п’єте... Така жива, така барвиста народна мова... Одне лише маленьке зауважання: чому це у вас декан теж цей... э-э-э... ме-е-е... бе-е-е... ну звір?

– Так байка ж, – поспешил объяснить товарищ Шрайбер. – Эзоповский язык. Якби декан був людиною, а його студенти звіри, то це був би не університет, а цирк, выбачте.

– Э-э-э, – не сразу нашелся Рева, – якщо эзоповський... хай буде так.

И пошел под сдержанный регот дальше по коридору.

* * *

Вот так Ицик Шрайбер шутил с языком доисторической родины еще много раз, пока не дошутился до исторической.

И вот совсем недавно ехал он в автобусе, в котором ехали две глубоко ватиковых *гверот* и недобро косились на Ицика, хотя он уже далеко не мальчик.

– Они, эти *олим ми-Русия*, упорно не желают овладеть ивритом, – сказала одна другой... по-румынски.

III. Якив-Мейше и эсперанто

Ицик Шрайбер происходил от воинственных евреев. Его дед до того боялся воинской службы, что сбежал из Российской империи аж в Персию, где ему сделали пластическую операцию (в чем она состояла, можно только с трудом догадываться) и выправили фальшивые документы на имя терского казака. В результате, куда денешься, пришлось служить как миленькому. Дослужился даже до урядника, после чего каким-то таинственным образом вновь очутился в местечке в качестве еврейского портного Шрайбера, который посещал синагогу, ел фиш и по вечерам на завалинке рассказывал всем, кому еще не надоело слушать, эту свою увлекательную историю. Некоторые верили. Ицик – тоже, хотя деда по отцовской линии не видал, но зато знал своего отца, сына покойного еврейского казака, тоже, между прочим, кавалериста. В шифоньере у Шрайберов меж зимних вещей, пересыпанных нафталином, висела наградная “серебряная шашка” с дарственной надписью самого командарма Буденного: “Пламенному бойцу товаришу Шрайберу Якив-Мейше за беззаветную...” и т.д.

Потрогать жало клинка Яков Соломонович ребенку не позволял, говоря:

– Рано. Ты еще пороху не нюхал.

Чего-чего, а этого добра Ицик впоследствии нанюхался, пожалуй, больше своих воинственных предков. Но – чтобы так близко, как Шрайбер-старший, надо иметь такой же нос.

Шрайберов вообще Б-г носами не обидел, но у папы Шрайбера нос был в зеленую крапинку и изрыт кратерами, словно атакован метеоритами.

Излагать историю носа Шрайбера пером бесстрастного летописца рука не поднимается. Надеюсь, коллеги-литераторы меня поймут: хочется живописать литературно.

.....

Комиссара поставили к стенке.... Босого, в малиновых галифе с кожаными заплатами. На лбу окровавленная повязка.

Офицерик в пенсне взмахнул шашкой...

– Вы можете не трудиться, ваше благородие, – сказал комиссар. – Я сам буду командовать расстрелом!.. Цельтесь, ребята, в мое рабоче-крестьянское сердце. Пусть мои глаза закроются, зато откроются ваши...

Офицерик топтался позади шеренги, хватаясь то за шашку, то за пенсне.

– Пли! – крикнул комиссар. – Да здра....

Грнулся залп. Комиссар, шатаясь, прижал к лицу ладони. Между пальцами выступила кровь, кровь капала на белую исподнюю рубаху...

– Мировая революция, – внятно сказал комиссар и упал...

Офицерик запутался в шашке и уронил пенсне...

– Помер, – сказал он растерянно. – Братцы!.. Да ить всамделе помер товарищ комиссар!..

Бешеные аплодисменты... Шарахнулись обозные лошади...

Комбриг соскочил с фэтона (сидя на высоком бархатном сиденье, он смотрел все представление) и, шурша кожаными лямками, такими же, как у комиссара, проследовал в большую залу “майонтка”.

– Комиссара ко мне!..

– Не можно, товарищ комбриг, их в лазарет сволокли.

– Не могли поберечь комиссара?!.

– Так они ж сами велели, товарищ комбриг, зарядить холостыми и с ближайшего расстояния вывести их в расход. А с ближайшего расстояния это вполне даже исполнимо. Хорошо еще глаза целые.

– Ну ладно. Очухается – пусть придет.

...И когда он пришел с изъеденным порохом носом, комбриг сказал:

– Значит, так... В дальнейшем пусть они нас расстреливают: у них это еще лучше получится. А у нас есть свои текущие дела... Глянь на карту. Ты отсюда родом?

– Ну да, это наше местечко.

– Значит, ты сосед пана Пилсудского. Так вот, сосед... Учítывая, что пан съезжает с квартиры, а мы въезжаем, тебе придется прогуляться до-мой. Ну, нам там нужен свой человек, который проследит, чтобы пан чего лишнего не увез, – и вообще, чтоб не было междуцарствия... Но никакой анархии!.. Это тебе не театр.

(– А я очень любил театр, – пояснил сыну Шрайбер, – написал эту пьесу. Правда, еврейскими буквами. По-русски я еще не умел.)

– Заруби себе на носу, – повторил комбриг, хотя зарубать было уже не-где, – никакой анархии!

– Насчет анархии не беспокойтесь, – заверил Якив-Мейше. – С анархи-ей мы поладим.

При этом он имел в виду не какую-то теоретическую анархию Кропоткина – Бакунина, и даже не практическую – батки Махно, с которым, кстати говоря, они рубились рядом, что называется, стремя в стремя. Анархия Якива-Мейше Шрайбера имела конкретное чело-веческое лицо. Ицик знал, о ком идет речь. Дядя Хоня, Хона, Ханан Маркович, муж маминой сестры, тайный миллионер и скромный спе-циалист по развесу чая и розливу безалкогольных (почему-то) напит-ков. Но в те былинные времена он еще не развешивал чай и не разли-вал напитки. Он был обыкновенный молодой человек. А в этих мес-тах все обыкновенные молодые люди были контрабандистами. И они этого не скрывали. Неуловимого контрабандиста можно было узнать за версту по желтым гетрам (нечто вроде теперешних гольфов). Их, собственно, и не называли контрабандистами, их так и называли: “желтые гетры”.

(Кстати говоря, молодых людей в укороченных штаниках с напуском и в гетрах Ицик впервые увидел лишь на Земле Обетованной. Здесь они уже не были контрабандистами, зато усердно читали Тору.)

Но в тот исторический момент гетры малость залоснились, мама их стирала в деревянном корыте, а дядя Хоня тосковал на печке в загранич-ных подштанниках.

И вдруг мама сказала: “Ах!” Дядя Хоня свесил голову с печки и не об-наружил в хате ничего нового, если не считать франтика, одетого, можно сказать, женихом: полосатые брючки дудочкой, штиблеты-лак с загнуты-ми носками, цепка от часов через всю жилетку.

– Пойдем прогуляемся, Хоня, – сказал франтик.

– Еще не нагулялся? – спросил Хоня, натягивая штаны.

Он, конечно, знал, как и все в местечке, где и с кем гулял Янкель Шрайбер, портной и сын портного. Более того, Хоня иногда помогал ему “по знакомству” строить коммунизм в одной отдельно взятой волости.

(Кто читал о “Рудобельской республике”, скажет, что Шрайбер, наверно, вымышленное лицо... Не лицо, дорогой историк, а только фамилия.)

– Давай прямо, Хоньке, ответом на вопрос, – сказал Яков-Мойше, – как ты относишься к пану Пилсудскому?

– Смотря какая у него будет граница.

– Границ не будет.

– Как? Совсем?

– Бесповоротно!..

И он протянул Хоне тоненькую книжечку на такой дрянной бумаге, что с нее осыпались щепки.

– “Эсперанто”, – прочитал Хоня. – Это по-каковски?

– Это по-эсперантски. Я подобрал одного профессора, откормил и вожу в обозе. Он составил книжку, и я напечатал в своей типографии.

– У тебя своя типография?

– Я ее вожу в обозе... Эсперанто, Хоня, это есть мировой язык! Когда вся мировая буржуазия будет потоплена, а границы стерты с лица земли, всем нациям понадобится один человеческий язык... Вот возьми и выучи.

– Лучше я выучусь пахать землю носом, – сказал Хоня вполне серьезно. – И вообще, хватит трепаться! Что надо?..

– Надо украсть у Пилсудского пароход.

– Который с мукой?..

– Там еще и электростанция. Паны этой ночью будут драпать. Увезут свет и муку. И ты, Хоня, еще до ликвидации границ положишь зубы на полку.

Хоня молчал и раскачивался. Как на молитве. Возможно, это были идейные колебания.

– Ну так как с пароходом, Хоньке?

– Придется отвязать плоты.

– Тебе цены не будет, Хоньке, при новой власти!..

– Ну, это как раз навряд ли...

...Этой ночью местечко спало плохо: не было привычной пальбы. Но и непривычной тишины тоже не было. Зато дикий душераздирающий вой несся с реки. Это ревел пароход, заглушая грохот копыт и топот ног удирающих белополяков. Маленький колесный пароходик затирили бревна. Вся река от берега до берега была загромождена ими так, что воды не видно...

– Проше пана, – сказал капитан, – но я здесь не нахожу фарватера.

Пану поручику и самому оставалось только хвататься за голову в конфедератке...

А на мостках пристани сидели молодые жидки и болтали ногами в желтых гетрах.

– Пособить? – спросил один из них довольно лениво.

– Пшел вон, хлоп, холера!..

– Он нашего языка не понимает, – улыбнулся другой хлоп, тоже в гетрах, – с ним надо толковать на эсперанто.

В конце концов гудок оборвался. Пан поручик что-то прошипел. И все паны в конфедератках покинули борт корабля.

Тогда хлопы встали и вместе с матросами стали сгружать муку. Потом пришел механик с электростанции и двое еврейских партизан с винтовками под мышками. Все поздоровались за ручку с капитаном – и начали стаскивать по трапу “динаму”.

...Когда первый красный эскадрон с коротким “Даешь!” влетел на базарную площадь, там уже вовсю процветала торговля, а у бывшей комендатуры толпа читала какое-то объявление. Командир эскадрона хлестнул по объявлению плетью и, матерясь, соскочил с лошади прямо на подоконник комендатуры. Спрыгнул внутрь и подошел к столу.

За столом сидел недорезанный буржуйчик в полосатых дудочках, лаковых штиблетиках, с цепкой от часов на жилетке.

– Бери его, хлопцы, ставь к стенке!.. Не так! Носом ставь!..

Толпа расступилась. Его поставили лицом к объявлению.

– Читай, что ты там намаракал!

– Я и так знаю: “Всему трудоспособному населению явиться для получения муки-крупчатки...”

– Крупчатки, гад!..

– “...В первую очередь детям, женам красноармейцев, вдовам... и прочим...”

– Слыхали? Прочим!..

– “Примечание...”

– Еще и примечание! Мы тебя и так приметили!..

– Вы просили читать, так не перебивайте. “Примечание: в конце недели в городе будет включен синемаграф”.

– Во дает! Синемаграф!..

Он повернулся к ним лицом.

– Вы недооцениваете значение синемаграфа. Сегодня он немой...

– А завтра ты будешь немой!..

– А завтра он заговорит международным языком пролетариата. Сегодня – это туманные картины, а завтра это будет красный синема...

– Кончай заливать!.. Отвечай, почему мука, которая есть хлеб для армии, голодной и разутой... Чуете?!.. Почему разные штатские лица разбазаривают муку среди населения?!.. – Комэск обернулся к ординарцу. – Быдыло, отведи этого писателя за сарайчик и... к святому духу... Мать!

– Товарищ военный... – Это Хоня шел к крыльцу. Он весь сиял и лоснился – так, видно, радовался приходу красных. – Можно вас на момент?.. Сугубо секретно. Товарищ не может вам кричать при всех. Он готов умереть, абы не выдать военную тайну. – Хоня совсем перешел на шепот. – Этот человек послан на задание: в глубоком тылу белой гидры распространять пролетарский язык эсперанто.

И Хоня протянул комэску серую книжечку.

– “Ти-по-гра-фия... – прочитал комэск по складам, – по-лит-от-дела дивизион”.

Комэск почухал себя под гимнастеркой где-то между шашкой и маузером и принял решение.

– Товарищ Быдыло, кинь гадов... ну да, и этого в чулочках... в тачанку и свежи в тот самый политотдел. Да смотри у меня, чтоб не убегли. Исключительной хитрости контра!

Вот так романтический революционер Якив-Мейше Шрайбер получил все-таки шанс дожить до того времени, когда на всем земном шаре введут единый для всех наций мировой язык эсперанто. Однако вводить мировой язык большевики не торопились, поскольку границы пока не стерли. Вместо этого повесили большой замок – красная застава: девять косопузых богатырей и комвзвода товарищ Цветков. Но “желтые гетры” умели считать до десяти. Они пускали один за другим десять пробных возов, без контрабанды, Цветков исправно останавливал туфтовые возы, на каждый сажал по красноармейцу с винтарем для конвоя и отправлял в комендатуру на предмет разбирательства. Благодаря такой его бдительности богатырская застава в конце концов оставалась пустой, и “желтые гетры”, поплеывая семечками, гнали, что называется, “по нахалке” красный обоз контрабанды.

Хоня, как всегда, не прогадал. А мировой язык эсперанто так до сих пор не ввели – и Якив-Мейше, как мы уже успели заметить, остался с носом.

IV. Черта оседлости

Ты задаешь мне, брат мой из галута, извечный еврейский вопрос:

– Ехать?..

Я, как ребе, открываю книгу, но не ту, а книгу своей жизни, которая называется почему-то “Ицик Шрайбер в стране большевиков”, и гадаю по ней...

Мама Изи Шрайбера была легче ласточки, что гнездится в уголке окна: с такой же маленькой головкой и словно бы нарисованной прической лавково-черных волос. Она светилась голубым. Изя знал наперечет все мамыны жилки на руках и на шее.

– У вас кожа фэль-дэ-пэрсовая! – восхищался один курортный мамин поклонник, и Изя ненавидел этого пошляка за то, что маме нравился его сомнительный комплимент. Сравнить Изину маму с каким-то, простите, чулком?..

Изя не видел вокруг людей, достойных любить его маму, а маме он мог простить только любовь к больным.

Она приходила домой из диспансера сама больная:

– Сегодня у меня было пять вдуваний.

Поддувать легкие туберкулезным – конечно, это тяжело. Вон шофер Марко накачивает шины, и то спина мокрая, хотя у шофера ряшка – на авто не объедешь, но он ругает шины и пинает ногой... А мама помнит каждого больного, откуда бы ни приехал. Одного, из Сибири, она называла “Мой сибиряк”.

И вдруг Ицику, еще маленькому, попалась книга с удивительной фамилией автора “Мамин-Сибиряк”. И он ни на секунду не усомнился, что это и есть тот самый мамин больной.

Вряд ли маминим сибирякам, нет, не писателям, а больным, известно, как становились врачами такие, как Изина мама. Даже Изин отец Шрайбер-старший, когда он был младшим и ходил женихаться на Петинку, где Изина, тогда еще не мама, жила у старшей замужней сестры, – даже он не предполагал, какой его ждет удар, когда эта детективная история станет достоянием...

Он еще не успел снять армейскую кожаную фуражку со звездой, впрочем, другой у него не было, как вездесущая партия бросила его на “комод” (коммунальный отдел). Не спешите смеяться. Предыдущая любовь товарища Шрайбера была вообще “замком по морде” – так было написано на дверях ее кабинета: заместитель комиссара по морским делам. Буква “л” – “мордел” – не уместилась: двери узкие, как и “дверца в ее сердце”, куда не смог протиснуться папа Шрайбер. Но то было в Азове, а это – в Харькове, где он, уже надрывая пупок, тащил очередной свой воз – коммунальное хозяйство огромного города.

Среди всех насущных забот: от депо для трамваев и до воды для собак – наш “воинствующий безбожник” умудрился воздвигнуть лично для себя алтарь, на котором раз в пятидневку сжигал свое сердце перед образом херувима с профилем Карменситы и пружинками черных волос на гордой тоненькой шейке. Красотой, умом, образованностью и даже ростом она возвышалась над ним и казалась недоступной... Как вдруг... Откуда-то выполз змей (он вылез из архива губкома) и прошипел:

– Слухай, Якив-Мейше: до кого ты ходишь?!

До сих пор он называл его “товарищ Шрайбер”, потому что по имени и на “ты” обращались друг к другу только товарищи по партии. Шрайбер самому Орджоникидзе говорил “Серго”, а сам Орджоникидзе называл его Яшкой. А этот труженик дырокола откопал и второе имя, которое Яшке дали в детстве (когда он опасно болел), чтобы обмануть ангела смерти. Надеялись: вместо Янкеля унесет Мойшу. Но, слава Б-гу, оба уцелели. А что хорошего? Эта беспартийная сволочь с царскочиновничьим прошлым окончательно распоясалась, потому что отныне всеильный начальник губкома был у него вот здесь, в папочке с коленкоровой обкладочкой и слюдяным оконцем.

– Бачишь, вона ось тут зареєстрована, у поліцейському управленні!

– В качестве кого?

– Жовтобілетниця.

Лучше бы он взял наган...

Но зачем ему наган, если он и со своим дыроколом проштрыкал живое сердце... Правда, только одному из двух: Якиву или Мейше. Евреи имеют свойство раздваиваться не только перед ангелом смерти. Один кричит: “Все! Конец! Точка!” Другой: “А может, тут какое-то недоразумение? Мало ли что?.. Опять эта проклятая неизвестность!” И отправляется выяснять отношения...

И слава Б-гу! До чего-то они с Фрейдочкой все-таки договорились в двухэтажном кирпичном домике на Петинке, иначе бы Изя Шрайбер вообще не родился. И мы бы с тобой, уважаемый читатель, не имели повода для знакомства.

Тайна была похоронена в семейных анналах, как и городские архивы, сгоревшие во время войны. Ицик, а с ним и мы, никогда бы не распутали этот детективный узел, если бы в поликлинике № 1 на Екатеринославской не работала подруга Изиной мамы – тоже врач, но не фтизиатр, как мама, а, как теперь бы сказали, “крутой стоматолог”. Рост, плечи, голос, характер, муж перед ней – “на цырлах”.

Через много-много лет, когда мамы уже не было в живых, Ицик пришел к ее подруге посоветоваться, что делать с зубом, который жить не дает, и лишь открыл рот, как уже вопрос с зубом отпал, и закусив кровавую ватку, он слушал рассказ о том, как Изина мама и “крутой стоматолог” еще до семнадцатого года поступали в Харьковский мед-институт:

– Тогда не то, что сейчас: принимали даже *ex nostris* (“наших” – латынь), если они, конечно, медалисты. А мы еще в гимназии научились зубрить до обморока. Кому нужна местечковая дурочка, если она без золотой медали?.. Сплюнь!

Изя сплюнул ватку.

– Но поступить – это только полдела, – продолжала “крутой стоматолог”, – надо было из занюханного местечка переехать, шутка сказать, в город Харьков! Поэтому нас снаряжали с особой тщательностью – мамули сдували все пылинки. Вещички отгладили, накрахмалили *lege artis* (опять латынь: “на грани искусства”) и снабдили нас конвертами для станového пристава.

– А что было в конвертах?

– Пристав таких вопросов не задавал. Взял. И выправил каждой из нас “желтый билет”.

– “Желтый билет” – это освобождение от воинской службы?

– От воинской – белый! А желтый давал право заниматься проституцией... Закрой рот. Ну что ты на меня так смотришь? Как бы мы иначе жили в Харькове?

– А что, вам стипендии не давали?

– Не думала, что у Фриды такой идиот! Нам не давали “права жительства”. Хотя... откуда тебе знать?

Как раз Ицик знал: для “лиц иудейского вероисповедания” была установлена “черта оседлости”.

– Но Харьков, по-моему, был не в черте.

“Чтоб да – так нет, а чтоб нет – так да”, – так ответили бы Изе в Одессе. Харьков всегда был где-то между: столицей и провинцией, Украиной и Россией, “чертой оседлости” и чем-то, что потом называлось “режимный город”. Переехать в Харьков из Бердичева, например, было так же “просто”, как теперь – в Австралию. Сходите в австралийское посольство и ознакомьтесь с перечнем дефицитных профессий, в которых нуждается зеленый материк...

– Чтоб далеко не ходить, – сказала “крутой стоматолог”, – ты был у Лени и Рони Двоскиных на Бурсацком спуске?

– Ну.

– Видел у них ткацкий станок?

– Видел. Допотопный.

– Как ты думаешь, почему они его не сдали рядом – в Исторический музей?

– Не знаю.

– Это память о дедушке.

– Их дедушка был ткач?

– С чего ты взял? Дедушка Аврум был ученый. Он создал геометрию Лобачевского.

– А я думал, Лобачевский сам...

– Теперь все умные. А дедушка Аврум этого знать не мог – он читал только по-древнееврейски. И вообще, что ты сравниваешь?! В каких условиях работал Лобачевский, в каких дедушка! Дедушка Аврум свою геометрию написал в уборной, потому что бабушка Бася его гнала в лавку. Лобачевских в Харькове и без дедушки Аврума было, как собак нерезанных – полный университет! Потому бабушка Бася, как и мы с твоей мамой, отнесла приставу “конверт”, чтобы дедушку записали ткачом и он мог торговать селедкой на законных основаниях.

– Зачем же тогда станок?..

– Да-а, ты, я вижу, далеко не Лобачевский!..

Ну, “не Лобачевским” он рос с детства. Способности Изи Шрайбера в сфере точных наук достаточно красноречиво характеризовал в свое время его школьный учитель математики незабвенный Зиновий Аронович Фельдман (тоже одна из достопримечательностей Харькова):

– Шрайбер, ви гинтяй (лентяй), пизздельник (бездельник), калека и большой человек!

Ну, а для того из читателей, кто тоже... еще не усек, зачем в комнате рыботорговца и тайного математика реба Аврума Двоскина стоял еще и ткацкий станок, у меня есть анекдот:

“ – Рабинович, почему вы голый?

– А здесь никого нет!

– А почему – в шляпе?

– А вдруг кто-нибудь войдет?!”

– А вдруг кто-нибудь войдет! – пояснила “крутой стоматолог”. – Увидит – стоит, так сказать, орудие производства, и успокоится.

– А у вас что стояло, когда вы с мамой... ну... э-э-э... проживали по “желтому билету”?

– Что у нас должно было стоять?! Какое орудие производства?! У нас стоял графинчик – жидовское угощение для квартального надзирателя к престольным праздникам... На лимонных корочках. Придет, хильнет, утрет усы:

– Христос воскрес, Фрейдошка! Христос воскрес, Леичка!

И “докладает” начальству, что мы честно исполняем свой долг, вовремя проходим врачебный осмотр и вообще не злоупотребляем терпимостью общества.

А то, что мы две невинные девицы из порядочных еврейских семей, – так кому это мешает? Как устроен мужчина, мы постигали на лекциях, ну... еще и на трупах в анатомичке. Вполне достаточно, чтобы ввести ему катетер точно по адресу.

...На этом наш экскурс в прошлое можно бы и закончить, краткость – сестра таланта. Но я, как назло, у моих родителей единственное дитя. Да и как не посочувствовать папе Шрайберу? Много ли он добился своей революцией? Он, правда, не много и хотел. Не власти, как некоторые думают, над всем подлунным миром, а всего лишь равенства с коренным населением. Чтоб наши девушки не с “желтым билетом” поступали в мединституты, а дедушки шли в Лобачевские не через ткацкую мастерскую, рыбную лавку и клозет. Равенства ему хотелось, аж свербило кое-где. Ну вот и добился. Все стали равны. Всем, всем, всем гражданам России, не “лицам иудейского вероисповедания”, потребовалось “право на жительство”. Только при Советах это стало называться “прописка”, а еще – “лимит”. В Москве семидесятых “крутой стоматолог” и Изина красивая мама назывались бы “лимита”. Если к тому же припомнить, что и в турпоездку за рубеж без мыла не пролезешь, то мы семьдесят лет всей дружной семьей “народів-братів” проживали в “черте оседлости”. А ех nostris (наши) к тому же сидели “в отказе”...

И вдруг получилось, как в анекдоте, который когда-то мне рассказывал турецкий поэт Назым Хикмет:

“У чешского еврея пана Кона спросили при приеме в партию:

– Что вы будете делать, если откроют границу с ФРГ?

– Я залезу на дерево.

– Зачем?

– А вы хотите, чтоб меня затоптали, когда все ринутся туда?!”

Вот так же и с тобой, мой брат из галута: рухнула “черта оседлости”, все народы, даже самые русские, бросились наутек, а ты сидишь на дереве и спрашиваешь:

– Ехать?..

Значит, я читателя обманул: есть еще черта оседлости, но она не снаружи, а внутри тебя. Да и меня – тоже, хотя я и уехал. Рубцом через все сердце. Попробуй переступи эту незримую черту оседлости, когда не переступил ее даже Терах, покинувший Ур Халдейский.

А преодолел ее только Авраам, когда оставил дом отца своего... и разбил его идолов.

V. Дней минувших анекдоты

*“Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней...”*

А. Пушкин

Наш брат еврей, откуда бы он ни приехал, без анекдота жить не может. Как настоящему русскому для связки слов необходимо что-нибудь ма-

терное, так и подлинный еврей без подходящего анекдота, можно сказать, глухонемой.

Когда-то автор этих строк был в Доме актера, который потом сгорел, на Пушкинской площади в Москве, на творческой встрече с греческими музыкантами во главе, шутка сказать, с самим Теодоракисом. Теодоракис дирижировал. А в зале рядом со мной сидел тоже не кто-нибудь, а Леонид Осипович Утесов. Устроители вечера горячо убеждали Леонида Осиповича выйти на сцену, дабы сказать греческим музыкантам что-нибудь приятное, как только он один умеет, а Леонид Осипович отбрыкивался руками и ногами, пока от него не отцепились, пошли уговаривать кого-то другого. А Леонид Осипович повернулся ко мне:

– Ну что я им скажу? Музыканты и музыканты. Только то, что греческие. Мы как-то гастролировали в Париже, так на нас бегали смотреть только потому, что мы советский джаз. Кто бы мог подумать, что у большевиков даже джаз есть! Там тогда же гастролировали китайцы с оркестром русских народных инструментов. И на них тоже Париж бегал: смотреть, как китаец играет на балалайке... Стой! Вспомнил!

И Леонид Осипович побежал искать устроителя, который его уговаривал толкать спич.

Вскоре он уже стоял на сцене:

– Я, знаете ли, не думал выступать, но тут вспомнил один анекдот: узбек сидит на корточках и дергает струну:

Тэ-н-н...

Пауза.

Тэ-н-н...

Перерыв...

Тэ-н-н...

Еще через час: тэ-н-н... тэ-н-н..

Жена говорит:

– Почему так? Когда Ванушка играет на балалайке, он ее и так и так переворачивает: и за спиной, и через голову, и под коленкой, – а ты только тэ-н-н и тэ-н-н?..

– Ванушка еще только струну ищет, а я свою уже нашел: тэ-н-н... тэ-н-н...

– Вот и у вас, я вижу, сейчас на сцене, – продолжал Утесов, – замечательный греческий народный инструмент, на котором струн раз-два – и обчелся. Но зато вы задели все самые чувствительные струны моей души и...

И еще сорок минут в том же духе. А ведь совсем не мог выступать, пока не оттолкнулся, так сказать, от анекдота.

Но мы, как всегда, забежали вперед. Вернемся в тридцатые годы, когда папу Шрайбера очень быстро из главкома (главного коммунального отдела) перебросили на “Теняковку” – швейную фабрику имени Тенякова – директором. И это было воспринято в городе как символ высшей справедливости. Дело в том, что Яков Шрайбер, как и отец его, до революции был портным. Закройщики всех индпошивов города вешали на шею свои дерматиновые “сантиметры” и выходили на улицу “сделать ручкой” Якову Соломоновичу, когда он проезжал в открытом “фордике”.

– Знаете, не каждый день в Стране Советов видишь директора, который сам умеет шить!

И сам он любил повторять:

– Мало того, что я в этом деле знаю толк, я еще на минуточку директор.

Минуточка затянулась на годы. Родная партия быстро поняла, что “Теняковка” для Шрайбера тесна, вернее – он для нее, и Шрайбера стали бросать, что называется, в прорывы: то на один, то на другой завод, и эти заводы начинали расти и цвести, потому что следом за Шрайбером туда перебегало полгорода. Почему?.. Чтоб не растекаться мыслию по древу, скажу так: если бы завод директора Шрайбера вместе с прилегающим к нему районом оторвать от Земли и пересадить куда-нибудь в открытый космос, то никто из рабочих и служащих ничего бы и не заметил. Вкушали бы по-прежнему мясо и молоко, фрукты и овощи из заводского подсобного хозяйства. И одевались бы, и обувались по разным ОРСовским разнарядкам, и лечиться бы ходили в медсанцех, и рожали бы в заводском роддоме, и отдыхали в оздоровительном комбинате. (А если бы муж побил жену или жена мужа, то пошли бы к Шрайберу, чей кабинет не закрывался, и он бы намалил обоим морды.) Словом, все системы жизнеобеспечения у директора Шрайбера работали в автономном режиме...

Скажу, забегая вперед, был я недавно в одном киббуце (это в Израиле, если кто не знает). И вот брожу я по этому еврейскому сельскохозяйственному Эдему, и тут мне мерещится на каждом шагу тень отца Шрайбера. Б-р-р... Даже страшновато становится.

Но факт есть факт: у Шрайберов “и на Марсе будут яблони цвести”...

Но о яблонях – отдельный рассказ.

Вскоре после войны в Харьков на выставку народного хозяйства пришел Никита Сергеевич Хрущев собственной персоной.

В павильоне велосипедного завода Никите “закортело” влезть на велосипед, который по такому торжественному случаю свежевыкрасили (как-никак выставочный экземпляр!), и это, естественно, тут же отразилось на чесучовых белых “штанях” всевластного секретаря. Всей его немалой сви-

те открылась картина в стиле тех самых абстракционистов, которых Никита Сергеевич почему-то путал с педерастами.

– Вы, – обратился он тут же к директору велозавода, – вы сами катаетесь на велосипеде?

– Что вы, Никита Сергеевич! – поспешил откреститься велодиректор (он считал просто неприличным для номенклатурного лица его ранга столь легкомысленное занятие).

Но Никита придерживался иного мнения. Он повернулся к секретарю обкома:

– Как же так можно?! Чтоб у вас директор велосипедного заводу не хотел, не умел и вообще не любил велосипед!.. Ну хорошо, сегодня я спачкал брюки, а завтра – простой советский человек. Что же, он так и будет ходить с красной, как у мартышки, этой...

Естественно, секретаря обкома ужаснула подобная перспектива: ведь “нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”. Что же, оно и при коммунизме будет ходить, как вождь по выставке – с пятном на брюках?!

О том, что настанет время, когда генсеком КПСС станет человек с пятном на лбу, никто, конечно не догадывался, хотя до полного развала тогда уже было ближе, чем до полного коммунизма. Рассказывали, не таясь, такой анекдот:

“Вызывает Никита Сергеевич членов ЦК и говорит:

– Есть установка догнать Америку, но ни в коем случае не перегонять.

– Почему?

– А чтоб они сзади не увидели, что у нас ж... голая”.

Впрочем, директору велозавода было не до смеха: его из директорского седла мигом высадили за “нелюбовь к выпускаемой продукции”...

А Хрущев перешел к следующему павильону, где его уже ждал директор другого завода, на этот раз Шрайбер. Он и его рабочие явно жили уже в коммунистическом раю, если, конечно, судить по павильону. Здесь был представлен цех-сад. Чистенькие станочки с тихим звоном плели из проволочных нитей серебристые стальные трюсики. И над всем этим колыхались ветви дерев, выросших волшебным образом тут же на асфальте. С веток свешивались крупные, отборные плоды добра. Иначе не назовешь: завод владел внушительным подсобным хозяйством – 350 гектаров одно- го лишь фруктового сада – гордость директора Шрайбера. В скупые послевоенные годы его рабочие имели свой компот.

Но у Хруща, видимо, были иные соображения на этот счет. Окинув неслестным взглядом еврея-директора, он изрек:

– Зачем было портить хорошие деревья?

– Это не хорошие деревья, – нагло оспорил Шрайбер, – это дички. Мы их выкопали в лесу и пересадили в кадки.

Ах, лучше бы он сразу-прямо совершил покушение на Первого секретаря: Никита еще не забыл, как Сталин заменил его на Украине Лазарем Кагановичем ради укрепления сельского хозяйства.

– Теперь вы мне будете доказывать, – заметил он Якиву-Мейше, – что на вербе растут груши?!

Груши были настоящие – тут уж Никита не ошибался – румяные украинские дули, яблоки тоже сочные, глянцевиные.

– Так они же привязаны, – объяснил Шрайбер, – собрали в саду и привязали к дичкам.

(Шрайбер сам любовно привязывал каждую грушу и каждое яблочко незаметно тонким шпагатиком, как елку украшал.)

Сейчас он приподнял листики и продемонстрировал главе государства свою маленькую хитрость.

Хрущев сменил гнев на милость:

– Вот это по-хозяйски!

Он явно показывал всем собравшимся, что партия не против показухи, если она не противоречит, так сказать, интересам народного хозяйства. Обнял директора за бывшую талию и пошел с ним вот так вот, в обнимку, по выставке, и вся свита – за ними.

Это было после 49-го года, Хрущев уже приобрел прочную репутацию антисемита.

Назавтра все евреи Харькова (а это полгорода!) говорили друг другу при встрече:

– Вы слышали? Хрущев обнял еврея!

Но я, кажется, обещал читателю анекдоты. Так вот один ненормативный, зато короткий:

“ – Рабинович, вы поц!

– А кто это ценит?..”

Вот это уж точно о Шрайбере. Во-первых, он ... (этот самый) – зачем связался с большевиками? Они его таки да не оценили. Хороший хозяин собаку не выгонит, а эти собаки хорошего хозяина Шрайбера выгоняли дважды. Первый раз еще в тридцатые годы. За что? Да так, мелочи: пытался обмануть родную партию, ввести в заблуждение. Скрыл, сука, социальное происхождение, писал, гад, в анкетах, что его отец был ремесленник, кустарь-одиночка без мотора – одним словом, местечковый портной, чего с него взять – голота.

Но вдруг кто-то кап – поступает сигнал, что отец лже-красного директора Шрайбера использовал наемную рабочую силу – то есть он самый

что ни на есть распроклятый буржуй – эксплуататор трудового народа, а мать держала магазин, и вообще у них двухэтажный особняк в местечке.

Ну что тут сказать? Клевета!

Шрайбер так и сказал на бюро горкома:

– Какая, к черту, наемная рабсила?! Просто разделение труда: портной, который сам все сошьет – и пиджак, и жилет, и “бруки”, – это вообще не портной, а так... выкидыш. Идите к Семке-Грязь, был у нас такой еврей-пьяница в местечке, он вам пришьет к жилетке рукава. А настоящий портной делает что-нибудь одно – так у него зато получается не что-нибудь, а что-то! Чтобы только “выработать грудь”, да что грудь – шов отгладить, надо быть артистом своего дела!

– Ты давай про магазин!

– Даю. Наш советский “пищеторг” – он настолько богатый, чтоб держать пустые магазины. Я имею в виду – без покупателей. А до революции в местечке кто бы покупал, когда все только то и делали, что продавали. Всего лишь раз в году, во время ярмарки, когда приезжали крестьяне со всей волости, ей удавалось что-то продать. Чтó “что”? Что она продавала? Какая разница? Горе свое она продавала!..

– Ты расскажи про особняк!

– Зачем? Он до сих пор там есть. Поезжайте и посмотрите. Только не заходите внутрь, чтобы вас не трахнуло по башке, когда обвалится. Тот еще особняк! У Серка, у собаки во дворе, особняк – так это таки да особняк – дворец рядом с нашим!

– Давай по существу вопроса!

– Даю по существу вопроса. Пусть Морган с Рокфеллером имеют такой же наемный труд, как мы имели! Пусть весь мировой капитализм в его последней стадии империализма держит такие же магазины! Пусть Иудушка Троцкий, враг партии и народа, живет в таком же особняке и пусть он свалится ему на голову!

Лед партийного недоверия уже начал было таять, и, возможно, Шрайберу удалось бы усыпить бдительность партбюро, если бы не его предательская склонность к анекдотам. В этом смысле между Шрайбером и Утесовым разницы нет – оба евреи. Но если Утесову анекдот был необходим на старте, для разбега, то Шрайберу-старшему анекдот зачем-то понадобился уже на финишной прямой, иначе он не мог остановиться.

– А насчет портных я вам так скажу, – обратился он к членам партбюро. – “Встречает один еврей другого:

– Рабинович, почему вы такой гордый, ходите с задранном носом?

– У меня дедушка умер.

– Это не повод.

- Он мне оставил в наследство брюки.
- Это тоже не повод.
- Я их перелицевал.
- И это не повод!
- Потом перешел на фрак.
- Это тоже не повод задира́ть нос!
- Да?! А вы бы не задирали, если бы зад от брюк оказался как раз под вашим носом?!”

Не зря говорят: “язык мой – враг мой” (или так говорят о брате – не помню точно: сажали и за то, и за другого).

Анекдот заставил членов партбюро насторожиться:

– Выходит, по-твоему, Шрайбер, нам нечем гордиться? Мы не потому ходим с гордо поднятой головой, что социализм построили на одной отдельно взятой шестой части суши, а потому, вишь ты, задираем нос, что штаны твоего дедушки переделали с ног на голову?! Так получается?!

– Я этого не говорил.

– Но думал. Ты думал – мы без шрайберов умеем только пришивать мотню к воротничку!

Шрайбер уже не думал – видел: ему еще и не то пришьют.

И пришили...

VI. Шрайберы и рыбы

Итак, на чем мы остановились? На том, что папу Шрайбера вычистили из партии и выпихнули из директорского кресла.

Но это мы с вами на том остановились, а Якив-Мейше остановиться не мог – он никогда не останавливался, он всю жизнь шагал полувоенным шагом на крепких прямых ногах. Из директорского кресла его могли выпихнуть только в фигуральном смысле, а если в прямом, так он никогда в нем не сидел, а постоянно перемещался по территории завода, возникая неожиданно в тех самых местах, где обнаруживался малейший непорядок.

Из всех созданных природой организмов только акул можно приравнять к Шрайберам. Говорят, стоит акуле остановиться, как она сразу же утонет, поэтому акулы даже спят на ходу.

И вот, представьте себе, Шрайбера тормознули. Он стоп – уткнулся носом в невидимую преграду, поставленную родной партией, и стал стремительно опускаться ко дну. С акулой все было бы кончено: через минуту она бы всплыла на поверхность кверху брюхом. Но у акулы нет ног, а Шрайбер, даже опускаясь ко дну, не переставал перебирать ногами, и

потому, едва коснувшись песка, пошел по дну все той же своей полувоенной походкой.

Только раньше, по территории завода, он ходил с фуражкой в руке, как Ленин с кепочкой, а теперь – с сыном. То есть всюду таскал за собой Ицика.

Дома же все навалилось на маму.

Ни директорской зарплаты, ни персональной машины, ни всех прочих льгот уже не было, и домработницу пришлось уволить, а Шрайберов, что старого, что малого, даже за хлебом не пошлешь в магазин: оба не знают, с какой стороны подходить к прилавку, и отчаянно сопротивляются.

Один раз, правда, Шрайбер с сыном в своем непрерывном движении забрел на базар и принес оттуда... вазочку.

– Нам сейчас не до вазочек! – вскричала мама. – Скоро не будет на хлеб!

– Фридка, – отвечал ей Шрайбер, – не валяй дурака. Тетка за вазочку просила всего пятьдесят копеек. Даже неудобно. Я ей дал рубль.

И поставил базарную вазочку к японскому фарфору...

Фарфор этот был тонкий, как папиросная бумага, можно было видеть изнутри на просвет пепельный, словно вечер на озере, рисунок. Нести такую чашечку от буфета к столу было страшно: будто несешь над пропастью свою хрупкую жизнь, – не то что чай из нее пить. А из Изиной мамы (куда более драгоценной, чем фарфор) вообще теперь борщ хлебали: она и жарила, и шкварила у плиты, перемывала посуду, выскребала кастрюли, драила полы, ковры выбивала, волокла кошелки с базара – словом, из принцессы превратилась в Золушку. Правда, это была Золушка в советском варианте: она еще и работала в тубдиспансере. Теперь зарплата была только у нее. Так что она заменяла и Золушку, и принцессу, и даже тех лошадей, которые тащили карету.

Спросить бы у автора “Золушки” г-на Шарля Перро, какое из волшебных превращений более, так сказать, болезненно: из Золушек – в принцессы или наоборот – из принцесс в Золушки! Между нами, сказочниками, говоря, второе куда менее приятно. Ну какие там сложности в принцессьей жизни? Танцевать на балах, держать вилку в левой руке, а не в правой, есть с закрытым ртом и не чавкать, вынимать ложечку из чашечки, а не отодвигать ее носом... Что еще? Пусть мне подскажут: я сроду не был принцессой. А вот превращение из принцесс в Золушки наблюдал на примере Изиной мамы.

Проблема не в том, что принцесса не умеет стирать, убирать, мыть посуду. Советская принцесса вообще не из принцесс, а из Золушек. Так что первое превращение мы с Изиной мамой уже проходили. Трудность для бывшей принцессы в том, что за время пребывания в принцессах у нее

значительно возросли потребности. Ощущаете? Потребности – как у принцессы, а возможности – как у Золушки.

К примеру: могло ли семейство Шрайберов провести лето в городе, а не в загородной, образно говоря, резиденции?.. Могло. Но все равно даже в это лето семья разжалованного директора не осталась в пыльном городе. Дачный поселок вблизи города оказался тоже не по карману. Другое дело – отдаленная деревня. Колхозник в те времена вообще денег в руках не держал и охотно сдал им хату с глиняным “мазаным” полом за гроши, а сам с семьей переселился в сарайчик. Хата была “біленька та чепурненька”, то есть обмазана “крейдой” (мелом), чего никак не скажешь о заборах. Вдоль сельской улицы тянулся плетеный тын, небрежно обляпанный серо-зеленой массой, в состав которой были, видимо, включены коровьи лепешки – продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота, разбросанные повсюду. Как облицовывают тын саманом, Ицик не наблюдал. Но впечатление такое, что берут в руку коровий блин и ляп-ляпают, пока не заляпают весь забор...

Но Ицик – профессор в этих делах по сравнению с Цилей Осиповной, маникюрушей. Или, как ее называл Шрайбер-старший, маникакершей. Маникакерша Циля, единственная из великосветского прошлого, посетила экс-директоршу в изгнании, так сказать, в глуши уединенья. Она не без основания полагала, что даже в роли Золушки принцесса нуждается в маникюре. При керосинке даже чаще, чем без нее. В этом Циля Осиповна была большой ученый... Но ее поверг в совершенное изумление оригинальный деревенский забор. Она потрогала розоватым пальчиком неизвестный облицовочный материал:

– Из чего это?

– Коровий навоз, – ответил Шрайбер.

Вообще-то маникакерша видела, как мимо забора гнали стадо на выпас. Так что для заляпывания забора было достаточно коров... Но забор-то был высокий, даже выше ее прически, выложенной короной на голове.

– А-а... А как же корова туда достала? – спросила маникакерша, округлив глаза.

Но маникакерша приехала и уехала, а мама с первого дня загорала “под Золушку” у керосинки.

Тем временем папа Шрайбер, взяв сына за руку, своей неизменно полувоенной походкой пошел на речку.

О речке по имени Ворскла на Украине рассказывают побасенки исторического содержания. Якобы сам Петр I, переезжая ее по кладкам накануне великой Полтавской битвы, уронил в воду стекло от подзорной трубы и в сердцах обругал ни в чем не повинную речку:

– Ах ты вор скла!

Что весьма сомнительно: к чему бы царю Петру, проезжая речку, смотреть в подозрную трубу? Что он там высматривал? Может, хотел показать шведскому королю Карлу XII, “где раки зимуют”, да сам не знал? И почему русский царь говорил по-украински “скло”, а не “стекло”?

Вообще, что может украсть такая светлая речушка? Где ей спрятать украденное, когда в ней не то что стеклышко – иголка на дне видна? Нет в мире “скла” прозрачнее Ворсклы!..

Так вот, по обрыву над Ворсклой шел навстречу Шрайберам сельский хлопец лет двенадцати в сиротских хлопчатобумажных “штанях”, из которых вырос еще в предыдущей пятилетке, с голым пузом и в черной кепке из “пальтового” сукна. У хлопца в руке был садок – сетчатый мешочек, затянутый наподобие кисета мотузочком, шпагатиком, а в садке штук сорок щурят – молоденьких щучек, чуть покрупнее отверточек из металлического “конструк-тора”. Местные пацаны ловили такую мелочь “рогелей” – сеткой на каркасе, и хлопец, должно быть, нес “додому” свою долю улова.

– А может, продашь, – робко спросил папа Шрайбер, – рыбу?

– Та яка це риба?

– Ну, все-таки ты трудился, ловил.

– Та який то труд? Берить так.

– Не-ет, – заупрямился Шрайбер, – назови свою цену.

– Десять копійок.

– Одна?

– Всі!

– Двадцать! – сказал Шрайбер твердо. – За меньше не уговаривай – не возьму!

– Ну ладно. Хай буде двадцять.

Шрайбер полез в карман галифе, потом в другой. Ощупал нагрудные карманы гимнастерки...

– Вот что, – сказал он сыну, – отнесешь рыбу и возьмешь у мамы деньги.

– А ты?..

– Я тут побуду.

Ицик понял: отец остался в заложниках, чтобы “рыбак”, не дай Б-г, не подумал, что они с рыбой убегут.

Заложник был действительно ценный. Таким заложником не побрезговал бы любой моджахед или, как говорили раньше, басмач. Еще бы! На военной службе у Шрайбера было два ромба в петлицах. По-нашему, генерал-лейтенант.

Впрочем, пацан и не сомневался, что двадцать копеек дачники принесут: у них же никто не просил – сами обещали.

Но, к сожалению, деревенский хлопец не мог даже предположить, так же как и сам Перро, что бывает с принцессой, когда ее превращают в Золушку.

– Отнеси это своему отцу, – сказала она Ицику. – Пусть отдаст обратно.

Ицик вернулся к месту торга.

– Мама велела отдать обратно, – сообщил он высоким договаривающимся сторонам.

– Как? – не понял Шрайбер. – Я же купил. Ты принес деньги?

– Нет.

– Не-ет?!.

Вырвав из рук Ицика злосчастную сеточку, Шрайбер помчался за двадцатью копейками лично сам.

Заложником на этот раз он оставил своего единственного сына.

– Фридка! – заорал он с порога. – Найди мне немедленно двадцать копеек!

– За что?

– За рыбу!

– Это рыба?!

– Это прекрасная рыба! Мы, когда были мальчиками, ее жарили и ели!

– А я не умею жарить глисты.

– Можешь хоть выбросить! Но я обещал мальчику деньги!

– Ты же возвращаешь товар! Марксист несчастный!

Якив-Мейше не был марксистом, хотя считал себя таковым.

– Мне стыдно, – произнес он упавшим голосом, – возвращать ребенку рыбу, когда он ждет деньги. Неужели я такой подлец?! (Правильно его вычистили из партии – типичный идеалист.) Всего двадцать копеек!

– Ты их заработал?..

Где ты, Маяковский?

“Если бы выставить в музее
плачущего большевика...”

Якива-Мейше можно было выставлять дважды. Когда в одна тысяча девятьсот двадцать третьем году Шрайбера демобилизовали из армии и бросили на “комод”, он вышел из кабинета начштабарма, сел на подоконник и стал “клипать” глазами.

А вы бы не “клипали”? Человеку дали полномочия – хозяйство миллионного города, а талоны на обед забыли. Не было пятака на трамвай. Женихаться на Петинку пришлось ходить пешком через весь город. И это при двух ромбах в петлицах. Попробовали бы так поступить с теперешним генерал-лейтенантом.

И все-таки Фридка тогда не увидела плачущего большевика: пока шел пешком на Петинку, просох...

А сейчас... Бедный Якив-Мейше! От его красного директорства остались лишь покрасневшие глаза.

...Солнце уже спускалось за синеющий гребешок леса на холмах, Ицик уже договорился с хлопчиком завтра “порогелить” вместе, когда Шрайбер-старший все-таки принес двадцать копеек.

Соседская полуголая кошка, должно быть, запомнила этот рыбный день на всю оставшуюся кошачью жизнь.

* * *

Известно, что Моше-рабейну сорок лет водил евреев по пустыне, чтобы отучить от египетского рабства. Но даже и за сорок лет в безводной пустыне нельзя было бы отлучить нашего брата ашкеназа от фаршированной рыбы.

“Знов за рибу грош!” – поморщится бывший антисемит, ныне друг евреев, украинец, что в переводе означает: “Заладила сорока про Якова”. Но что делать, если папа Ицика Якив-Мейше без рыбы не мог. Хоть он и честно служил Третьему Интернационалу, но родился все-таки не от Интернационала, а от Шлойма Шрайбера – еврея.

Короче – это было уже зимой в городе – мама принесла с рынка рыбу.

Карп, или, как говорят на Украине, “короп”, принесенный мамой, был еще живой, и Ицику захотелось пустить его поплавать в ванну. А раз Ицику захотелось, то и Якову, который теперь служил не партии, а только сыну, захотелось еще сильнее. Они наполнили ванну и бережно, как спускают корабль на воду, запустили рыбину.

Короп полежал немного на боку, как бы раздумывая, не перевернуться ли ему сверху брюхом – и “финита ля комедия”, но вскоре занял промежуточное наклонное положение между жизнью и смертью, потом как-то вяло двинул хвостом и стал прямо, спинкой вверх. Корпус его покрылся пузырьками, он как бы впитывал в себя кислород всем телом. Задвигались жабры, маленькие прозрачные губки вытянулись, как для поцелуя, и он поплыл по эллиптической орбите, повторяющей форму ванны. Короп плыл все быстрее и быстрее, казалось, он должен без конца тыкаться носом в белые стенки ванны, но этого не происходило, хотя у бедняги сохранился всего один глаз, слева, а справа – лишь розоватое бельмо.

Он видел, думал Ицик, только одну половину мира – другая скрыта от него во мраке, как для людей – обратная сторона Луны. Конечно, это уже не жизнь, а полжизни. Но тем более: грех отнимать последнее у полуживого существа.

Вы знаете, есть худые дети. Как ни корми – оно все равно желтое и худое. В этих случаях первое, что приходит в голову: у ребенка глисты. У Ицика, когда он был маленьким, глистов не было – все жизненные соки у него высасывала жалость. Жалел мух, муравьев, тараканов и мальчиков, которые его обижали. Вот, скажем, у Ицика есть перочинный ножик с тремя лезвиями, еще и с пробочником, шилом, отверткой, открывалкой для консервов и даже маленькими ножничками. Ясно – другому мальчику тоже хочется иметь такой ножик, даже больше, Ицик в этом убежден, чем Ицику, потому что для Ицика ножик, как и прочие детские радости: игрушки-побрякушки, фантики-бантики, марочки, денежки, конфетки, мороженое и пирожное, – все это где-то там, за левым ухом, на невидимой стороне мира, как у одноглазого карпа. Но у Ицика, как у рыбы, есть “боковая линия” – локатор, и он непонятным образом ощущает, что мальчику хочется, аж дрожит, как хочется, украсть ножик с тремя лезвиями, пробочником, шилом, отверткой, открывалкой для консервов и даже маленькими ножничками. И Ицик делает вид, что забыл ножик на скамейке во дворе. А мальчик, нечаянно, конечно, цап его – и в карман. Что еще надо? Оба были бы счастливы, если бы природа, кроме детей, не создавала взрослых. Ну, родители Ицика – еще куда ни шло: пристали “где ножик, где ножик?” Оказывается, отцу его подарил какой-то нарком. У Ицика сердце разрывалось от отцовских переживаний, но мальчика было все-таки жалче. Ему ножик был больше нужен. Отцу нарком подарит еще. (О том, что наркома с дыркой в затылке уже бросили в яму с гашеной известью, Ицик, конечно, не догадывался.) Но вдруг являются родители того мальчика с сыном, и сын, наступая на соплю, с позором возвращает ножик с тремя лезвиями, пробочником, шилом, отверткой, открывалкой для консервов и даже маленькими ножничками. Ну какое сердце не обольется кровью от жалости к этому маленькому обездоленному воришке?! И полетит ли после этого в горло любой самый сладкий кусок?!

А вы говорите: у ребенка глисты. Эти “глисты” росли вместе с Ициком, но чем старше он становился, тем меньше почему-то жалел людей и все больше животных.

В ванне плавала живая рыба. Живая – в безжизненном эмалевом пространстве, в хлорированной среде. Вряд ли она могла бы прокружить сорок лет, как евреи в пустыне. Хотя с неба и здесь падала манна небесная в виде хлеба, которым Ицик и Яков пытались ее кормить. Она не ела, хлеб только загаживал воду... Но они все бегали и бегали в ванную комнату смотреть на свою рыбу и были счастливы оба, как дети, несмотря на все усилия вождя народов отравить им этот год.

Даже фаршированная рыба, поданная к завтраку на следующее утро, не отвлекла их внимания от живого карпа. Мама обиделась – она так старалась,

все скрупулезно делала по рецепту своей мамы и старшей сестры. Куда там? Они только “переводили продукт”, и, отодвинув тарелки с недоеденной рыбой, бросились в ванну к своему одноглазому кумиру, на ходу решая проблему: кормить его дальше хлебом или, может, наловить мух...

...Но в ванне никого не было. Вода выпущена и даже смыта слизь...

– Фридка!.. – Якив-Мейше, багровый и анфас, и в профиль, рубил ребром ладони воздух, как когда-то клинком белополяков. – Где рыба?!

– А что вы ели?..

Они съели любимое существо.

Впрочем, для старшего Шрайбера было хоть какое-то утешение: пока съели только рыбу, его, во всяком случае, не доели до конца.

А вот Ицик страдал страшнее. Психологически. Второе поколение Шрайберов – это уже, можно сказать, гнилая интеллигенция. Ицик от своего отца отличался, как принц Гамлет от своего. Старший говорит недвусмысленно: отомсти за меня, – а младший еще думает: “Бить или не бить?”

На выходе из ванной Ицик вырвал в раковину все, что съел. Потом прошел в комнату, лег на диван спиной к вашему презренному миру и замер на пятнадцать минут...

Но не таков Яков Шрайбер. Наполеон Бонапарт мог посиживать на барабане, сложив руки на груди, когда прикалывали штыками его гренадеров, Сталин – похаживать по кабинету и посасывать трубку, когда немцы рассматривали Москву в бинокль А Шрайбер ни при каких обстоятельствах не складывал рук – он тут же направился в зоомагазин и *принес аквариум с рыбками*.

VII. Разговор для скамейки

В настоящее время автор вместе с Ициком Шрайбером, уже изрядно постаревшим, проживает в небольшом русском городке. Правда, некоторые жители этого городка говорят не по-русски, потому что городок израильский. Но факт – в этом городе трудно, гуляя, не встретить знакомого, да и незнакомый не стесняется обратиться к тебе со своим “Как живете?” и “Почему не пишете?” Хотя и живу я “как”, и пишу без передышки. А иногда между нами возникают и более содержательные беседы, тем более что все скамеечки в городе усижены, в основном, ровесниками и соплеменниками. В вопросе о том, как я описываю нашу жизнь сегодняшнюю, у нас мало возникает разногласий: тем более что я по профессии сатирик, а значит, все мажу черной краской. Мои соскамеечники же, хотя и не сатирики, тоже предпочитают вышеупомянутую краску, когда речь идет о “стране прихода”. Поэтому на страну исхода уже черной красочки не хватает.

- Вот, – говорю я, – было время, когда не было колбасы.
- Нет, – отвечает, – не было такого времени, потому что у меня был знакомый зав гастрономом.
- Зато был государственный антисемитизм.
- Не было, потому что я сам был управляющим трестом.
- Но хоть тридцать седьмой год-то был?! – вставляю я с робкой надеждой.

На что мне определенно отвечают:

– Зачем вы все мажете черной краской? То были времена трудового подъема, невиданного оптимизма, энтузиазма... Хотя не без некоторых отдельных...

Что я на это могу сказать?

Действительно, гуляя по улицам в упомянутом году, я как-то вроде бы и не спотыкался о трупы невинных жертв массовых репрессий. Улицы выглядели даже благопристойнее, чем теперь... Но...

Многоуважаемый читатель! Если кто-нибудь при тебе станет клясться и божиться, что он в 37-м году не заметил 37-го года, плюнь ему в бороду, невзирая на возраст!

Исключение можно сделать либо идиоту от рождения (но у тех борода не растет), либо совсем серому, кто в лесу рос... Хотя и чукча в тундре, если он настоящий охотник, мог заметить, как популяция “политиков” среди эков растет не по дням, а по часам. Да что и говорить! Неграмотных и слепых, не читавших газет, просвещали по радио и на собраниях, громко крича: “Смерть шпионам и вредителям!” Глухонемых – и тех просвещали... Я как-то читал их газету, там замечательно начиналась статья: “Глухие труженики нашей страны...”

Когда бывшие члены Политбюро, ныне ведущие демократы, разводят руками подобно глухонемым труженикам: мол, не знал и не ведал – не верьте, граждане, он не идиот. Это просто он нас с вами, как говорят в Одессе, “держит за идиотов”.

Хотя и от самих отсидевших и, слава Б-гу, не посмертно реабилитированных приходилось слышать:

– Я-то, конечно, сел по ошибке, но рядом сидели настоящие враги народа.

Это мне напоминает украинский анекдот:

– “Хто п'яний? Я – ні! Це кум п'яний: ось, бачите, у нього по спині зелений чорт бігає!”

Пусть так. Но если вы признаете, что репрессиям подвергались миллионы невинных людей, значит, по-вашему, были и виноватые. В чем виноваты они? Конкретно! Вы не задумывались? А я, представьте себе, задумывался даже тогда, в свои двенадцать лет: кто такие “враги народа”? Что они сделали против народа такое плохое?.. Не согласны с политикой пар-

тии. А чему нас учила партия? А литература? Советская, революционная, даже дореволюционная и иностранная? Как раз этому самому: несогласию. Свободомыслию и неповиновению властям! Этой революционностью питали нас с младых ногтей. Недаром великий вождь пожирающих друг друга революционеров Колючий Ус снимал скальпы в первую очередь с бывших подпольщиков-борцов. Понимал, мудрый, чему они могут научить подрастающее поколение.

Единственный, кому бы я поверил, что он, как баран, смотрел на железные ворота ГПУ и ни ухом ни рылом не в курсе дела, так это писателю и мыслителю, интеллектуальнейшему Лиону Фейхтвангеру. Его книжку “Москва. 1937 год” Ицик с интересом проглотил. Конечно, для иноземного гостя не выставили в музее плачущего большевика – не везти же его на Лубянку. Зато открытые судебные процессы над разоблаченными вождями он созерцал и ни малейших следов какого-либо физического воздействия на лица обвиняемых не обнаружил. Респектабельные политические деятели, философы, литераторы, теоретики марксизма и прославленные революционеры на скамье подсудимых охотно, даже с энтузиазмом, именуют себя бандитами и шпионами, признаваясь в самых фантастических преступлениях вплоть до отравления колхозных колодцев бациллами чумы. Всем им грозит, конечно же, смертная казнь, что не мешает им переговариваться, шелестеть газетами и в перерывах пить чай, словно не в суде, а на конгрессе Интернационала. Словом, ребята в полном порядке: даже невинного фингала под глазом мировая общественность не усмотрела. Почти как в милицейском протоколе времен “культы личности”: “Никаких следов насилия на трупе не обнаружено, кроме облигаций государственного займа”.

Понять, как это у них получается, Фейхтвангер, конечно же, не мог. Потому что он вообще не в советской стране рос, а в Германии, где деньги на ветер не бросают. Там даже в дом повешенного присылают счет на веревку. Немцы не потратят и пфеннига на содержание в тюрьме невинного, если он, конечно, не еврей. У нас же, в стране советов, евреи свободно гуляли по улицам без желтых звезд на пиджаках – так что Фейхтвангера еще можно понять: он ставил на Сталина против Гитлера. Вообще “усатый нянь” приоткрывал железный занавес для наивных младенцев с Запада. Кроме Фейхтвангера, просочились еще трое: Ромен Роллан, Анри Барбюс и Андре Жид. Для запоминания советские люди так перевели их имена: Роман Роллан, Андрос Барбос и Андрей Еврей.

Ицик жил на перекрестке улиц Романа Роллана и Анри Барбюса. Улицы Жида не было – он оказался “клеветником”, так что харьковские жида жили на двух предыдущих.

Кстати, и улицы Фейхтвангера не было. Все-таки и ему кое-что у нас пришлось не по вкусу: например, “сто тысяч портретов человека с усами”.

Жаль, герр Фейхтвангер раньше не приехал, когда не одного лишь усатого вождя несли в рамках перед трибунами, а еще тьмы и тьмы. Их реяло над головами больше, чем самих демонстрантов: вожди мирового значения, вожди всесоюзного масштаба, республиканского, городского, районного подчинения. Портреты командармов, командиров, комбригов несли по ранжиру: четыре ромба в петлицах, четыре ордена на груди, усы на четыре дюйма шире ушей; три ромба – три ордена, усы на три дюйма, два ромба... и т.д. и т.п.

Был такой анекдот на заре вождизма:

“В сельмаг, где все продавалось, от конской сбруи до наглядной агитации, приходит мужик:

– Мне бы вожжей.

– Кого именно: Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого?..

– Не, мне не тех вожжей, что вешать, а тех, что править”.

Вот, кстати говоря, Колучий Ус всех и перевешал (точней, перестрелял). А ведь Изю тогда в школе учили вместо уличного “бля буду” клясться “честное пионерское, под салютом всех вождей”.

Так как же, по-вашему, он должен был отреагировать, когда все вожди оказались “троцкистско-бухаринской бандой”? Только что под их мудрым руководством одолели белых генералов и четырнадцать держав, совершили индустриализацию, коллективизацию, электрификацию, выполнили пятилетку в четыре года и построили в общих чертах социализм, как вдруг все вожди, точно по команде, дружно вынули руки из-за бортов полувоенных френчей и ударили себя кулаками в грудь:

– Мы – шпионы и диверсанты! Вставляли вам палки в колеса, подсыпали песок в подшипники и прививали сап коровам!

Как живут шпионы и диверсанты, Изя видел в кино: плохо. Ползи, бедняга, по болоту, пока не схватит за ж...пу пес пограничника Карацупы Джульбарс.

А как поживают вожди, довелось наблюдать в натуре – не в коммуналках, а в особняках: Петровский на улице Петровского, Косиор – на улице Косиора, Чубарь – на Чубаря, Постышев – на Постышева. И не висели они на подножках трамваев, как рабочий класс-”гыгымон”, гроздьями.

Все пацаны знали, у кого из вождей зеленый “линкольн”, а у кого – синий “бьюик”. Да и зачем им было бороться за советскую власть, идти за нее на смерть, на каторгу, в тюрьму и ссылку? Чтобы, дорвавшись наконец до власти, начать новую борьбу против самих себя?!

Конечно, не все задумывались над сей метаморфозой. Но Ицик был, что называется, в эпицентре. Вокруг Шрайбера-старшего все ходили под топором, так что очень скоро образовалась вырубка. Первым “сел” главный инженер завода, столь же безобидный, сколь беспартийный специалист из дореволюционных интеллигентов, о котором Шрайбер, и после того как он “сел”, отзывался так:

– Исключительно порядочный человек!

У Шрайбера все мужчины делились на две категории: “исключительно порядочный” и “такой сволочь”; а женщины – либо “обаятельная”, либо “пикантная”. И вдруг оказалось, что “исключительно порядочный человек” такой же “враг народа”, как “такой сволочь”. Всех брали вместе с “обаятельными” и “пикантными” женами.

У мамы Ицика была подруга – доктор Шайкевич Ревекка Ароновна, дама в пенсне и в заграничном обтягивающем “трикотинном” платье” – так тогда называли трикотаж. Они отдыхали вместе у моря на Кавказской Ривьере: Фрида с Ициком, Ревекка с дочкой Тамарой.

Муж Ревекки Ароновны, отец Тамары – имя какое-то странное Куба – был солидным трестовским специалистом и почти всегда пребывал за границей – в Германии и даже в Японии. Он не ходил, как папа Шрайбер, в сапогах и гимнастерке. У него были костюмы, галстуки, даже жилеты и заграничный мохнатый в клеточку пуловер.

Ицику запомнились также его очки в черепаховой оправе и огромные журналы в домашнем кабинете на письменном столе, напечатанные на гибкой глянцевой бумаге или на шелку, иногда даже на клеенке, с потрясающе красочными изображениями турбин, блюмингов, слябингов и прочей циклопической техники с маленькими фигурками рабочих для сравнения.

Ицик невольно сравнивал... Но не рабочих с блюмингами, а рабочих с рабочими. “Жертвы беспощадной эксплуатации” – рабочие капиталистических стран выглядели гораздо уважаемее “свободных тружеников Страны Советов”.

Семья Шайкевичей исчезла незаметно даже для соседней по лестничной клетке. Когда за ними приехали, никто не видел. Только телефон не отвечает и свет в окнах не горит.

Позже Ицик узнал, что Кубу очень скоро расстреляли, Ревекку отправили в лагерь, потом в ссылку в Казахстан. А Тамару домработница Луша “украли” у компетентных органов: той же ночью увезла к себе в деревню.

Сохранилась фотография, где им, Тамаре и Ицику, года по три. Стоят на пляже, взявшись за руки, как Адам и Ева на картине – оба без ничего. Сталин сказал: “Сын за отца не отвечает”. Почему же первая в жизни подруга Ицика, на которой – взгляните на фотографию – никакого шпион-

ского снаряжения, кроме бантика на голове, вынуждена скрываться от карающей руки пролетариата?!

Но, может, великий вождь об этом не знал? Божество, как известно, высоко...

Однако папа Шрайбер, сам того не желая, подорвал в сыне веру в божественного вождя.

Дело в том, что Якив-Мейше был еврей. Нет, не просто еврей, а самый настоящий. Евреи не случайно почитают “Б-га невидимого”, потому что не дай Б-г еврею увидеть...

Отец рассказывал, как ему довелось на съезде хозяйственников пожимать руку самому Хозяину.

– И какой же он? – спросил сын.

– Сталин... Ну... желтый, азиатского типа (отец имел в виду “кавказского”), и усы желтые, и пальцы – курит много, а лицо, как у этого... “дуршлака”.

– У кого?!

– Того, что на кухне... в дырочках.

Папа имел в виду дуршлаг, на который мама откидывала макароны.

За один этот портрет можно было “схлопотать вышку”. Хотя папа ничего плохого не хотел сказать, но у сына после этого, как он ни старался, уже не получалось оставаться последним идиотом в стране дураков.

А вы, тетенька, тычете мне в нос своими похвальными грамотами и кричите о повальном энтузиазме.

– Если бы, – говорите вы мне, – советская власть не развалилась окончательно, я бы в ваш этот... капиталистический Израиль не приехала!..

Хотите анекдот?

“Разговор в переполненном троллейбусе:

– Марья Ивановна, Марья Ивановна, да тебя же е...ут!

– Ах, батюшки! А я и не заметила”.

Заметили вы, Роза Исааковна! Прекрасно все заметили!.. Но вам понравилось.

VIII. “Восток – дело тонкое”

Да-а, умный был человек Якив-Мейше, но дурак. Зачем связался с большевиками? А Фрейдошка, такая умница, зачем она связалась с ним?! Ну, кончила свой институт, ну, лечила бы больных, а так... Только то и делает, что сама лечится. Сердечная декомпенсация. Не справляется моторчик... Начал барахлить.

Ни сын, ни муж этого тогда не заметили. “Возлюби ближнего своего, как самого себя”, – заповедь хорошая, но неосуществимая. Первые тре-

возные сигналы слабеющего сердца не различает даже трубочка врача, разве что электрокардиограмма, а ближний, даже если он рядом с тобой под одним одеялом, может запросто заглушить их своим храпом.

Нет! Уж если Ты так хотел, Г-сподь Вседержитель, то и вмонтировал бы в сердца наших ближних какую-нибудь леденящую душу сирену вроде той, что, срывая с постели, выгоняет на улицу в ночном белье владельцев автотранспортных средств и ни в чем не повинных соседей.

Но в тот год к стукам сердца никто не прислушивался. Все заглушал звонок над дверью, даже когда он молчал. Потому что вот-вот взревет, как труба архангела, и возвестит конец всему, чем они живы.

А шаги на лестнице – как небесный гром!..

А ключик от ящика, уж совсем молчаливый...

С недавнего времени Якив-Мейше стал запирает верхний ящик письменного стола, а ключ носил с собой в кармане и перед сном прятал под подушку.

Что там было в ящике – Шрайбер сыну не сообщал, как, скажем, отец одного из Изиных одноклассников, который то и дело вопрошал с металлом в голосе:

– Витя! Ты не забыл, что у меня в ящике?!

В ящике стола у Витинога папы, доктора медицины, лежал ремень. Довольно жиденький брючный ремешок. У папы Ицика Шрайбера ремень был и шире, и толще. Подметки бы выкраивать из такого ремня – настоящий командирский. И Шрайбер не прятал его в ящик, а носил поверх гимнастерки, перетягивая округлившийся живот. Но Витя, по крайней мере, знал, что у его отца в ящике, а Ицика терзало неодолимое желание раскрыть тайну единственного ящика, который Шрайбер запирает.

Но потерпи, дорогой читатель, “ты еще молодой, у тебя еще все спереди”, как говорила Изе чья-то еврейская бабушка, соседка по лестничной клетке.

У нас обожали всему давать названия. Шайкевичи жили в “Красном промышленнике”, Шрайберы – в Доме специалистов. Но специалистов, даже живших с ним в одном подъезде, Ицик как-то не замечал. Никто из них не кричал об этом. И лишь один сосед “звучал” на весь подъезд, хотя Ицик поначалу не мог понять, в чем именно он специалист.

Вообще-то он был военный. Но военный какой-то несерьезный. Начиная от карликового браунинга на ремне... У папы Шрайбера был патефон и микифон – маленький патефончик, не больше будильника. Так вот, браунинг этого военного отличался от настоящего оружия, как микифон от патефона. Кобура с браунингом была, ей-Б-гу, не шире ремня. Да и весь военный был какой-то невоенный, не в защитной, а в серой коверкотовой

гимнастерке; и в петлицах не кубари или шпалы, а звездочки, крохотные синие звездочки, гуськом, одна за другой.

Сосед этот, моложавый крепкий латыш, звали его Ян, служил в НКВД и явно преуспевал. Во всяком случае, гости в его квартире не переводились. И сам был всегда под шофе. С лицом, розовым, как у загримированного артиста, с шальными глазами, он взбегал, пружиня на ладных ножках в шевровых сапогах, почти бесшумно по лестнице к Шрайберам и тащил Якова в свой вертеп.

А Яков тащил за собой Ицика.

Жена Яна – хозяйка бала с иссиня-черными волосами, не выпускала изо рта “пахитоску” в длинном серебряном мундштуке. Она обильно красила губы и пачкала помадой мундштук. Ян доставал ей только до плеча. Эта картинная гранд-дама усаживала Изю меж двух юных дочерей и наливала в маленькую рюмочку на несуразно длинной ножке зеленый ликер бенедиктин, сладкий, тягучий и противный, но очень интересный, потому что зеленый. Наверно, думал Ицик, это оно самое – “зеленое вино” из сказок. Бокалы из тончайшего и тоже зеленого хрусталя – “баккара” – издавали таинственный дрожащий звон, словно китайские колокольчики, и люди за столом были шумные, веселые – вовсе не злые, а Ицик сидел как на сковороде у черта в преисподней. Он уже, кажется, начинал догадываться, какого рода здесь живет “специалист”...

Догадка превратилась в уверенность, когда некоторых стали выпускать. Вернулся главный инженер, вернее, то, что от него осталось: зубы выбиты, глаза слезятся, уши не слышат – порваны барабанные перепонки, шея искривлена, ноги шаркают, руки дрожат, – и по секрету сообщил Шрайберу-старшему:

– Там пытаются.

Ицик, когда и до него дошло, испытал примерно такое же потрясение, как Коперник, обнаруживший, что Земля ходит вокруг Солнца, а не наоборот. До сих пор Ицик знал лучше, чем таблицу умножения (ее он вообще не знал), что “пятиконечные звезды вырезали у нас на груди банды Мамонтова, в паровозных топках сжигали нас японцы...” А в ЧК только угощали папиросочкой.

И вдруг выясняется, что красавчик Ян с шальными глазами, в коверковой гимнастерочке, зарабатывает себе на бенедиктин, ломая челюсти и разбивая барабанные перепонки...

Из книг, фильмов, рассказов Шрайбера-старшего у Ицика сложилось несколько иное, мягко говоря, представление о коммунистах: и когда они допрашивали, и когда – их...

“Из горящих глоток всего три слова: “Да здравствует коммунизм!”

А теперь – всего два:

“Я – шпион!”

Если бы старший Шрайбер не был столь осторожен, если бы не застегнулся на все пуговицы своей гимнастерки, словно стальной панцирь надел (как бы теперь сказали, бронезилет), – он бы все очень просто объяснил “своему подростку” (так он называл сына: “мой подросток”):

– Так вот, мой подросток, когда ты – в логове врага, ты, по крайней мере, знаешь, что там, за линией фронта, свои: друзья, товарищи, соратники по борьбе. Они будут чтить тебя как героя, и жена твоя будет женой героя, и сын – сыном героя! А теперь совсем другой компот: ни врага, ни линии фронта. Куда ни кинешь взгляд – от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, – “все вокруг товарищи, все вокруг свои”. И, значит, все равно, какие бы муки ты ни вытерпел, тебя будут проклинать как врага народа, и сын твой будет сыном врага народа, – так что не трать, куме, силы, сидай на дно.

Но Шрайбер ничего такого не сказал, а оставил Ицика наедине с визуальными наблюдениями.

Например: для чего энкавэдисту Яну такой игрушечный пистолетик? Угрожать подследственным мог бы чем-нибудь посуущественней. Автор мог бы этот вопрос замять для ясности. Но как Шрайбер “на минуточку директор”, так автор – “на минуточку драматург”. А в театре на этот счет строго: если повесил на сцене ружье, то, хоть сам застрелись, но – чтоб оно у тебя выстрелило! Думаю, то же относится и к пистолету. От ружья он отличается лишь размерами, как кот от тигра. По марксизму – разница несущественная, количественная, а не качественная. Так что, хошь не хошь, пали...

...Выстрела никто не слышал. “Первый номер” издает очень слабый звук. Пробки от шампанского хлопают слышнее. Но в том-то и дело, что пробки перестали хлопать, и не звенели больше колокольчики баккары, не хрипел патефон, не взвизгивали дамы и не ревели голоса мужчин – хозяин застрелился. Застрелился потому, что его хозяин Ежов получил новое назначение: наркомом речного флота. А значит, и его хозяин Сталин начал отмываться в очередной раз кровью своих подручных. Вот Ян и подумал: “А не отмываться ли самому?” И вышло, что маленький браунинг бьет ох как далеко!.. И через Время, и сквозь Пространство.

В 1941-м в Средней Азии в городе Чирчик Шрайберу с сыном вновь выпало пировать, на этот раз у вдовы веселого Яна. И вновь она красила губами свой серебряный мундштук в окружении “шляхетного” общества – офицеров польской Армии Крайовой, той знаменитой армии Андерса, что из Узбекистана откочевала в Иран, а там – и в Африку, воевать против

фельдмаршала Роммеля. Но пока армия только формировалась, паны в мундирах английского сукна, перетянутые скрипучей сбруей, розовошекие, с крепкими шеями и уверенными подбородками, щекотали рыжими усами ручку пани и щечки паненок.

Добже, панове, что вас не было в харьковском лесопарке, когда ликвидировали польских военнопленных. Там бы с вами побеседовал покойный супруг пани хозяйки... Но вы ограничились лесоповалом в тайге, а Ян – одним выстрелом. Он не только знал, что его ждет, но – и с кем имеет дело. Вожди, трибуны, профессиональные любимцы партии, как оказалось, лили на себя ушатами кровь и грязь, пытаясь сторговаться с Тараканищем: может, пожалеет их бедных крошек! И как же оценил этот самый человечный человек их примерное поведение? Спровадил и жен, и детей “врагов народа” в тот же барак, на те же нары, что и жену Кубы Шайкевича Ревекку...

А жена предусмотрительного Яна, между прочим, не только балы дает, но и выдала одну из своих прекрасных дочерей за Председателя Президиума Верховного Совета Узбекистана, классика узбекской литературы по совместительству.

Метко бьет дамский браунинг.

Впрочем, Ицик так далеко не заглядывал. Чего вы хотите от двенадцатилетнего мальчика? Пока его интересовало, что именно прячет папа Шрайбер в запертом ящике.

В конце концов он изловчился просунуть в щель между ящиком и крышкой стола гибкое лезвие ножа для разрезания бумаг и отщелкнуть язычок замка. В ящике лежал точно такой же браунинг первый номер, как у Яна, только без кобуры. Он оказался довольно-таки толстеньким, тяжелым и холодным на ощупь. В ящике была также коробка с патронами. Гильзы латунные, пульки оловянные, округлые – в картонных сотах коробочки, как в осином гнезде. Все это было густо промаслено. Тут же лежал коротенький шомпол с навинчивающимся ершиком. Ицик, тупой ко всякой технике, тут как будто родился с браунингом – мигом сообразил что к чему. Даже предохранитель – крохотный стальной жучок – открыл ему свое назначение. Вынув из рифленой ручки браунинга заряженную обойму, Ицик передернул верхнюю крышку корпуса, обнаружив несерьезно коротенький ствол, который тут же спрятался, и заглянул в дуло с убегающими от глаз червячками нарезки. Потом вернул все на свои места, сделав это скрупулезно, с немецкой педантичностью. Откуда она только взялась? И задвинул ящик.

Одного он не сумел – запереть замок, но Шрайбер-старший, отпирая, не понял, почему ключик ведет себя необычно, стал крутить в обе сторо-

ны, сам запер и сам открыл. Так что сошло с рук – репрессий по отношению к Шрайберу-младшему не последовало.

Но забыть о браунинге Ицик, естественно, не мог, хотя правды ради следует признать, никогда не задумывался, зачем отцу оружие. Он только иногда гадал, далеко ли долетит пуля из этого кургузого ствола. О том, что пуле недалеко лететь, он, конечно, не догадывался.

А Якив-Мейше, нащупывая в кармане ключ от ящика, думал лишь одно: как бы успеть вовремя открыть ящик, до того, как шаги, к которым они с женой по ночам прислушивались, смолкнут у их дверей. Тогда и Фрейда, и Ицик будут спасены. А тем, чьи шаги замрут у двери, придется прийти еще раз – на похороны “старого большевика Шрайбера”.

“Восток – дело тонкое”, – сказал положительный герой известного кинофильма, а отрицательный добавил, указывая на кинжал: “Горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту”.

Пистолет, как мы убедились, тоже не роскошь, а предмет первой необходимости, когда знаешь, с кем имеешь дело. Здесь вам, господа, не какая-нибудь Европа.

Да что говорить, если вместо чести и совести – Коммунистическая партия Советского Союза.

IX. Ицик Шрайбер и математика

У Шрайбера-старшего, когда он в красной кавалерии служил, был смелый, скажем прямо, конь по имени Мальчик. В царскую армию он бы не прошел по росту. Но характер – чемпионский: органически не переваривал плестись в хвосте, видеть не мог впереди себя другую лошадь. Укусит, обгонит, еще и лягнет на прощание. И вот, представляете, на параде стал обходить самого командарма. Шрайбер ему губы в кровь раздирает удилами – где там! У всех на глазах во главе колонны гарцует не легендарный пролетарский полководец на белом тонконогом скакуне, чистокровном текинце, а Якив-Мейше на крысе.

Ой, вижу, как глазки разгорелись у некоего моего безымянного оппонента:

– Вот, вишь, эти жиды-комиссары! На нашем загровке въехали в ворота Спасской башни Кремля и там водворились!

Вынужден слегка омрачить вашу радость: наоборот, луганский слесарь Клим Ворошилов и вахмистр Буденный Семен Михайлович верхом на узкогрудых, зато крепкозадых шрайберах доскакали до сияющих высот. Хотя, конечно, от перемены мест слагаемых сумма (в данном случае – убытков) не изменяется...

Летом 1941 года, когда маршалы Семен Михайлович и Климент Ефремович, убегая с фронтов, бросали на верную гибель миллионы солдат и

офицеров, Яков Соломонович (он уже снова директор) увез и людей, и оборудование, и свиней, из подсобного хозяйства. Да еще к каждому эшелону цеплял цистерну спирта, которым его верные еврей-толкачи расплачивались с кем надо и когда надо.

Поэтому там, в Ташкенте, никто из его рабочих не умер с голоду, все благополучно вернулись. А завод даже как-то размножился – их стало два: один в Харькове, другой – в Ташкенте.

И лишь один человек не вернулся вместе со Шрайбером – его собственный сын.

* * *

Когда там, в Ташкенте, Изе пришла повестка “явиться с ложкой, кружкой и полотенцем”, он мог бы и не являться... “Являются, – как говорил военком, – привидения”. Добавлю: те из них, у кого нет таких отцов. Папе Шрайберу достаточно было снять трубку. Весь район питался от завода. Шрайбер – некоронованный король района, а райвоенком, соответственно, – кум королю. Завод как оборонное предприятие давал “бронь” – тонкую бумажку надежнее танковой брони. Директору ничего не стоило оформить сына. Он многих устраивал на завод. Нет, не ради брони, просто помогал людям выжить... Шрайбер с сыном ходил в еврейский театр Михозлса. И Михозлс, в свою очередь, присылал Шрайберу еврейских артистов, писателей, музыкантов. Так он устроил одного поэта охранником. Поэта нашли на вокзале среди тифозных беженцев – он уже на ладан дышал. А тут получил рабочие карточки и стал отъедаться... Как-то среди ночи директора Шрайбера разбудил телефон: ЧП на заводе! Поверяя посты, начальник охраны обнаружил берданку, прислоненную к джиде (шелковице), а поэта-охранника не то убили, не то похитили... Короче, Шрайбер, натянув галифе, примчался и лично обшарил все закутки, но трупа нигде, даже в арыке, не обнаружили, и директор зашел в контору, чтобы позвонить начальнику милиции...

Поэт сидел за директорским столом в директорском кресле и вдохновенно творил, раскачиваясь и бормоча себе под нос стихи на идиш.

Начальник охраны позволил себе заметить, что с таким же успехом можно было бы зачислить в военизированную охрану директорского сына. Юный Шрайбер в ту пору тоже кропал стишки. Даже читал их по радио и получал письма от благодарных радиослушателей. И вместо того, чтобы защищать родину, он бы охранял родной завод не хуже того поэта.

Но бедный папа Шрайбер! Он прятался на работе – сутками не приходил домой, чтобы не встречаться глазами с женой. Фрейдошка, в то время уже прикованная к постели, каждым взглядом умоляла спасти единственное дитя от неминуемой общей участи... Но сын самого Сталина, сын Пассионарии – пламенной Долорес Ибаррури... они уже были там. Якив-Мейше сгорал на медленном огне.

А сам Ицик не боялся фронта. У него хватало фантазии представить себе смерть... но только не свою. Муштра, казарма, армейская дисциплина были для стихийного интеллигента Шрайбера страшнее смерти.

Но Ицик имел как минимум две причины от армии не увиливать. Первая, очень важная – экзаменационная сессия. Так получилось, что он поступил в университет без аттестата за десятый класс. Окончил за лето курсы по подготовке в вуз и сунулся на филфак, а там мест не оказалось – только на физмате. И ректор университета – узбекский поэт (Ицик перевел одно его стихотворение) нашел выход:

– Поучишься сперва на физмате – потом я тебя переведу.

Легко сказать “поучишься на физмате”. Знаете, как Ицик в школе учился математике? Скажем, учитель вызовет его к доске, продиктует задачу. Другой бы на месте Ицика, при его математических способностях, молчал бы, как партизан. А Ицик наоборот, он, как болгарский коммунист Димитров, обвиненный в поджоге рейхстага, суд над собой превращал в суд над учителем. То есть не молчал ни секунды, наоборот, очень громко рассуждал:

– Если мы, предположим, здесь сократим, там раскроем скобки, помножим числитель на знаменатель, заменим плюс на минус и икс на игрек, то...

Учитель хватается за голову и издает тихий стон.

– То это будет неправильно, – твердо заявляет Ицик. И начинает строить другую гипотезу, от которой учитель уже волком воет. Но Ицик его утешает сообщением, что и эта гипотеза не последняя, у него их еще в запасе штук шесть.

В конце концов учитель не выдерживает пыток, раскалывается, начинает подсказывать и со слезами натягивает “тройку”.

Вот так бы Ицик и выболтал себе аттестат о средненьком образовании, если бы проклятый Гитлер не напал вероломно и бедный Ицик не переехал в Ташкент.

В новой школе за столом учителя сидел козлотородый старичок, совсем дряхлый (молодых угнали на фронт).

– Нове-е-енький, – проблеял козлотородый, – идите-ка к доске-е-е. Пишите-е: “а” плюс “бе-е-е”...

Ицик все записал и бодро завел свою шарманку: если мы, предположим...

- Эге-е-е... – кивнул бородой учитель, не оборачиваясь.
- То у нас получится...
- Эге-е-е...
- Или не получится...
- Эге-е-е...

Весь класс надрывал животики. Ицик, постепенно мертвея, продолжал свою речь. Некоторые уже ползали под партами. Наконец серый козлик обернулся к доске.

– Те-е-ек... И что же-е вы тут написали?..

На доске сиротливо белели неразгаданные иксы и игреки во всей девственной нетронутости.

– Садитесь. Кол.

Класс потешался над Ициком всю большую перемену.

– Кому ты заливаешь?! Он же глухой, как валенок!

Ицик прибежал домой, швырнул свой школьный портфель, сел на пол и сказал:

– Все! В такой школе мне делать нечего!

И... как вы уже знаете, поступил на физмат университета. Это ли не ирония судьбы?! Он сидел на лекциях с идеально шарообразной головой, от которой знания отскакивали, как шарик-подшипники. А сессия приближалась неотвратно...

Но, как, наверное, догадывается проницательный читатель, это недостаточно серьезная причина, чтобы идти на фронт. Да и “за Родину, за Сталина” его как-то не тянуло. Не случайно его ни в пионеры не приняли в свое время, ни в комсомол. Если до сих пор кой-куда не загудел, так только по малолетству. Даже папа – старый большевик не мог обработать этого махрового индивидуалиста.

А вот Гитлеру не составило большого труда – стоило лишь напасть. Ицик готов был идти сражаться, но вовсе не потому, что патриот. Есть анекдот про польского “вояка”, который, наложив в штаны во время боя, воскликнул:

– Панове! То я не зо страху, а зо жлости (злости)!

Так вот, Ицик шел воевать не из патриотизма, а от обиды. От обиды за свой избранный народ, который враг тоже избрал для уничтожения. Он и раньше знал, что он еврей. Но одно дело знать, другое – чувствовать.

Х. Ицик Шрайбер и противогаз

Как мы уже успели заметить, Ицик Шрайбер войны не боялся, но он смертельно боялся армии. А уж этого не минуешь: из Ташкента его направили в военное училище в город Ашхабад, где из таких вот Ициков штамповали лейтенантов. Там у старшины в каптерке Ицику, раздетому догола, выдали гимнастерку “ха-бэ бэ-у” и такие же шаровары, пилютку, ботинки “улыбка Черчилля”, сбивающие ноги в кровь, и обмотки, а также ремень брючный, ремень поясной и две “антабки”, то есть попросту петельки для заправки ремня, чтоб не болтался, как... (как что, старшина разъяснил на словах, остальное записал в “досье” курсанта Шрайбера на вещевое довольствие).

Дорогой мой израильский читатель!

Племянник автора сих строк, служащий в израильской армии, умудрился “посеять” свою громадную сумку со всем армейским гардеробом, любовно подобранным щедрой государственной рукой. И что бы вы думали: мальчика наказали или хотя бы сказали ему ай-яй-яй на иврите?.. Ему просто выдали все новое.

А Ицик однажды утром не обнаружил одной злосчастной обмотки. То есть на одной его тощей икре обмотка была намотана, а на другой нет. Вся рота, построенная, ждала на плацу, а Ицик и старшина ползали в казарме под койками – искали обмотку.

– Потерял, разгильдяй (через буквы “п” и “з”) казенное имущество, за которое я самолично расписался! – навзрыд матерился старшина.

Ицик не мог переносить без слез его страдания и всячески напрягал память: куда бы я мог деть обмотку?..

И вдруг он заметил, что одна его тощая нога стала несколько толще. Шерлок Холмс, с его дедуктивным методом, вряд ли смог бы сделать из этого далеко идущие выводы, а Ицик, с его жалостью к старшине, воспринял духом.

– Не плачьте, товарищ старшина! – подал он голос из-под койки. – Кажется, я обе обмотки намотал на одну и ту же ногу.

И старшина со вздохом облегчения припаял ему два наряда вне очереди: после отбоя драить сортир.

Но если старшина надеялся, что все его страдания от еврейской нации так обмоткой и закончатся, то он глубоко заблуждался.

Однажды ночью училище подняли по тревоге в ружье! Нет, нет, фронт не докатился до Ашхабада. Просто приехал с инспекторской проверкой генерал-лейтенант Курбаткин, командующий Среднеазиатским военным округом. По тревоге через три минуты надо было стоять в строю с полной выкладкой: винтовка, подсумки с патронами, шинель в скатку и противогаз. Ицик и в обычное время опаздывал, а тут не-

ожиданно для самого себя, оказался первым... Видно, какой-то медведь в лесу сдох. Но жалеть медведя некогда, надо проверять “заправку”, потому что генерал со свитой уже идет вдоль строя, начиная с правого фланга. А Ицик при его далеко не баскетбольном росте – на левом, так что время есть.

Так: воротничок застегнут на все пуговички, ремень затянут, все складки гимнастерки согнаны с живота назад, так что получается хвостик, под-сумок, противогаз, как положено, в сумке на лямке через плечо.

А генерал, продвигаясь вдоль строя, вершит суд скорый и нелицеприятный над “разгильдяями” (генерал это произносит через те же буквы, что и старшина).

– Почему пуговица не застегнута? Одни сутки ареста!

– Почему две пуговицы не застегнуты? Двое суток ареста!

– Почему ремень три раза перекручен? Трое суток...

А у Ицика, пока генерал доходит до него, уже все пуговицы в порядке и ремень не перекручен. Адьютант фонариком Ицика осветил, генерал рот раскрыл:

– Па-ачему?..

А закрыть не может. И вся его свита, от майора и выше, стоит с открытыми ртами. Что они могут сказать против еврея Шрайбера, который и здесь раньше всех успел...

– Па-ачему без штанов?!!!

Действительно, если штаны не надевать – большая экономия времени: спикировал с верхней койки прямо в сапоги (благо уже выдали), а что колени не мерзнут – так жара-то, она ашхабадская даже ночью.

Генералу сложнее. Ему приходится принимать стратегическое решение: как в данном случае поступить с курсантом? Штаны – это вам не обмотка. Если за одну пуговицу давать одни сутки гауптвахты, то сколько же за все штаны? По числу пуговиц, что ли?

И он находит конструктивное решение:

– Начальник училища, наложите взыскание своей властью.

А у полковника власти меньше, чем у генерала. Больше десяти суток вообще никто не имеет права дать.

– Командир батальона, – командует полковник, – наложите своей властью...

И “драла” вслед за командующим.

А у майора и того меньше власти, перекладывает на командира роты. И капитан, ясное дело, – на старшину.

Ну уж старшина – это вам не генерал, власть старшины вообще ничем не ограничена.

– Месяц, – хрипит старшина в ухо курсанту Шрайберу, – по ночам, когда все спят, будешь ты у меня мыть полы в казарме!

И мыл бы и был бы под пятой старшины, если бы сам старшина не споткнулся на противогазе... Да, да... Не в каком-нибудь переносном смысле, а в самом прямом споткнулся старшина о противогаз Ицика Шрайбера, и его власть пошатнулась...

А было так. Противогазы висели на одной общей вешалке и их друг у друга воровали. Потому старшина распорядился: “Нехай каждый пришьет тряпочку с фамилией”. Но тряпочки оказались жидковаты. Кто свой противогаз потерял, сорвал с чужого тряпочку, пришел свою.

И тогда старшина изобрел инструкцию, как укрепить конструкцию:

“Вырезать хванерку (фанерку), змайстрячить бирку, яку пришпандорить до лямки противогазу проволокой, шоб ни одна б...ь не відкрутила”.

А надо признать: Ицик в техническом развитии отставал от любого идиота примерно на два круга. И когда все уже справились с задачей и стали в строй, Ицик еще только искал, от чего бы ему “хванерку” отодрать.

Старшина застал его в коридоре с противогазом в руках.

– Почему не в строю?

– Да вот... противогаз...

– Брось противогаз – и в строй!

– Сейчас... вот только повешу на место.

Ицик направился к вешалке.

– Шо ты топчешься, гад, когда вся рота ждет?!.. Брось противогаз, я приказую!

Ну он и бросил. Прямо посреди коридора на пол.

Со старшиной чуть было родимчик не приключился, когда он через этот самый противогаз на полу чуть было не перекопытнулся.

– Ты?! Ты бросил боевое имущество?! Это же все равно, что оружие! Краще бы ты гранату бросил, сучий сын, шоб я до этого часу не дожил!

И в этот момент они оба услышали тихий, но внятный голос майора, заместителя начальника училища по политической части, который всю эту сцену, оказывается, наблюдал:

– Курсант прав, товарищ старшина. Он действовал строго по уставу. Прежний устав, довоенный, предписывал выполнять все распоряжения вышестоящих начальников, кроме преступных. А новый, созданный лично верховным главнокомандующим товарищем, сами понимаете, Сталиным, последнюю оговорку начисто снимает. То есть боец обязан, не раздумывая, выполнять любой приказ командира, включая преступный. Такой, как ваш. Ясно?

.....

Слава Б-гу, за годы войны и позже Ицику ни разу не понадобился противогаз... пока он не приехал в Израиль. Здесь время от времени на имя Шрайбера приходят повестки с предложениями явиться куда следует за противогазом... Да и иракский диктатор, усатый Саддам Хусейн, по всей видимости, не из тех, кто намерен соблюдать Гаагскую конвенцию. И что вы думаете: у Ицика есть противогаз? Ничего похожего. До сих пор нет противогаза у этого разгильдяя! (Надеюсь, читатель уже знает, как это слово правильно произносится).

XI. Ицик Шрайбер на том свете

Пока русский солдат воюет, скромней не найдешь. Я всегда думал, глядя на них там, на фронте: неужели им не страшно? Выходит, боюсь только я... Но лишь война окончилась – стали рвать на себе тельняшки:

– Я кровь пр-роливал!

До сих пор ежегодно на День пограничника или воздушно-десантных войск у ворот Парка культуры им. Горького пацаны в нежно любимых беретах подступают с налитыми пивом глазами:

– Скажи, в тебя стреляли? Нет, ты скажи, в тебя стреляли?!

Не удержусь от анекдота:

“Один англичанин тонет, а другой стоит наблюдает. Тонуший кричит:

– Сэр, я не умею плавать!

Другой молчит.

Тонуший с трудом выныривает и опять:

– Сэр, я не умею плавать!

Бульк... пошел ко дну, но кое-как вынырнул:

– Сэр, я же совершенно не умею плавать!

Невозмутимый джентльмен пожимает плечами:

– Я тоже не умею плавать. Но я же не кричу об этом”.

Ицик воевал в пехоте. Командиром взвода. Этих двух фраз вполне достаточно. Хотя могут спросить, почему его не убили.

Кто сказал “не убили”? Убили, но всего один раз... И то не на “передке”, а можно сказать, в тылу. Хотя тыл понятие растяжимое: для одних он в десяти километрах от переднего края, для других – в ста, а для пехоты – в двухстах метрах. Немец, конечно, и туда доставал из орудий и минометов, но целил не лично в тебя, Ицика, и на том спасибо. Снаряд воеет – кишки выворачивает, мина шуршит – тоже не патефон. В конце концов, что им стоит свалиться тебе на голову?.. Но от прямого попадания есть могучий защитник – теория вероятности, или “бабушка надвое гадала”, по-русски говоря... А вот дождь, который на неделю зарядил, никаких шансов не оставляет. Кажется, он кости твои уже промыл, и в траншее уже по щиколотку желтая грязь – ни сесть, ни лечь...

А впереди за бруствером стоит подбитая машина-полуторка. Кузов порежен, а кабина целехонька. Там небось сухо и даже – дерматиновое сиденье на пружинах... Ицик размечтался и сам не заметил, как совершил короткую перебежку из траншеи в машину. Вот где блаженство! Рай на земле! И умирать не захочешь, как говорил один ротный юморист. И наш Ицик до того обнаглел, что вытащил из полевой сумки книжку и оседлал свой знаменитый нос очками, которые, чтоб не прослыть очкариком, носил в кармане в железной коробочке.

Но не успел прочитать одну, максимум две строки...

Первый снаряд с оглушительным скрежетом разорвался позади машины, и еще не осела вздыбленная земля – Ицик вывалился из кабины и пополз под нее, как второй ударил прямо туда, где он только что сидел... Ицик был уверен, что это именно так, потому что ничего не услышал: снаряд разорвался беззвучно для него. Только горячий удар воздуха и откровенная пороховая вонь – прямо в ноздри, как в эпицентре взрыва. И потом, после паузы, осколки медленно падали на него – он это чувствовал всем существом, не ощущая ни малейшей боли. “Значит, это уже после смерти меня разрывает на куски”, – бесстрастно фиксировал Ицик Шрайбер.

Мысль о собственной смерти, как ни странно, ему даже понравилась. Еще бы!.. Все мы боимся смерти, особенно на войне, но... Теперь уже можно было не бояться: оказывается, после смерти тоже есть кой-какая жизнь. Иначе с чего бы это он после смерти еще и рассуждал о смерти?

Вскоре Ицик стал слышать приглушенные голоса своих товарищей, но и после этого ни капельки не усомнился, что находится на том свете. “Значит, их тоже убило”, – подумал он. И представил, как они сейчас дружной компанией идут куда-то в пресловутый туннель...

Но тут его стали тащить за ноги, и Ицик понял, что он живой, но ничего не видит. Вот когда его обьял ужас: ослеп!..

Он схватился за лицо, где были глаза, и сорвал ком грязи вместе с очками. Теперь он вновь видел свет. И ему бы радоваться... Но, уж так устроен интеллигент, испытал разочарование. Прежней уверенности, что смерть – совсем никакая не смерть, у него уже не было. Опять эта проклятая неизвестность!

Конечно, Ицику повезло – снаряд угодил в машину, волна прошла выше, осколки – вперед по ходу снаряда, а падали на него обломки машины, но не тяжелые, он не успел заползти под мост, а тонкое железо крыла над колесом.

И все бы окончилось благополучно, если бы у нас не было верных, преданных друзей.

В штабе полка был у Ицика Шрайбера знакомый писарь. Не сказать, чтобы шибко грамотный, зато с красивым почерком. Ицика он крепко уважал за то, что Ицик сочинял стишки. Сам он, в душе, тоже баловался этим делом. И еще потому, что Ицик получал письма, треугольнички, из Ташкента, которые поэтический писарь потихоньку разворачивал и читал... Так куда там было стишкам до этих писем?! Письма-то от девушки! И в письмах, кстати говоря, тоже стишки.

И вдруг, представьте, этот самый писарь получает сообщение от очевидцев, то есть от тех, кто своими глазами видел, как снаряд угодил в кабину, где Шрайбер сидел. Представляете? Так что же делает такой писарь? Он пишет своим красивым почерком письмо той самой девушке в город Ташкент.

“Добрый день или вечер.

Пишет Вам фронтовой товарищ известного Вам лица. Во-первых строках моего письма рад сообщить, что все мы живы и здоровы, благополучно бьем проклятого фашистского гада, с боями продвигаясь вперед, чего и Вам желаем. А еще спешу уведомить, что известное Вам лицо, проявляя на каждом шагу чудеса доблести и героизма, столкнулся с превосходящими силами противника в составе десяти фрицев, которые предъявили ему оскорбительный ультимат в виде криков:

– Рус, сдавайся!

На что известное Вам лицо отвечал как положено:

– Русские не сдаются!

После чего поразил их частично огнем, частично штыком и саперной лопаткой, а оставшихся в живых врагов прогрессивного человечества подорвал на моих глазах вместе с собой последней гранатой.

Мы, боевые товарищи, его так и похоронили с Вашим именем на устах.

Засим остаюсь всегда Ваш.

(Подпись неразборчива)”

На этом, дорогой мой читатель, юмор заканчивается, потому что письмо дошло до девушки, и она его переслала родителям Изи Шрайбера...

ХII. Тушенка американская

Во взводе лейтенанта Шрайбера был солдат-узбек.

Этот узбек влюбился в одно русское слово: “пи-ри-рив” (перерыв). Слово это в его устах означало высшую степень наслаждения. Водку выдали – “пиририв”! Баньку вытопили – “пиририв”! Прошла мимо

девушка в не очень длинной юбочке – “пиририв”! Сейчас к нашим губам прилипло другое слово – “кайф”. Но это совсем не то, что пере-рыв в войне...

Дорога на Берлин вела через эту хату. То есть вообще-то через Минск, Брест, Варшаву, а до хаты еще надо было сделать крючок, отвалить от дороги. Но почти все этот крючок делали: не ночевать же наступающим армиям прямо на дороге.

Поэтому в то памятное лето деревня тонула в рокочущей туче пыли. Заводились и глохли машины, дребезжали повозки, надрывались голоса...

Но мало кто из побывавших там запомнил эту белорусскую деревню, тем более одну хату в ней, где довелось переночевать.

И Ицик бы вряд ли вспомнил, если бы именно там не случилось происшествие... Впрочем, по порядку.

Сперва он сидел на крыльце, слушая, как стучит толкач: хозяйка мнет в деревянной бадье картошку... “Бульба мниха, бульба триха, бульба с солью, бульба так...” Вероятно, тут так всегда, во всяком случае, все пять лет войны, только тем и занимались, что мяли, толкли или, как еще говорят, “топтали” бульбу. Хотя нет, наверное, не только этим, потому что среди бесчисленных детей хозяйки были и помладше пяти лет.

Их озабоченные недоеданием голубовато-картофельные личики то и дело показывались из сеней, может, и по два и по три раза – так что невозможно было посчитать, сколько же их, в конце-то концов.

Дети добывали себе пищу ожиданием, потому и поглядывали, как толкач с крахмальным треском проваливает картошку.

Губы Ицика произвольно вытянулись, как для свиста, в вороночку: это он чуть было не выговорил вслух прилипшее с детства слово “пюре”. Но устыдился этого городского слова, почувствовав на себе быстрые взгляды детей, ожидавших толченой бульбы.

Женщина орудовала толкачом, в прорези кофты взлетали и падали длинные, цвета сцеженного молока груди, и Ицик подумал, что видеть в этой истощенной детьми и войной бабе женщину так же с его стороны эгоистично и бесчеловечно, как говорить о “натопанной” для голодных детей картошке барское слово “пюре”. Но для нее все было как раз наоборот. Эгоистично и бесчеловечно не видеть в ней женщины. А что касается “бульбы мниха”, то куда там тому пюре. Видели бы они, как дети обсасывали края ложек.

И все же он не мог отделаться от ощущения, что она всего лишь коза, которую доили дети. Главный хозяин козы в это время настырно требовал своего, выгибаясь в компрессе из пеленок. Но не только от мамки здесь требовали еду. Когда Ицик вошел в хату, он сразу почувствовал себя под

обстрелом. Каждый ребенок одним цыплячьим глазом наблюдал за мамкой – она как раз ставила бадью на стол, – а другим, хитровато-мышинным, поглядывали на дядьку в погонах.

У дядек в их разбухших вещмешках водились иной раз всякие вкусные еды, и дядьки никогда не ленились запускать руки в карманы галифе за кусками сахара. Но у этого, как назло, в карманах водились только табачные крошки, он сам рассчитывал лишь на полевую кухню, застрявшую в очередном заторе.

А как бы хотелось побаловать этих огольцов! Как когда-то его самого баловал отец. Вдруг вспомнилась вяленая дыня. С какой радостью он поделился бы сейчас с детьми этой дыней, хотя бы воспоминаниями о ней...

И он начал мысленно так: есть такой город Ташкент. Город хлебный. Но хлеб там, несомненно, как во всей стране, по карточкам. Значит, будем считать, что это город не хлебный, это город дынный. Потому что там под вечно голубым небом произрастает вяленая дыня. Я ее один раз ел. Честное слово! Это такая косичка, как у тебя, девочка, только короче, зато толще. Косичка, сплетенная из желтых и зеленых дынных сырмятных ремешков. Стоит от косички откусить... А от нее как-то особенно мягко кусается, куда там тому мармеладу! Стоит от косички откусить, как во рту поселяется аромат с ароматихой и таким количеством самых разных ароматиков, что они, как вот и вы тут у мамки, ну просто не поддаются учету... Я, правда, не ел ананасов. Впрочем, вы тоже... Но ананасы, сами понимаете, рядом с дыней и не ночевали. Кто раз пробовал вяленую дыню, тот всю жизнь ходит с Сингапуром во рту...

Он так и не рассказал своей прекрасной сказки, потому что хата стала ритмично содрогаться – шла колонна “студебеккерв”...

Вошел старшина, распаренный, шумный, веселый, скрипящий ремнями, сапогами, пропахший соляжкой, пылью – одним словом, дорóгой. На новенькой, английского рыжеватого сукна гимнастерке болтались медали, фуражечка офицерская с малюсеньким козырьком сбилась на затылок, обнажая выпуклый безмятежный лоб. Хромки обтягивали икры, как чулки, и над кривоватыми ножками нависали необъятные галифе типа “бриджи”. Ицик сразу же про себя прозвал его испанским грандом. Уж он-то навиделся за войну таких старшин. Вот кому война – мать родна. Вряд ли до войны у себя в деревне он так ел, одевался и держал всех в кулаке. Если, справедливо говорят, генералы двигали армиями, то эти ребята двигали генералами. Во всяком случае, в перерывах между сражениями. И то сказать, поставь их рядом: “гранд-старшину” и пехотинского лейтенанта Шрайбера с его кирзовыми сапогами и пилоткой. Кто скорей потянет на генерала?..

Вслед за старшиной солдаты внесли мешок, в котором солидно постукивали друг о дружку банки консервов, развязали, и старшина стал делить американскую тушенку.

Банка выдавалась на четверых. Некоторые тут же вскрывали и накладывали на хлеб розоватое мясо с зернистыми комьями жира. Хата наполнилась запахом, от которого у детишек, вероятно, подвело животы...

Старшина уловил взгляды, которыми лейтенант провожал каждую банку.

– Ты чевой-то? – спросил он, когда солдаты разошлись, унося банки. – Доппаек не получаешь?

Шрайбер получал дополнительный паек, положенный офицерам, у такого же старшины. Вот только где он теперь? Охотится по деревьям за самогонкой?

– Вот что, старшой, – сказал он, – давай махнемся: ты мне баночку, а я тебе... часы.

У Шрайбера был один трофей – часы швейцарские на семнадцати камнях, с черным светящимся циферблатом. С немецкого офицера.

Старшина даже не взглянул на часы.

– Э-э!.. У меня таких шапка в машине. Не веришь?

Ицик верил. Вокруг старшины роились “кусошники” – могли натаскать полную шапку.

– Да и тушенка кончилась, – старшина тряхнул пустым мешком.

Вот в это Ицик не поверил. Чтобы у гранда да не было загахника?..

– Прогадаешь, – сказал он старшине. – Тушенку съешь – и ау, а часы, даже если проглотить, в животике будут тикать.

– Ну ты даешь! – старшина похлопал офицера по погону. Он не с такими был запанибрата. – Мастер художественного слова! Жди здесь.

И вышел из хаты. За плетнем взревели моторы. Видно, часть останавливалась всего лишь на обед. Подзаправились – сейчас уедут.

Старшина вернулся с банкой.

– На, держи. От себя отрываю. Моя личная порция.

Со стуком поставил банку на стол, часы взял не глядя, подмигнул хозяйке и пропал... Только вздрогнула хата – ушли “студебеккеры”.

Банка стояла на столе посреди хаты, крупная, весома, с латунным блеском, и дети, при всей хаотичности своих передвижений, притягивались ею и обращались вокруг нее, как планеты вокруг солнца.

– Ну что? – спросил Ицик как можно веселее. – Примете и меня в компанию? – Он погрел руки над паром, который шел от бадьи с картошкой, достал нож и стал вскрывать банку. – А вот и добавочка к вашей бульбочке!..

– Боженьки! – всполошилась хозяйка. – Да нам и не треба, а вам же ж на дорогу...

И, не договорив, умчалась куда-то...

А Ицик продолжал орудовать ножом. Нож у него был приметный, злоустовской черной стали. Немцы знали эти “шварце мессер” – черные ножи. Дивизию, в которой служил Шрайбер, они называли дивизией черных ножей.

Сейчас в белорусской деревне Израиль, сын Яакова, вскрывал уральским кинжалом американскую банку. Вокруг стола сидели белобрысые детишки, шмыгали носами и сглатывали слюнки...

Хозяйка воротилась с бутылкой. Бутылка была заткнута капустной черыжкой, в бутылке покачивалась мутная жидкость с розоватым отливом – свекольный самогон.

– Вот держала трышечки на праздник...

...Праздник не состоялся. Ицик это почувствовал еще до того, как отогнул кружок вырезанной жести: нож входил во что-то сухое, скрипучее, легкое. И ароматы специй не вырывались из-под крышки. В банке оказалась земля, обыкновенная серая земля с камешками вперемешку с картофельной ботвой.

Дети смотрели огромными глазами. Они, наверное, еще не верили, что сказка кончилась...

Хозяйка с бутылкой обмерла в дверях, она еще ждала чего-то, какого-то чуда. Ведь банка-то была настоящая, совершенно целая, не взрезанная, не вскрытая, как же и кто же мог заколупать туда мусор?

А Ицик уже понимал. Ему рассказывали о подобных номерах. Были такие умельцы – брали две пустые банки, у каждой срезали по одному доньшку, а потом вставляли одну банку в другую, предварительно набив чего-нибудь для веса... Составляли банки аккуратненько, чтобы срез одной прятался под ободочками другой баночки. Так что комар носа не подточит: банка как банка, с двумя нетронутыми доньшками.

Шрайбер сидел как оплеванный, багрово-красный – и нож грелся в его взмокшей руке.

Где тот старшина?! Куда его увезли воняющие и гремящие “студебекеры”? Где его теперь искать?..

Если рассеялся пылью, то не эта ли пыль осела в наших душах?

ХIII. Великий стоп-кадр

Говорят, никто не написал и не напишет всей правды о войне. Но ко мне это никак не относится. Правда вообще не мой жанр. Я рассказываю “майсы” – то есть забавные случаи. А на войне убивают. Причем изощренным способом, при помощи самых прогрессивных технических

средств кромсают ваше тело, как на мясокомбинате. Не нахожу в этом ничего забавного. Лучше я расскажу вам, как Ицик Шрайбер проспал победу над Германией.

Не подумайте, что в переносном смысле. Наоборот. Пока они там (Сталины, Черчилли) торговались, кому принимать от немцев капитуляцию, хлопцы уже где-то за Берлином набрали на винные погреба и уверенно утверждали, что там есть вино двухсотлетней выдержки. Пусть знатоки нас поправят, но мой Ицик не специалист, он просто подставил кружку. Ту самую песенную “железную кружку” из алюминия. И ему ее наполнили до краев. Триста граммов тягучей зеленой массы. И хотя Ицик не был былинным богатырем, весил не более пятидесяти двух кило с сапогами и каской, пить двухсотлетнее вино кружками не представлялось ему опасным занятием. Всего-навсего вино, компотик... А мы из таких кружечек, слава Б-гу, глотали “спиритус вини ректификати”, порой запивая водичкой, а порой и нет...

Выпил и вырубился... И не знает, не помнит, как туда попал, но проснулся на телеге в обозе. Проснулся не от хорошей жизни, а от такой стрельбы, какой за все время на фронте не слышал. Естественно, скатился с воза и заполз в кювет, не успевши продрать глаза.

А когда все-таки продрал, убедился, что все лупят в небо, кто из чего может: из автомата, карабина, пистолета, ракетницы. И земля под нами дрожит, и гильзы сыплются на шоссе.

Ну не жалеть же теперь патроны.

Кому они теперь могут понадобиться?

– Война кончилась!

– Конец войне!

– Все, ребята, теперь живы будем, не помрем!

И еще он увидел, что все машины и повозки украшены флагами либо просто красными лоскутами, и кумачовые ленты повозочные вплетают в хвосты и гривы лошадей.

Прохромал мимо какой-то обозный солдатик:

– А ты что не радый, лейтенант?

Почему это он “не радый”? Наверно, потому, что на повозке, где он проспал Великую Победу, не было ничего красного, кроме красной рожи повозочного, который, должно быть, в усмерть насосался зеленого вина и до сих пор не очухался...

И как-то ему стало не по себе: у всех флаги, красные ленты, а он что – пальцем делан?

Должен сказать, что желание “быть как все” Ицику Шрайберу вообще не свойственно. Вплоть до наоборот. Он как раз из того анекдота: “Весь полк шагает не в ногу, один прапорщик в ногу”. Ицик в свои тогдашние

девятнадцать лет имел уже полный набор не подходящих для коллектива качеств: интеллигент, еврей и пишет декадентские стихи.

А тут... тут его как будто подменили. Он почувствовал, что ему ни мира, ни мамы не видать, пока на его возу, как на других возах, не будет хоть язычка, хоть лоскуточка красного. А где его взять?

Они стояли на аккуратной немецкой бетонке, обсаженной яблоньками в белых чулочках. Война, поперхнувшись, не успела наделать бед в этой германской глубинке. Елочкой выстроились вдоль шоссе краснокрышие домики-близнецы. Одинаковые сетчатые ограды, одинаковые бордюрки, цветочки и все травинки во дворах как из-под одной мамы.

Немецкий рабочий поселок – живет “подкупленный капиталом привилегированный рабочий класс”. (У нас до войны в России дома стояли, как пьяные, “кто в лес, кто по дрова.”) А тут... Интересно, как немец находит свой дом, если, скажем, натринькается шнапса в день полочки?

Впрочем, пусть у немца голова болит об этом, а русский солдат-победитель (в данном случае Ицик Шрайбер) может в любом немецком доме взять себе что-нибудь красное для флага Победы (если не над рейхстагом, то хотя бы над возом в обозе). Вот с такими умными мыслями Ицик заходит в первый попавшийся дом и шарит глазами по стенам, шкафам, полкам...

Орден висит в рамочке. “Дойче муттер” – немецкая мать. Значит, хозяйка этого дома нарожала фюреру солдат, а нам врагов аж под завязочку... Но лейтенанта это в данный момент не гребет. Вот если бы у хозяйки были красные трусики... Но ни трусиков, ни хозяйки...

И тут ему бросается в глаза то, что в каждом немецком доме входит в обязательный ассортимент, – красные перины. Громадная кровать – мы на таких укладывались вшестером поперек – на перинах спят и перинами укрываются. Но главное – они красные!

И его рука, у головы не спрашивая, хватается за нож... Чем еще может поигрывать мальчик из порядочной, интеллигентной еврейской семьи с особым удовольствием на войне? Ну, конечно же, ножичком.

И так же, у головы не спрашивая, рука с ножом вспарывает немецкую перину. Зря, конечно: пух вспыхивает, как взрыв, и оседает на всем вокруг. Какая-то генетическая память из прочитанных книг тут же подсказывает слово: ПОГРОМ. Вот так же, врываясь в дома, погромщики вспарывали “жидовские перины”. Теперь они с Ициком поменялись ролями. Может, оно и справедливо, но у Ицика была другая, куда более серьезная забота: как отодранный от перины лоскут очистить от пуха? Он оказался красным лишь с одной стороны, с внутренней стороны перины ткань была белой от густо налипшего пуха.

Но не выбрасывать же в день победы белый флаг! Шутите, братцы? И он, стоя в пуховых облаках, сам покрытый пухом, как птенец (а кто он был, если не желторотый птенец?), пытался ноготком сцарапывать пушинки, потом пальчиками снимать по одной и отбрасывать... Словом, вычерпывал море наперстком. Результат получился плачевным... Да и он уже, если и не плакал, то посапывал носом – это точно...

И вдруг Ицик Шрайбер обнаружил, что он в комнате не один. Тут же стоит, и, видимо, с самого начала тут стоял, хозяин – немец лет пятидесяти, еще не седой, с усами цвета латунных гильз, жесткий, прямой, как шомпол.

Добра Ицик в его глазах не прочитал, но и зла – тоже. Молчит и смотрит. Если бы он по-немецки заговорил, Ицик бы, скорее всего, не понял, а в глазах было просто русскими буквами написано: “У тебя, парень, руки не оттуда растут”.

Если бы лейтенант Шрайбер этого не понял, он бы того немца, наверно, убил. Потому что в следующее мгновение немец протянул свои рыжие руки и отнял у Ицика его флаг...

Отобрал тот злосчастный лоскут и вышел. А лейтенант стоит и глазами хлопает.

Все-таки другой, не такой начитанный, этого дядю пристрелил бы, а он... Дождался. Немец возвращается с доской и небольшим деревянным чемоданчиком. В чемоданчике у него разные в отсеках инструменты, шурупы, гвоздики. На мальчишеский взгляд, очень даже интересно...

Лоскуток, оторванный Ициком с перины, дяденька распял на дощечках и аккуратно закрепил обойными гвоздиками. Потом стал доставать щетки мал-мала меньше, разной жесткости и последовательно, неуклонно счищать щеточками с красной тряпочки белый пух. У Ицика уже не хватало терпения, все, казалось – работа закончена, чего еще надо, но немец находил еще и еще какие-то микроскопические волоски...

Наконец он повыдергивал гвоздики, отшлифовал “красное счастье” от доски. Ицик протянул было руку, но его “усатый нянь” не спешил отдавать.

Он выстругал палочку и тщательно отполировал ее “шкуркой”. Потом к этому древку мельчайшими гвоздиками с помощью маленького молоточка прибил подвернутый лоскуток и торжественно вручил Ицику флажок. Смотрел он при этом, как строгий, но добрый папаша: мол, делай как я, и, может, из тебя еще выйдет со временем что-то путное... Хотя вряд ли.

А лейтенант, забыв про спасибо, вышел из этого немецкого дома, как юный пионер на “линейку”, с флажком в руке.

...Израиль Яковлевич Шрайбер до сих пор не может понять, что это было. Не так ли деловито-аккуратно набивали рабочие дяди диванчики волосами наших сестер?

Когда разрешили отправлять из Германии посылки домой, мама Фрида получила посылку с немецким душистым мылом и выбросила на помойку.

– Это мыло из еврейских детей, – сказала она.

Так что это было: конец войны?.. Но война не кончилась – и немец все равно враг, хотя он родился после того смертоубийства и сегодня в своей новой Германии завозит еврею-иммигранту свою старую мебель на квартиру. Доводы ума тут вообще ни при чем. У нас это не в головном, а, может быть, в спинном мозгу. Мы, евреи, пронизаны противостоянием до мозга костей. Парни, рисующие свастики на наших могилах, подливают масло в вечный огонь, исламский мир... (только на русском языке это называется *миром!*)... этот мир продолжает смертоубийство.

И все-таки, что это было?

Они в те минуты забыли, что они враги. В тот момент в том немецком доме встретились не еврей и немец, а просто взрослый дядя и пацан. Будто спали и проснулись людьми.

Ах, если бы было возможно сказать тому мгновению: “Остановись!” Это был бы ВЕЛИКИЙ СТОП-КАДР – полная и окончательная победа человека над враждой.

К сожалению, так в жизни не бывает.

XIV. Ицик Шрайбер и патриотизм Жизнеописание в трех скелетах

Ваш покорнейший слуга, то есть автор, достиг, к сожалению, того переходного (в иной мир) возраста, когда девяносто девять процентов его сверстников начинают баловаться сочинением (я не оговорился), именно сочинением мемуаров. Жизнеописание задним числом с осмыслением задним умом напоминает мне анекдот из жизни экскурсоводов:

“– В этом зале, – говорит экскурсовод, – у нас находится скелет Александра Македонского в возрасте тринадцати лет... А в этом зале вы можете увидеть скелет Александра Македонского в возрасте двадцати лет... Но это еще не все: в следующем зале нашего музея имеется скелет Александра Македонского уже в более позднем возрасте”.

У меня же (можете спросить у рентгенолога), увы, всего один единственный скелет, и как его выставить в музее, я пока не придумал, поэтому время от времени по мере необходимости (а не в хронологическом порядке!) выставляю из запасников скелеты Ицика Шрайбера.

Скелет Ицика Шрайбера шестнадцать лет

В чем в чем нельзя было Ицика упрекнуть, так это в патриотизме. С детства, переварив сотни книг, он усвоил, что патриот бывает либо “квасной”: в плисовых шароварах, с балалайкой в руках под “развесистой клюквой”; либо черносотенный: в смазных сапогах, с колом в руке и с хриплым криком: “Бей жидов – спасай Россию!” Зачинщики всех братоубийственных войн, конечно, тоже патриоты.

“Что я, дуб, – думал Ицик, – чтоб цепляться корнями за землю? Зачем вообще при родах режут пуповину? Ну и болтался бы на кишке под маминной юбкой, если ты так привязан к месту своего рождения”.

Не стану врать: когда эшелон, увозивший их в эвакуацию, отчалил от харьковского вокзала, Ицик даже не оглянулся. В горе и гари, слезах и крови, в урагане народной беды, уносившем на восток эшелоны беженцев, он улавливал чуткой ноздрей прохладный ветерок дальних странствий.

Только не надо судить нас строго в наши шестнадцать лет. Нам еще предстоит, втянув в себя сквозь щели скотского вагона эту манящую струйку, вдохнуть вместе с нею и весь ураган. И он разорвет нам грудь.

В Ташкенте – этой Мекке эвакуированных, все новые друзья-родственники изливали на груди Изи Шрайбера свою печаль-тоску по покинутым отеческим кушам. Трое из них оказались из Ростова, и Ростов перевесил все города. Куда, скажем, какому-то Парижу до Ростова! Разве в Париже был такой артист, как Мордвинов? Только один город мог затмить славу Ростова-папы... Вы правильно угадали: Одесса-мама. Один одессит Мишка (точно как у Утесова) переплакал трех ростовчан. От его тоски по родине рубашка Шрайбера стала мокрей самого Черного моря. Мишкина улыбка из нержавеющей стали и полный набор одесского фольклора – “это вам не что-нибудь, а что-то”. Достаточно одной песни:

Одесса-мама – чудо из чудес,
Ее заслуги вам давно известны:
Утесов Ленька – парень *фун Одесс,*
ой, вей!

И Вера Инбер тоже из Одессы.

Багрицкий Эдуард был одессит,
Он здесь писал свои стихотворенья,
И Пушкин Сашка тем и знаменит,
Что здесь познал он чудное мгновенье.

Когда вернусь в Одессу я, друзья?
Мне здесь у вас все скучно и отвратно,
Ой, *гоб рахмонес*, мамочка моя,
ой, вей!
Ой, мамочка, верни меня обратно!

Потом Ицик встречал еще много одесситов, самых разных, но все они – от завмага до кинокритика – вели себя абсолютно одинаково, по крайней мере в двух случаях: во-первых, не могли пройти мимо этого “лоха” Шрайбера без того, чтобы хоть что-нибудь с него не “поиметь”, а, во-вторых, поговорить с ним “за Одессу”.

Самый популярный для Ташкента одесский анекдот:

– Вы едете в Москву? Ой, как я на вас завидую! Это же так близко от Одессы!”

Был в России лишь один город, способный побить Одессу на этом конкурсе: Ленинград. Но питерцы не рыдали ни на чьей груди. Видно, не так просто было вырвать их корни из родной почвы – они ее носили с собой.

А у Ицика, как у плавающей водоросли, корни не доставали до земли: куда волна занесет, там и родина.

И напрасно родитель Ицика – Шрайбер-старший долбил своим “шнацером”, как дятел:

– Почему ты не пишешь стихов о Харькове? Про что угодно пишешь, даже про девочек. Ты что, не в Харькове родился?!

Ицик пробовал – писал. Про девочек получалось лучше.

Кстати, интересная деталь: папа Ицика, судя по “шнацеру”, был еврей. И все, кто плакал на груди Шрайбера, поминая то Ростов-папу, то Одессу-мату и даже Ленинград-Петербург, – были все из того же многострадального племени. Но скорбели они и плакали, как дети Сиона на реках Вавилонских, не об утраченном Иерусалиме, а о каком-нибудь, да простит меня Б-г, Крыжополе. То есть напрочь забыли то, что для любого антисемита, можно сказать, азбука...

Харьковский патриот Шрайбер-старший, возвратившись в Харьков, нашел в своей довоенной квартире украинскую газетку периода немецкой оккупации с карикатурным портретом “неизвестного со “шнацером”, по которому можно было безошибочно определить принадлежность неизвестного лица к известной нации. Но, как видно, “натхненний мордописец” (вдохновенный художник) не доверял проницательности публики, поэтому ниже следовал пояснительный текст:

“Хто це? Сталін? Каганович?
Ні, це Шльома Меерович.
Він і бойовий і бравий.
Кличе всіх на бій кривавий,
А сам і в ус собі не дує –
В Ташкенті Єрусалим новий буде”.

Папа Шрайбера “будував” (то есть строил) все, что родина прикажет, “побудував” бы и “Єрусалим”. Но как только Сталин сказал: “Я пью за русский народ”, – Шрайбера освободили от должности, а директором сделали бывшего секретаря парторганизации. В обкоме, конечно, понимали – секретарь ничего не построит. Но зато он и не построит Иерусалим вместо коммунизма.

А Ицик Шрайбер? Который, как медный котелок... в царице полей – пехоте... Думаете, родина это хотя бы заметила?

У него был помощник командира взвода Иван Бородуля. Вместе пол-Европы проползли на брюхе. А когда кончилась война, Иван вдруг прозрел:

– Слышь, лейтенант? Ребята врут, что ты яврей.

– А ты что, не знал? – изумился Ицик. – Имя! Фамилия! Нос, в конце концов!..

– Оно да... Но явреи воевали в Ташкенте.

Не та родина попалась! Чтобы это окончательно уяснить, представим вашему вниманию

Скелет Ицика Шрайбера сорока с лишним лет

В тысяча девятьсот семьдесят не помню каком году Ицик Шрайбер встретил в Москве в Каретном ряду Эдди Рознера, одного из королей джаза. Впервые он его увидел в Харькове до войны (когда скелету Ицика Шрайбера было всего пятнадцать лет). Тогда джаз Рознера вместе с Западной Украиной добровольно-принудительно воссоединили с братьями в СССР. В Зеленом театре парка культуры и отдыха имени Горького (“парка культуры и Горького”) джазисты тогда демонстрировали львовский патриотизм – пели:

“Во Львове ремонт капитальный идет,
Девушки шьют себе новые платья...”

И все смеялись над толстым “лабухом” Гофманом, который, ломая слова на польско-еврейский лад, говорил:

– Я уже выучил одно русское слово – “хохма”.

Потом, наконец, сам Рознер в белом смокинге, с зубной щеточкой черных усиков над губой и с сияющей веселой трубой в руке вышел к рампе...

Ицик знал цену трубе: и сосед над головой на такой “испражнялся”, и сам пробовал в пионерлагере – результат один: хоть как ни надувайся, хоть лопни от натуги, труба только сипит, как сифилитик, хрипит, тужится и издает неприличные звуки, а потом в награду за твои усилия плюнет твоей же слюной тебе же в морду... А этот джаз-бандит Эдик лишь облизал свои усики, пожевал губами и впился поцелуем в наконечник. Он еще даже не посинел и не надул щеки, как из зева трубы выпрыгнул рыжий дьявол, взмыл в синее небо над зеленым лесопарком и запел, сукин сын, ангелом, возвещающим полный конец света!

Харьковчане орали: “Браво, бис, повторить”, стоя между скамейками, даже уже после того, как джаз “слабал” прощальную:

“Ждем вас во Львове,
Просим во Львов!..”

Каждый приезжал со своим патриотизмом.

...Но это прошлое, а вот лет через тридцать с гаком в Москве, в Каретном Ряду, Ицик беседует с Эдиком.

Рознер так и остался джентльменом сороковых годов, только усики теперь из черного серебра да прибор стал намного шире.

Русский язык он так и не освоил до конца, тем более что намылился в Штаты, где уже осели его родичи.

– Там за стол обедать сидит сразу сорок Рознеров, – рассказывает он, – а мне тут майор в ОВИР морочит бейцы: “Вы наш великий русский артист!” А я ему говорю: “Я еврей! И папа у меня еврей, и мама тоже еврей!..”

Оказывается, нет такой национальности: львовянин, харьковчанин, ростовчанин, одессит...

Рознер добился своего – умер в Штатах.

А Шрайбер сказал себе: “Нет. Я вам так просто не умру, пока не увижу еврея-патриота!”

И не прошло и тридцати лет, как он выполнил свою угрозу: в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился...

Скелет Ицика Шрайбера семидесяти лет

Итак, скелет моего героя, уже подготовленный к финальному выступлению в анатомическом театре, прибыл на исконно-посконную землю

предков. “Вот тут-то, – размышлял Ицик Шрайбер, – мне встретится наконец настоящий, оседлый еврейский патриотизм!”

Не мыльтесь, *мар* Шрайбер, – бриться не будете. Первый же встреченный им еврей дрогнувшим голосом спросил:

– Вы, случайно, не из Харькова?

Второй, измученный ностальгией:

– Может, ты из Киева, земляк?

Ицик, грешным делом, подумал: “Может, я сел не в тот самолет и вновь оказался в Ташкенте эпохи эвакуации?” Но его успокоил следующий вопрос:

– Простите, вы не из Ташкента?

И потом: в Ташкент бежали только с Запада, а тут в жилетку Шрайбера рыдали евреи из Омска, Томска, Тобольска и Новосибирска, Биробиджана и даже с Камчатки. Дальний Восток для еврея-камчадала был, оказывается, душевно ближе Ближнего – и Ицик долго выкручивал жилетку, намокшую от ностальгических слез. А когда первые стоны поутихли, стал спрашивать сам:

– Вы что, здесь в Израиле, извините, временно?

На что они дружно ответили:

– Спросите у них... у ватиков.

– А ватики - это кто: патриоты Ватикана?

– Нет, они просто давно в Израиле и, как говорят в Одессе, “не держат нас за своих”.

– А местные?

– Для местных мы вообще не евреи, а русские.

– Но хоть сами-то они израильские патриоты?

– Что вы?! Местные тоже из разных мест: кто из Йемена, кто из Марокко...

“Моше-рабейну! Моше-рабейну! – воскликнул (про себя) Ицик Шрайбер. – Ты сорок лет водил евреев по пустыне, чтоб они забыли свое рабство. А сколько же лет надо прожить в Иерусалиме, чтобы забыть свою Жмеринку?!.. Евреи! У вас есть своя земля, свое государство, армия и... между прочим... враги! Так что вам ой как может понадобиться собственный патриотизм!..

От автора:

Наверно, в Израиле есть уже и еврейский патриотизм... Но он почему-то до сих пор на колесах. Правду сказал один еврей-поэт, хотя и по другому поводу:

“Мы живем, под собою не чуя страны”.

Анна Фишелева

“О Боже, дай мне этот час...”

* * *

Рассвет непрошенный. Мулла
Вонзает жалобы сквозь щели.
Пододеяльного тепла
Еще хватает еле-еле.

И первый тяжкий грузовик
По автостраде принесенный
Свой полувздок и полурык
Низводит в шелест полусонный.

О Боже, дай мне этот час,
Еще не скомканный сознанием,
Самоубийственным скитанием
По кольцам лет и петлям трасс.

* * *

Куда? Не имеет значенья.
Часы и минуты – не в счет.
Словес изреченных значенья
Рассыпались. Солнце печет.

Как будто живу между строчек.
На лысой планете. Пока.
И мой проводок обесточен.
И солнце кусает бока.

Обтянуто сухонькой кожей,
Дымится мое естество.
Наверное, встречный прохожий
Не видит в дыму ничего.

От блага ответной улыбки,
Боюсь, отказаться пора.
А память неверна и зыбка.
Последняя жажда. Жара.

* * *

По дуге, по дуге автострады –
Шелестящие одиночки –
Словно бросились из засады –
Из предутренней оболочки.

Этот, может быть, встал до света
И любимой не потревожил,
И с порога вломился в ветер,
И отдался судьбе дорожной.

Наступая на пятки ночи,
Покоряясь машинной силе,
Мимо окон моих, что, впрочем,
На него огоньки скосили.

Я впадаю в поток движенья,
Задыхаясь от вихрей встречных
На излете воображенья,
На дороге пустой и вечной.

* * *

Вытек, вытек поток огня.
Тополя обнажили жилы.
От прапращуров до меня
Жили. Плакали. Дорожили.

Сколько звезд покатилося вниз,
Сколько рук потянулось к встрече.

Мы из низких крестьянских изб.
Нам до солнышка недалече.

Ждите, ждите. Моя звезда
К вам подколота скрепкой генов.
Вы печаль моя и беда,
И утраченных строчек пена.

* * *

Навис надо мною век –
Бревенчатый потолок.
И много вестей и вех
Сквозь бревнышки утекло.

Навис надо мною лес,
Которого нет вообще.
И много молитв и месс
Вознесено вотще.

За лесом мои друзья
Как будто лежат во льду.
Переступить – нельзя.
Потороплюсь, приду.

* * *

Мешок сует и вечная забота.
Но иногда над полем вековым
Нам души завораживает кто-то
Поземкой острой, ветром низовым.

Мой Бедный, Всеблагой и Вездесущий
Тебя постигла неудача. Да.
Ты этой болью, вяжущей, сосушей
Меня к себе приклеил навсегда.

Не разогнешь невидимую спину.
А то, что Ты бессилен, Бог с Тобой!

Не бойся, Бог! Тебя я не покину
В твоей холодной яме голубой.

* * *

Израиль дождями истоптан,
Промыт до зеркального блеска.
А гром прокатился и лопнул –
От малости и до гротеска.

Ликуй, мой народ многоликий,
Водой запасайся до лета.
Плывут и колышутся блики –
От тени до ломкого света,
От Харькова до Назарета.

Виктор Зильман

Выставка Шагала в Москве. 1987 год

Вот и первых сто лет уже пройдено.
Чуть поменьше век прошагал.
Здравствуйте на своей старой родине,
Марк Захарыч Шагал!

Вас здесь смотрят теперь и видят,
Вы здесь в фокусе тысяч глаз...
А Москва – это тот же Витебск,
Только более в тридцать раз.

Те же праздники, те же будни,
Но лишь только в сто раз тесней.
И намного более трудно
Потому и взлетать над ней.

Но Ваш синий зовет и будит,
Но у Вас особы права...
И взлетают дома и люди
Над большим местечком Москва.

И разносится Ваша слава
Выше витебских труб и крыш
Где-то там – над местечком Варшава,
Где-то там – над местечком Париж...

Музыка. Зима

Снег идет. Играют Шнитке.
Медлят скрипки. Schnee. Снег.
Небеса висят на нитке.
На дворе исходит век.
Человек стоит у пульта,

Рядом – два его инсульта.
Изыскатель новых форм.
Грустно пахнет хлороформ.

Экономя на улыбке,
День лежит в скрипучей зыбке.
Люди смотрят из квартир:
За стеклом белеет мир.

Бражник

Ночная бабочка – сутулый серый бражник,
полночных комнат одинокий стражник,
влетает в растворенное окно,
одетый весь в ворсистое сукно.

Он то под лампой осторожно реет,
то вдруг теряется на темном фоне стен.
И только холодок тревожный веет
от двух его внимательных антенн.

Фламинго

Нить тонка. И оболочка бренна,
что однажды возвестит окрест
одичавшей нотой Шопена
шалый коммунхозовский оркестр.

И когда невечное уходит
в супесь, в глину, в корни спорыша,
предстает, одна при всем народе,
вдруг осиротевшая душа.

Пришлый люд скликают на поминки.
Не стихает улиц толчея.
А душа, как розовый фламинго,
Улетает в теплые края.

Анна Реак-Гофштейн

Пустота

Монологи

Боль

– Говорят, что природа не терпит пустоты. Но вот она, рядом со мной. И нет во всем мире величины, способной заполнить ее. Это страшно – ощущать пустоту рядом. Как будто весь мир переменялся, померк, стал серым, бессмысленным, как сдутый воздушный шарик. Только сейчас, когда место рядом со мной пусто, я поняла, чем он был для меня. Он был всем.

Пусто.

Тоскливо.

Одиноко.

Я прикоснулась к нему мертвому – он был холоден. И его седые волосы, когда я провела по ним рукой, были холодны, как стальная проволока. Так же холоден камень на его могиле. Он не напоминает о нем живом – лишь ассоциируется с мертвым холодным телом, с тем, о чем я хочу забыть, силюсь забыть и не могу.

Каждый вечер я молю Бога, чтобы смерть его оказалась только ночным кошмаром, чтобы утром, проснувшись, я, как обычно, увидела его живым. Но снится совсем другое. Во сне я, “проснувшись”, нахожу его спящим рядом. Во сне я бужу его и говорю, что уже настало утро и пора вставать. Но когда я просыпаюсь на самом деле, я одна. Пусто...

Безумие

– Я это сделал. Я убил. Ерунда, слюнявые сантименты. Моя рука не дрогнула. Я убил его. Я счастлив. Приговор мне – пожизненное заключение. Я счастлив. Я уничтожил чуждое мне существо, враждебное и опасное для моей родины, для моего многострадального народа. Если бы я мог сделать это еще раз – сделал бы.

Они послали меня на медицинское освидетельствование, хотели представить мой поступок как безумные действия маньяка. Дудки! Я прекрасно понимал, на что иду. Я готовился к этому. И я это сделал. Меня не интересует, что скажут об этом в мире, что скажут “левые” и “правые” в моей стране. Я

счастлив тем, что достиг цели. Порой мне кажется, что для этого я появился на свет. Впереди у меня долгая жизнь с ощущением удовлетворенности и гордости собой. Это самое главное. Какая разница, где жить – в своей комнате дома или в своей камере в тюрьме? Мне никто не нужен. У меня есть мои святые книги. Для их изучения тюремная камера – идеальное место: никто не отвлекает, не мешает. Я удовлетворен и счастлив.

Отчаяние

– Господи! За что ты так наказал меня? Он, именно он, самый красивый, самый умный из моих детей сделал это! Мой сын, такой тихий, такой набожный, смог убить человека? Как я мечтала быть матерью адвоката. Кто я теперь? Мать убийцы?! Боже, за что?

Диалоги

– Когда ты шел на это, ты подумал о родителях? Что будет с матерью? С отцом?

– Мать – сильный человек. Очень сильный. В детстве я завидовал ей. Женщина с мужским характером. А отец при ней. Я их хорошо изучил. Я ведь по природе – психолог, философ. Потому и изучаю святые книги. Нет более мудрых, более глубоких творений. Первая реакция матери – взрыв, проклятие – естественна: она экспансивный человек. Отец смолчал, лишь молился. Я уверен, мать провела несколько бессонных ночей. Раскаяние съело ее душу: как могла она проклясть сына, отказаться от него?! Она сильная женщина. Нашла в себе силы заявить публично, что сын для нее – прежде всего сын. Сын в беде – она с ним.

Мне рассказали, что какой-то беспардонный и бездарный журналист спросил, как это произошло, что она родила и воспитала убийцу. Она ответила, как отрубил: “Чушь! Ни одна мать не воспитывает убийцу!” Какой взрыв эмоций, какое бешенство, какая ненависть! Сейчас она раскрылась в новом качестве: орлица, защищающая свое гнездо, – сильная, страшная, ненавидящая.

– Ты – человек верующий?

– Да. Глубоко верующий.

– Как же ты взял на себя смелость распорядиться чьей-то жизнью? Ведь вера запрещает посягать на жизнь, свою или, тем более, другого человека.

– Бывают исключения. Когда в опасности страна, народ, я, понимая это, может быть лучше других, должен был убрать его.

- Однако ни страна, ни народ не просили тебя об этом.
- Простые люди не видели глубину пропасти, в которую этот человек их толкал. Я прощаю их.
- Но они не простили тебе твоего убийства.
- Я не нуждаюсь в их прощении.
- Какого наказания ты боялся?
- Я не боялся ничего. Нет в этом мире наказания, которое может меня испугать.
- А наказание после смерти?
- Позитивная сторона моего поступка перевешивает негативную. Забрав жизнь одного, я спас сотни тысяч.
- Спас от чего?
- Если может возникнуть такой дурацкий вопрос, нет смысла отвечать. Мозг, в котором возник такой вопрос, не способен понять. Я не склонен продолжать разговор – жалко времени.

Видения

- Как ты появился здесь? Я убил тебя! Что ты здесь делаешь? Ведь я убил тебя! Ты мне снишься?
- Это неважно.
- Ну, конечно, ты просто сон. Однако зачем ты пришел? Что тебе нужно здесь?
- Посмотреть на тебя.
- Что на меня смотреть?
- Я ведь тебя прежде никогда не видел.
- Так что же?
- Хотел увидеть.
- Увидел? Возвращайся к себе.
- Ты боишься меня?
- Я ненавижу тебя и рад, что лишил тебя жизни! Что ты смеешься? Я, я лишил тебя жизни!
- Бедняга!
- Почему ты так сказал?
- Бедняга!
- Перестань смеяться! Жалкий холодный труп! Для тебя все в прошлом. Что ты хохочешь?
- Как точно ты сказал. Только перепутал адрес. Не для меня, а для тебя. У тебя иллюзия жизни, у меня – жизнь после смерти.
- Теперь моя очередь смеяться.

- Смейся, если есть силы.
- Хватит! Убирайся! Я хочу спать.
- Минуту назад ты уверял, что я – лишь твой сон.
- Я не хочу тебя видеть.
- Я мучаю тебя своим присутствием?
- Я не хочу тебя видеть!
- Я лишь расскажу тебе кое-что и уйду. Тебе должно быть интересно, что произошло со мной после. Я попал в удивительный Мир Света, Чистоты, Любви, Равновесия и Гармонии. Но Высший Суд решил, что каждую ночь я должен спускаться к тебе. Это неприятно, но я выполняю приказ.
- Тебе неприятно видеть своего убийцу?
- Не только это. Мне неинтересно видеть тебя. Ты конченный человек. Все, на что ты был способен, это несколько раз нажать на курок.
- Не каждый способен на это.
- Это правда. Не каждый способен так бездарно пустить свою жизнь под откос.
- Я спас свой народ. Ты опять смеешься?
- Ты до сих пор так считаешь?
- Я напишу об этом в своей книге. Это не смешно. Что тебя так смешит?
- Я расскажу тебе об этом когда-нибудь, если будет настроение.
- Что с тобой? Ты как будто таешь?
- Я у-хо-ж-у-у-у.

Дневники и письма

“Еще в детстве я несколько раз начинала вести дневник, но не хватало терпения. Когда родились дети, тоже начинала записывать их “перлы”, но не хватало времени. Теперь у меня есть и то, и другое. Я должна чем-то заполнить пустоту.

Мои дети и внуки не оставляют меня, но у них своя жизнь. Моя была, возможно, только с ним. Только теперь я это поняла. Просыпаюсь каждое утро, неизвестно для чего. Живу лишь потому, что еще не умерла”.

* * *

“Зачем ты это делаешь? Почему не скажешь всю правду? Ведь меня ты не обманешь! Не ты убил, не ты! Да, ты стрелял, но убили другие...”

* * *

“Если бы я мог написать тебе, чтобы только ты одна прочла. Если бы этот дневник я мог передать только тебе... Если бы! Я знаю, что за мной следят даже здесь, в камере. Они видят каждый мой шаг, каждое мое действие. Видимо, они что-то подозревают. Но убил я и только я! Иначе – кто я? Этот мерзкий призрак каждую ночь терзает меня своими насмешками. Он называет меня жалкой жертвой. Что он имеет в виду? Он-то знает все. Так кто же я? Спаситель народа или подставная пешка?”

* * *

“Почему ты перестал сниться мне? Почему? Журналистские расследования сводят меня с ума. Чему верить? Может быть, во сне ты сказал бы мне правду. Ведь ты всегда делился со мной, с самой нашей свадьбы. Жизнь потеряна ни за что!”

Видения

– Почему ты сегодня задержался? Ты опять смеешься? За столько лет я привык к тебе. По сути, ты мой единственный собеседник.

– Думал ли ты тогда, нажимая на курок, что я стану твоим единственным собеседником?

– Я могу спросить тебя?

– Попробуй.

– Кто убил тебя? Не смейся! Ты же знаешь, что твой смех злит меня больше всего. Ты специально злишь меня?

– Ты помнишь наш первый разговор? Как ты кричал тогда: “Я лишил тебя жизни!” Теперь и у тебя сомнения?

– Да, у меня сомнения. Я анализирую все события и что-то не вяжется, не получается у меня логическая картина, где я убийца, а ты – жертва.

– Я тебе сразу сказал, что жертва – ты.

– Я не о том. Скажи мне, кто убил тебя. Ведь я стрелял холостыми!

– Думай, думай. Сейчас у тебя есть для этого достаточно времени. Хотя было бы гораздо лучше, если бы ты подумал до того, как сделал то, на что тебя толкали.

– Никто меня не толкал.

– Ты даже не замечал, как тебя ведут к этому выстрелу, играя на твоих

слабостях, на твоих комплексах. Хотелось выглядеть суперменом перед девчонкой?

– Ерунда! Чушь! Она тут ни при чем! Она не причастна к этому!

– Она была просто объектом. Хотелось покрасоваться перед ней, показать, что ты сильный, бесстрашный борец за справедливость? Защитник еврейского народа? А они этим воспользовались.

– Кто убил тебя?

– Их много. Среди них те, кому я доверял и не раз помогал.

– Кто убил тебя? Разве не моя пуля лишила тебя жизни?

– Думай, думай, бедный мальчик!

– Не называй меня так. Какой я мальчик! Столько лет в тюрьме...

– Я знаю. Ты жертва.

– Нет, жертва – ты!

– Бедный мальчик. Какая же я жертва? У меня была прекрасная, полная смысла жизнь. Я был мужем, отцом, дедом. Ты не будешь никогда. Я был солдатом, честным солдатом, даже когда был генералом, оставался верным солдатом своего народа. А ты вообразил, что мой народ желает мне смерти и что ты – выразитель желания моего народа?! Бедный мальчик!

– Не называй меня так! Не называй!

– Ты плачешь? Это иногда помогает таким, как ты, суперменам.

* * *

– Кто ты? Я не знаю тебя, старуха.

– А ты и не должна знать меня. Я тоже была бы рада не знать тебя. Да вот захотела увидеть мать этого несчастного.

– Ты о ком? Я не позволяю тебе так называть моего сына!

– А кто у тебя спрашивает позволения?

– Кто ты?

– Я мать. Но мать другого. Которым всю жизнь гордилась. И после смерти горжусь им. Я была сильной и мужественной женщиной. Ты, говорят, тоже. Но я вырастила доброго человека, честного и сильного мужчину. Я вырастила реалиста. Ты – закомплексованного фантазера.

– Я понимаю, кто ты. Чего тебе от меня надо?

– Хотела увидеть тебя. Ты не винишь себя ни в чем?

– В чем мне себя винить?

– Знаешь, мне неприятно это признавать, но в чем-то мы действительно похожи – женщины с мужским характером, волевые и властные. Такая, как ты, не может безропотно смириться со случившимся. Я уверена, что ты ищешь, что сделала не так, почему твой любимец сотворил такое?

– Ты что, психоаналитик?

– Я рассуждаю. Во всех случаях жизни я искала свою вину или заслугу. Видимо, я была эгоистична. Женщины, подобные нам, сильно влияют на своих детей.

– Оставь меня, старуха. Иди в свою могилу и никогда больше не появляйся в моем доме.

– Ты ведь не боишься призраков.

– Я ничего и никого не боюсь, кроме Всевышнего.

– Кроме Всевышнего? Твой сын тоже говорит, что почитает Творца и тем не менее поступил против Его заветов. Как ты это объясняешь?

– Уйди, старуха. Спрашивай моего сына о том, на что у меня нет ответа.

– Ну вот и поговорили. Прощай, несчастная.

– Не называй меня так! Не называй меня так, старуха!

* * *

– Ты сегодня веселее обычного, призрак.

– Да. Вскоре мне предстоит радость встречи с женой. Через тридцать четыре минуты она умрет, и мы снова будем вместе.

– А ты не можешь и мне составить протекцию?

– В чем?

– Чтобы и я умер?

– Ты? Ты ведь собирался жить долго и счастливо. Вдруг такой поворот?

– Я не хочу больше жить. Нет смысла в моей жизни.

– Это правда.

– Ты-то знаешь, когда я умру?

– Меня это не интересует. Сейчас я озабочен лишь одним: отбыть положенное и мчаться в Мир Света на встречу с женой.

– Мир Света... Кто будет там встречать меня?

– А почему ты решил, что попадешь в Мир Света?

Дневники, письма

“Видимо, призрак не врет. Мир Света закрыт для меня. Только сейчас мне по-настоящему страшно. Для чего я это сделал? Ведь, по правде, я ожидал совсем другой реакции. Поначалу еще кое-кто говорил обо мне, одобрял мой поступок. Теперь мир забыл меня. За столько лет произошло так много разных событий. Кто помнит маньяка-убийцу!?! Только мать и

брат со мной. Еще со мной. А отца уже не стало. Интересно, попал ли он в Мир Света?”

* * *

“Сегодня вспомнили обо мне по причине, о которой я сам забыл: сегодня мне исполнилось пятьдесят лет. Мне позволено свидание с семьей. Мать совсем старуха. Пятьдесят лет. Из них большая часть – в тюрьме. Жизнь прожита впустую. Я один. Даже призрак покинул меня. Как это страшно, что нет никого рядом. Какая жестокая вещь – пустота”.

Раскаяние

– Послушай, призрак, почему ты оставил меня? Мне очень плохо. Тюремщики говорят, что я сам похож на призрак. Старость навалилась как-то сразу. Дело не в возрасте. Просто я вдруг понял, что жизнь моя лишена смысла. Я перестал мыться и бриться – для чего? Для кого? Волосы мои отросли ниже плеч. Я не расчесываю их. Зачем? Зубы мои давно уже выпали. Я почти не ем и, видимо, действительно, похож на призрак. А впрочем, что мне до того? Ты прав, призрак. Я жертва. Стреляя в тебя, я убил себя. Эти долгие годы в темнице – пустота, мираж, фата-моргана. Я проиграл, призрак. Твоя взяла. Прошу тебя лишь об одном: попроси о моей смерти.

Сообщение в газете

“Вчера ночью в тюремной камере скончался убийца, осужденный на пожизненное заключение. Смерть наступила во сне от внезапной остановки сердца”.

Юрий Супоницкий

Иерусалим

Слишком ярок этот день,
небо выцветшее блекло.
Выгорает синь, а стекла,
стекла впитывают тень,
словно губки. Свет десницу
беспощадную простер
над полками желтых гор,
окужившими столицу.
Свет – владыка, свет – судья,
свет – последний победитель,
свет – слепой освободитель
от иллюзий бытия.
Только город. Только свет.
Только голая арена,
нет ни вечности, ни тлена,
но вырастает постепенно
этот город в этот свет.

* * *

Город меж холмов распят,
до краев наполнен болью,
сыт величьем и любовью,
слишком стар и слишком свят,
но не в силах побороть
то, к чему он приневолен:
вбиты гвозди колоколен
в окровавленную плоть.

* * *

Мой белый Иерусалим
в крови по локти.
Торчат холмы среди долин,
как кости в глотке.

Не в сердце и не в голове,
но на мольберте.
Раскинув крылья, к синеве
пришпилен беркут.

Твой камень выпал из венца:
он без оправы.
А я стою и жду конца.
И пью отраву.

Кто-то (Из Дана Пагиса)

Он мой захватывает рот,
и ложь вдруг искажает губы:
слова отнюдь не злы, не грубы,
а все же – все наоборот.

В моих сандалиях бежит
и примеряет плащ мой синий,
а дух мой скован и бессилён.
Он подчиняет мой язык.

И вот он шепчет мне теперь
с такою жалостью убогой:
– Оставь страну свою и Бога
и не забудь захлопнуть дверь.

Ископаемые

Устремленные в бездну непрожитых лет –
разве смерти по силам такое упорство,

и тарашится вдаль обнаженный скелет,
благодарный судьбе за слепое потворство.

Королевская муха в куске янтаря
над податливым временем тихо смеется:
суетливые дни бесполезно сгорят.
Не кончается сон на полуденном Солнце.

Словно ухо, оглохшее в толще веков,
обнаженная раковина у прилива,
и убогий рисунок пустых плавников
оставляет в скале архидревняя рыба.

Ископаемым ведомы боль и печаль,
и Венера, как будто не знает о звездах,
просто молча глядит в непроглядную даль,
ибо руки ее – это воздух.

Кресла

Эти медленные туши,
словно серые слоны,
растопыривают уши
из неясной глубины
полутемного салона,
где в тени филодендрона,
в дебрях фикусов смурных,
есть чудовищное лоно,
порождающее их.

Эти странные творенья
о приземистых ногах
слуха лишены и зренья
и не знают о врагах.
И почти неразлично
их движенье: пантомима
пред ослепшею толпой,
проплывают мимо, мимо
бесконечную тропой.

Стелла Подлубная

* * *

Чего нам ждать осеннею порой?
На окнах дождь зачеркивает лица.
И листьев переспелых влажный рой
Уж не заставит в вальсе закружиться.

Из ожидания спячки выйдет толк:
Мы в осени радушной только гости.
А ветер воет, словно старый волк,
Здравший морду к небу на погосте.

Что может быть банальнее конца?
Что может быть прощальнее перрона?
Не отврати печального лица
От опустевшей лодочки Харона.

* * *

Сезонной влаги ждет дорога
И книгу осени листает.
Зима еще не судит строго:
То снег лежит, то снова тает.

Мне не согреться у камина,
Но на плечах – кольцо объятья.
И этот жест, вполне невинный,
В нас будит нежность воспрятья.

Спасет всегда в часы ненастья
Инстинкт взаимопониманья.

От удовольствия до счастья
Преодолимо расстояние.

Сонет № 7
(венок “Калейдоскоп с оптическим прицелом”)

Карабкается с верой к аналою
Душа, от напряжения дурея.
Под нимбом, что вращается юлою,
Увидела тщедушного еврея.

– Вам далеко, дружок мой, до могилы.
Ведь тридцать семь – не возраст для “пиита”.
Вот для души напев “Хава нагила”,
А для желудка – хумус, тхина, пита.

А для молитв назойливых, мой странник,
Вот вам из звезд сверкающая сфера,
Магендавид – колючий шестигранник –
То якорь бедолаги Агасфера.

Стряхните грусть и путы суеты,
Чтоб с Лекарем поговорить на “ты”.

* * *

Коль придет пора проститься –
Под гранит холодный лягу.
Пусть укроет, захоронит
От покорности годам.

А душа моя вселится
В ту бездомную дворнягу,
Что в вечерней стуже ловит
Запах тела по следам.

Земфира

Над темною водой

1.

Темна поверхность воды.
Песок заносит следы,
и ветер плачет навзрыд.
И вновь приходит рассвет
и ищет то, чего нет
в пригоршне призрачных лет.

2.

Туманное, неясное,
прождавшее века
и, может быть, напрасное
и грустное слегка,
устав от одиночества
в дремотной тишине,
забытое пророчество
открылось вдруг во мне.

3.

Над темною водой склонюсь,
вдохну ее покой и грусть,
рукой души ее коснусь
и растворюсь...

И в непроглядной бездне глаз
растает мир привычных фраз,
и зазвучит в последний раз
последний блюз...

Света Дмитриева

Красной нитью

1.

Девочка из поднебесья.
Бесенок в юбке,
Полуночная песня,
Голос хрупкий.
Недопитая кола,
Разлохмаченная сигарета,
Точка укола,
Оголтелость ветра.
Переросток-Лолита
С улыбкой Алисы –
Рифмы и ритмы
Над миром лысым.

2.

На рубеже событий,
Красной нитью
– Чтобы сдохло –
Сдавлю горло.
Чтоб не пело,
Не пило водку –
Красной нитью
Душú глотку.
Чтоб не пицало
Так пошло –
Красной нитью...
– Заткнись, тошно!

3.

Версия твоей жизни
Банальна,
Как косточка,
Застрявшая в горле,
Как в небе солнце,
Как трауром
Приспущенные флаги,
Как веселье и буйство
Оргий,
Как кольцо
На третьей фаланге.

4.

Судорогами охвачена
Гортанная область.
Предсмертную значимость
Обрел голос.

Ну же,
Выкричись,
Проорись напоследок,
Что же ты...

Ночь.
Сыро.
Город оглох.
Развели мосты.

5.

Нике Турбиной

У каждого свой скелет в шкафу
И в темном углу торшер,
И выцветший томик Кафки,
И память, поросшая шерстью,

И виноватый взгляд иконы,
И шторы, вздернутые ветрами,
Как флаги,
И посеребренные флаконы,
И подпотолочная жара,
И недостаток влаги,
И ружье на цветастой стене,
И грядущая сцена пьесы,
В которой актеров нет,
А есть
Монолог пустословья
В честь
Прославленной
Поэтессы.

Ицхак Боголюбов

Палладий

Легенда

Многие знают, что царь Соломон был очень мудрым человеком. И, как принято, считают, что мудрости всегда сопутствует добродетель. Мудрый человек, полагают эти люди, – человек умный, и в этом они, конечно, правы. Но когда мудрого считают добрым – это уже не всегда так.

Так вот, у царя Соломона было двенадцать мудрецов, которые своими советами, поучениями и глубокомысленными рассуждениями помогали ему всегда оставаться самым мудрым из царей. Справедливости ради надо только заметить, что этими мудростями своих мудрецов царь пользовался не так уж часто, потому что и сам он был не менее мудрым, чем они; говорят даже, что его мудрости хватило бы еще на двенадцать других мудрецов.

Среди этих достойных помощников царя выделялся один, совсем не старый, весь черный, с черной бородой, большими черными бровями, черными волосатыми руками и, наверное, черной шевелюрой (этого нельзя было знать, так как он всегда ходил в блестящем головном уборе, в который спереди был вделан огромный рубин.

Звали его Палладий.

И этот вот Палладий мог целыми днями и месяцами сидеть над разгадыванием смысла какого-нибудь древнего писания или движения звезд; он мог годами изучать смысл строения зеленого листа или решать вопрос о том, почему у таракана шесть ног, в то время как у змеи их вообще нет, а человеку достаточно двух. Палладий интересовался всем: и скисанием молока, и бальзамированием усопших, и эхом, и слепым полетом летучей мыши, и слаженностью полета стаи птиц, и загадочным маневрированием стай рыб, и дуновением ветра, и небесным громом, и прорастанием семян, и прочностью стали, и многими, многими другими вещами. Сам он часто говорил своим друзьям, что если бы мог разделиться на сто Палладиев, то и тогда каждому из них хватило бы интересной работы, увлекательнейших занятий на очень долгую жизнь.

Однажды, во время праздника Нового года, когда народ был допущен на территорию Священного Храма и великий коген, окруженный многочисленными помощниками, торжественно приносил жертву Всевышнему, Всемогущему, Вездесущему и Единому, а Палладий стоял в свите царя, до его слуха долетел слабый мелодичный звук. Никто не обратил внимания ни на этот звук (который трудно было вообще расслышать в общем гомоне и торжественных молитвах), ни на его источник. Однако не таков был Палладий!

Он тут же определил, что звук был звоном золота, а когда стал интересоваться источником звука, то вскоре подумал о золотых предметах, стоявших на дальнем столе у жертвенника. Это были несколько огромных блюд с выгравированными на них эпизодами еврейской истории, огромная вилка, чаша, которая блестела на солнце ярче других предметов, огромный светильник, изготовленный по эскизу самого царя и несколько кубков разной величины и формы.

Какой же из этих предметов издал тот звук?

Мудрец переводил взгляд с одного из них на другой, но определить с уверенностью, чей это был звук, оказалось не так-то просто. Поначалу ему подумалось, что такой звон мог издать светильник (но семисвечник был слишком массивен для этого), потом – что звенела вилка (но вилка лежала на каменной подставке и поэтому, если бы она действительно вдруг зазвенела, ее звук был бы глуше и короче). Блюдо могло звенеть гораздо более громко и резко, кубки – более продолжительно. Возможно, это была чаша. Может быть.

И тут один из младших когенов задел золотую чашу широким рукавом своей одежды, и она тут же издала тонкий продолжительный звон. Нет, то не был звук, который заставил Палладия оторваться от общего торжества и углубиться в размышления.

Теперь Палладий не сомневался в том, что раньше прозвенел светильник. Когда мудрец добрался до этого логического вывода, он был очень доволен. Однако довольство его длилось, как и следовало ожидать, очень недолго.

Вдруг его мозг озарили новые мысли: ведь это же семирожковый светильник, и если бы он звенел весь сразу, колебались бы все семь рожков. А это значит, что звук был бы не одной высоты, а слышался аккорд, то есть звон семи рожков, слившихся в один общий голос. Но он-то уловил один, чистый звук. Значит, если то был звук именно светильника, так только одного из его рожков. И остается узнать, какой из рожков издал этот звук.

Палладий был уверен, что как бы аккуратно и точно ни отлить светильник – нельзя семь рожков сделать абсолютно одинаковыми. Поэтому каждый из рожков светильника пусть хоть немного, но отличается. А это

уже очень интересно: во-первых, какой из рожков издает какой звук, а во-вторых... не мешало бы узнать – случайный ли набор звуков заложен в светильник или он отлит в угоду какой-то неизвестной, тайной силе?

Все эти мысли настолько заняли Палладия, что он уже ничего не слышал и не видел вокруг себя.

И, надо сказать, этот момент стал роковым в жизни одного из мудрейших мудрецов царя Соломона.

А дальше было вот что.

Через три недели после Нового года, когда судьба Палладия была уже записана в соответствующую книгу, он обратился к царю с просьбой разрешить ему заняться изучением знаменитого светильника.

Дело в том, что для такого дела нужно было находиться на территории Священного Храма, а это принципиально запрещалось. В будние дни там могли находиться только когены и левиты, а люди другого происхождения имели право входить туда только в праздники. Мудрец же Палладий вел свое происхождение от Вениамина, то есть не принадлежал к роду священников. Царь сразу понял, почему Палладий обращается к нему, а не к великому когену.

Палладий подробно рассказал царю о том, что он думает о золотом светильнике, и Соломон заинтересовался его мыслями.

Вскоре царь попросил великого когена доставить светильник на некоторое время к нему во дворец. После мягких возражений, необходимых в подобных случаях (это была принадлежность Священного Храма) и, конечно, высказанных великим когеном, знаменитый семисвечник был тайно доставлен во дворец царя. И вскоре Палладий получил возможность сидеть и стоять рядом со светильником, сколько ему того хотелось, и изучать его золотые рога.

Прежде всего Палладий решил убедиться в том, что звон, издаваемый разными рожками, – тоже разный. И убедился уже через час после того, как стал ударять по светильнику рукояткой ножа.

После этого Палладий решил определить, в каком порядке нужно постукивать по рожкам, чтобы звуки постепенно повышались или понижались. Это оказалось несложно, и Палладий записал на папирусе: 2-5-6-3-1-7-4. Это означало, что если сначала ударить по второму рожку, который издавал наиболее низкий звук, затем – по пятому, шестому, третьему и так далее, в соответствии с установленным порядком, то светильник звучал, как настоящий музыкальный семизвучный инструмент.

Постоянно тренируясь, Палладий уже через месяц умел играть на этом инструменте, извлекая из него мелодии популярных напевов и даже мелодии священных псалмов, которые звучали чисто и тонко, наполняя комнату очаровательными золотыми переливами.

Совершенство свое мастерство, мудрец подбирал наиболее подходящие деревянные палочки для игры на золотых рожках. Слишком твердые палочки оставляли на рожках нежелательные следы, слишком мягкие – не давали достаточно громкого звона. И наконец, после нескольких месяцев исследований, Палладий подобрал для своих занятий тонкую дубовую палочку, чуть толще стила, которым писали на глиняных пластинках. Это была палочка длиной с локоть, и была она изготовлена из очень крепкого кармельского дуба.

Конечно, нелегко было изготовить такую тонкую и длинную палочку из дерева высотой не больше куста, с ветвями настолько кривыми и угловатыми, что, глядя на это дерево, трудно проследить, где какая ветка начинается и где кончается.

И вот однажды, когда Палладий хотел было приступить к повторению какой-то мелодии, которую собирался продемонстрировать царю, он, ничего не подозревая, сначала извлек из светильника все семь его звуков в нарастающем порядке, соответствующем нашему звуковому ряду – “до-ре-ми-фа- соль-ля-си”. И вдруг увидел, что кончик палочки начал дымиться, потом он стал тлеть зеленым угольком, и это тление быстро распространялось. Изумленный Палладий бросил палочку на пол. А она продолжала тлеть, пока через некоторое время вся полностью не истлела... На полу остался только еле заметный пепельный след.

Сердце Палладия сильно билось. Он понимал и знал по своему опыту, что перед ним либо чудо, либо какая-то немыслимая тайна.

Не говоря ни с кем ни слова, он достал весь свой запас дубовых палочек и стал повторять опыт. И каждый раз, когда идеально прямая и тонкая палочка извлекала из светильника семь звуков в порядке музыкальной гаммы, она начинала тлеть и так постепенно сгорала. Остановить тление было невозможно: ни вода, которой Палладий пробовал поливать палочку, ни песок, в который мудрец ее зарывал, ни тряпки, в которые он ее заматывал, – ничто не могло остановить тления. Палочки неизменно догорали до конца, не оставляя почти никакого следа.

Долго еще Палладий исследовал пепел, надеясь раскрыть его волшебную силу, но дни шли за днями, луны то нарождались, то исчезали, а любознательный мудрец ходил мрачным, задумчивым и почти ни с кем не разговаривал.

Но в конце концов секрет светильника был раскрыт. Палладий понимал, что за одним секретом могут прятаться еще много-много других, и все же один очень важный секрет перестал быть секретом!

Теперь Палладию предстояло рассказать царю о своем открытии. Он понимал, что отныне другие мудрецы будут ему еще больше завидовать, но надежда на царскую благосклонность и, возможно, на значительный

царский подарок снова сделала мудреца жизнерадостным и наполнила его достоинством и гордостью.

Через некоторое время Палладий доложил царю о музыкальных свойствах светильника, и царь решил послушать новую музыку в той самой комнате, где Палладий тайно проводил свои опыты. Так надо было, чтобы никто не знал, что светильник увезен из Священного Храма и находится не там, где народ привык его видеть.

Однажды вечером, когда на небо взошел молодой месяц, снова и снова возвещая мир о вечности порядка, установленного во вселенной, царь Соломон в сопровождении своей личной охраны и своего мудрейшего советника Палладия отправился на необыкновенный концерт.

В комнате, где стоял светильник, горели четыре лампы, расставленные по углам. Стены были украшены медными и серебряными гравюрами, у одной из стен стояло мягкое широкое кресло, предназначенное для Его Величества, а рядом со светильником, посреди комнаты, стояла невысокая скамеечка. Царь сел в кресло и сделал Палладию знак рукой. Палладий вытащил из-за пазухи тонкую палочку, уселся на скамеечку и сказал:

– Песня “Девушки собирают виноград”.

По комнате полился тонкий золотой перезвон. И давно известная популярная песня заискрилась, заволновалась, засветилась и полилась волшебными волнами.

Царь был изумлен и обрадован: такой чудесной музыки он действительно никогда до этого не слышал. А Палладий продолжал играть, ударяя своей палочкой по рожкам светильника, и лицо его, освещенное желтыми огнями лампад, казалось загадочным, зачарованным.

Когда последние звуки проплыли в воздухе и Палладий остановился, царь приказал:

– Еще!

– Да будет вечно славен Всевышний, – как эхо откликнулся Палладий и снова приступил к светильнику.

По комнате полился волшебный и торжественный перезвон. И казалось, что само небо, сам Всевышний внимают звукам псалма. Огни в светильниках замерли, как будто они были не настоящими, а нарисованными. Ничто не шевелилось вокруг, и только золотые переливчатые звуки, причудливо переплетаясь, заполняли все уголки комнаты. Наконец и эта мелодия была сыграна до конца.

Царь сидел неподвижно в кресле и не то о чем-то думал, не то переживал очарование золотой музыки. Наконец он заговорил:

– Палладий, послушай, Палладий! Как же это может быть, чтобы светильник, отлитый обыкновенным литейщиком, обладал набором звуков,

точно соответствующим музыкальной гамме? Такое явление – или чудо, или волшебство, если, конечно, каждый рожок не был специально для этого обработан после литья. Но насколько мне известно, рожки специально не обрабатывались, потому что никто не собирался делать музыкальный инструмент из священного светильника.

При этих словах Палладий еще раз убедился в мудрости своего повелителя.

– Ты прав, о государь! Это действительно волшебство.

Царь широко раскрыл глаза, резко повернулся в кресле и испытующе посмотрел на Палладия.

– О великий царь! Кроме музыки, которую ты слышал, этот светильник скрывает еще много других тайн. Одну из них мне удалось раскрыть, других я пока не разгадал.

– И что же это за тайна?

– А вот – смотри и слушай, мой государь.

С этими словами Палладий стал ударять своей палочкой по рожкам светильника в известном только ему порядке. И когда вся семизвучная гамма проплыла по комнате, кончик палочки зарделся и палочка стала уменьшаться. Тогда Палладий направил ее на скамеечку для сиденья и произнес громко и четко:

– Ты превратишься...

Палочка продолжала тлеть.

– ...в стол с угощением для царя! – и Палладий коснулся скамеечки горящим концом палочки.

Раздался резкий треск, и на месте скамеечки оказался золотой стол, сверкающий изумительной резьбой четырех ножек и прекрасными золотыми и серебряными блюдами, полными яств.

Царь даже немного испугался, но постарался не показать виду, ибо царю не к лицу пугаться. Он сказал только:

– Это действительно чудо! Я такого никогда не видел! И что же, эдак можно все превращать во все или это лишь одна из волшебных возможностей твоей палочки?!

– О великий государь! Таким образом, как я тебе только что показал, можно превращать все во все. Это тот секрет, то волшебство, которое мне пока удалось раскрыть. Если царь прикажет, я займусь дальнейшими исследованиями.

Но царь не ответил. Он был снова задумчив, его одолевали какие-то тяжелые, а может быть, важные мысли. И он сказал:

– Объясни-ка мне, Палладий, как это делается.

– С удовольствием, мой государь.

И Палладий рассказал.

Чтобы воспользоваться волшебной силой светильника, нужно с помощью вот такой, абсолютно прямой и тонкой палочки, изготовленной из кармельского дуба, поочередно легко ударять по рожкам светильника в порядке 2-5-6-3-1-7-4.

– Как, как? Повтори!

– Два, пять, шесть, три...

– Два, пять, шесть, три...

– Один, семь, четыре.

– Один, семь, четыре... Это воистину чудо! – воскликнул царь Соломон. – Дай-ка мне палочку: я хочу попробовать и сам что-нибудь во что-нибудь превратить.

С этими словами царь встал, подошел к Палладию и взял из его рук тонкую светло-серую палочку. Затем он, произнеся запомнившийся порядок рожков, стал поочередно по ним ударять, пока не закончил на центральном, четвертом рожке. Палочка загорелась.

И тотчас же царь направил ее в лицо Палладию и произнес:

– Ты превратишься...

Палладий застыл как изваяние, смертельный страх исказил его лицо. Расширенными до предела глазами он смотрел на царя.

– ...в кот! – закончил царь и дотронулся до плеча своего лучшего мудреца.

Раздался треск, Палладий вскрикнул и... на полу уже сидел большой черный кот. Крупные прозрачные слезы текли из его желтых глаз. Он попытался всхлипнуть, но из этого ничего не получилось. Кот жалобно смотрел на царя, а царь с любопытством смотрел на кота.

– За что, за что, о государь? – вдруг проговорил кот.

– Не за что-то, а затем, мой друг, чтобы то, что произошло сейчас с тобой, никогда не могло случиться со мной.

И только теперь кот-мудрец понял, в какую опасную игру он играл, еще раз убедился в мудрости и прозорливости своего повелителя и примирился со своей судьбой.

– Слава Господу, что я не лишен дара речи и мышления!

– Слава Господу, – повторил царь, и ему вдруг стало грустно. Грустно от того, что он был вынужден превратить своего талантливейшего мудреца в черного кота. – Не печалься, Палладий, я сделаю все, чтобы ты был доволен судьбой. Согласись (хотя вряд ли ты согласишься): для того чтобы быть счастливым, не обязательно быть человеком.

Царь ушел, а волшебный светильник был возвращен в Священный Храм.

Борис Камянов

* * *

К величайшей вершине мира,
Над которой – лишь только Бог,
С иноземной своею лирой
Дотащился я, одинок.

Наседало на пятки время,
Злобным зверем в ночи сопя.
По дороге я, словно бремя,
По частям оставлял себя.

Дочь покинул и мать оставил,
Тридцать лет отшвырнул к шутам,
Землю-мачеху я ославил
Черным дегтем – по воротам.

Только память свою да лиру
Я спасти по дороге смог.
И стою на вершине мира,
Над которой – лишь только Бог.

Жадным взором весь мир объемлю,
Вновь рожденный, я нищ и бос.
В обретенную эту землю
Я по самое сердце врос.

Все оставил я за порогом.
Все отдал я чужой стране.
И остался я только с Богом.
Только с Богом
Наедине.

Старый Иерусалим

Войдешь в зловоние Востока –
И задохнешься от восторга!

...Курилен тайных дурь и чад,
Бессмыслица людского хора,
Вой одичалых арабчат
И человеческий крик хамора*.

Плетется, замшевый, замшелый,
С тупой покорностью судьбе,
И взор больной и ошалелый
Скользит печально по тебе.

Тут – иностранцев толчея
У лавок древностей фальшивых,
И у помойного ручья
Баталия котов паршивых.

До этой страшной высоты
Как доползла такая проза?
Язычники свои кресты
Несут по Виа Долороза.

Степенно шествуют попы,
Снуют проворные монашки...
Дымятся красные супы,
Кровоточат бараньи ляжки.

Туристы всяческих пород
Столпотворят язык базарный,
И кто-то в медный тазик бьет,
Как будто в колокол пожарный.

За поворотом поворот,
Уж гомон за спиной, и вот
Перед тобою – панорама:

* Хамор – осел.

В горячей солнечной пыли,
За светлой площадью, вдали –
Стена разрушенного Храма.

Вот ты и дома. Не спеши,
Следи, как в глубине души
Растет прорезавшийся трепет.
Польются слезы, как стихи:
Господь простил тебе грехи
И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложишь щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь – у вечного ручья,
Ты вновь – в начале бытия,
Ты снова дома, слава Богу.

1979

* * *

Какая это сладкая тоска:
Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка,
Потрескивать глаголами сухими!

Оставив там, за тридевять земель,
Полжизни и разбитое корыто,
Какое счастье слово “Исраэль”
Произносить свободно и открыто!

Я выучу иврит как “дважды два”.
Но никогда мне не забыть такие
Совсем простые русские слова:
– Дочурка.
– Мама.
– Бедная Россия.

1976

* * *

Седьмые классы. Кипы всех расцветок.
Галдеж на перемене, бегодня...
И среди этих сумасшедших деток –
Ушастый шкет, похожий на меня.

Они – призыв двухтысячного года –
Своею кровью оплатить должны
Безумие избранников народа,
В рулетку промотавших полстраны.

Любимые! Простите нас, отцов, –
Лихих бойцов, глухонемых слепцов,
Своих детей отдавших под начало
Преступников, маньяков, подлецов.

“Аतिकву” мы давно уже допели.
Остались боль, растерянность и стыд.
Мы наших сыновей не пожалели.
Молись, Израиль, – может, Бог простит...

* * *

Прости, если можешь, за горькую эту любовь,
Годами бродившую в сердца закрытом сосуде –
И ставшую ядом.
Бальзам из него изготовь
В кислотоупорной лабораторной посуде.

Спасибо, любимая: душу свою предложив,
Как тигель фарфоровый хрупкий, для этого дела, –
Ты веришь, волшебница, знаешь: останется жив
Твой раненый муж, чья душа уж почти отлетела.

Внезапно прорвалась она, как созревший гнойник,
Избавившись вмиг от ее разъедавшего яда,
Пустой оболочкой я к сердцу родному приник,
И вновь наполняют ее
И тепло, и покой, и отрада.

Владимир Добин

Крысы

Нет ничего страшнее и живуче
вон там, вдали, где мусорная куча,
неистребимых полчищ серых крыс.

Они, как гунны, только ждут сигнала –
и вот уже вся Азия пропала,
и лишь евреи, как всегда, спаслись.

Спасибо, Господи, что Ты нас не оставил
и, где по правилам, а где – без правил,
но вывел,
спрятал,
выручил
и спас.

Пусть мы для них ужаснее, чем крысы,
но это Ты над миром нас возвысил,
и никогда Ты не покинешь нас.

* * *

Ире

Есть редкое счастье – однажды понять,
что можно ложиться и можно вставать,
не думая в сотый и тысячный раз,
как надо натягивать противогаз.

Есть радость – узнать вам ее не дано,
хотя вы, наверно, смотрели в кино:
автобус, как факел кровавый, пылал,
а я на него в этот раз опоздал.

Есть горькое чувство – увидеть вдали
кого-то другого лежащим в пыли,
с пятном на спине под арабским ножом,
и в эту минуту не думать о нем.

Как можно все это изведать и жить
и все-таки землю вот эту любить?

* * *

Пересеки Садовое кольцо –
хотя б одно знакомое лицо,
хотя б один незабытый голос.

На километры вечность не деля,
вдруг убедиться с ужасом: земля
уже и в самом деле раскололась.

Все ближе – на дальних берегах.
Все – навсегда, и даже в маяках
мигает свет иных тысячелетий.

И, сколько ни заплатишь за билет,
тебе туда уже возврата нет.
А будет что – один Господь ответит.

Верлибры

Видя тающие в небе
листья, сорванные ветром,
думаю я не о смерти –
о путях исповедимых,
о неведомых краях.

Если вдруг лучи косые
землю всю – до горизонта –
словно борозды, нарежут,
думать буду не о смерти –
о дожде и урожае.

Даже если мир в палату
превратится, и глаза мне
ночь закроет – я о смерти
думать все-таки не стану,
как не думал о рождении,
а какая жизнь прошла...

* * *

Время – это не враг,
которого надо победить,
а бегун,
за которым никак не поспеть.
И, пока я бегу за ним,
одни уже разбогатели и разорились,
другие состарились,
третьи,
уйдя в мир иной,
оставили меня наедине с собой...
А что мне делать в одиночестве?

Фредди Бен-Натан

* * *

На всем есть смысла высшего печать –
И скрытые, и явные намеки...
Прочсть бы этой тайнописи строки
И в Книге жизни главное понять!

Опять спеша, как почтальон, весна
В привычно набухающих бутонах
Нам из времен приносит отдаленных
Зачатые природой письмамена.

Их суть: всему свой установлен срок.
Годами прячем подлинные лица.
Но человек рожден, чтобы раскрыться,
Как перед небом – полевой цветок.

Что ж носит нас из края в край земли? –
Ведь истина стара и непреложна:
До той поры цветенье невозможно,
Пока корнями в почву не вросли.

* * *

Напоминает куколка о том,
Что все вокруг и временно, и тленно,
Но гусеница спит недолгим сном,
Чтобы потом предстать перед Вселенной
Уже в предназначении ином.

Казалось бы, летать не рождена,
Но вот приходит час расправить крылья,

И бабочкой становится она.
Та сказка, обернувшаяся былью,
Быть может, смысла тайного полна?

Как знать, не оттого ли коротка
Нас по земле ведущая дорога,
Что в сущности – начальная строка,
И будет после краткого пролога
Другая жизнь – на долгие века.

Но перед тем, как эту дверь открыть,
Шагнув из настоящего в далеко,
Выходит, надо научиться жить,
Во время испытательного срока
Не оборвав связующую нить.

* * *

Кто верит, книжку детскую листая,
Что сказку с былью связывает мост?
И этот мир, по сути, – старый холст,
И, значит, рядом – дверка потайная.

А в скважине замка – надежды лучик...
Но если так, то почему тогда
На вязком дне заросшего пруда
Заветный золотой упрятан ключик?

То признак отдаленности от цели,
И можно ли счастливым стать, греша?
У куклы деревянной есть душа,
Мы от бездушья задеревенели.

До станций не доехать с полустанка,
Где ржавчиной разъедены пути,
И к музыке высокой как взойти,
Когда до слез не трогает шарманка?!

Александр Воловик

Из “Книги молений”

Моление о хлебе

Над пропастью этой бездонной,
Где Твой воссияет престол,
Придвинем скамью поудобней
И локти поставим на стол.
Молю, чтобы время настало,
Чтоб срок неизбежный настал,
Чтоб каждому хлеба хватало
И чтобы никто не хватал.
За сытое это здоровье,
Печеное в жаркой золе,
Уплачено плачем и кровью
На грешной невинной земле.
Чтоб чинно, не скоро и честно
Делили по-братски ломоть!
Чтоб каждому было не тесно
В застоллии этом, Господь!

Моление о дочери

Дочь осталась в дали, позабытой Богом,
Посылая мне в милость горстку редких вестей,
Та земля потонула в насилье убогом,
На посмех и издевку истории всей.
Пощади ее, Боже, ради дочери милой,
Ради злой маеты и суда над собой,
Ради камня над маминой неизвестной могилой,
Ради нашей звезды, опаленной судьбой.
Только Ты нам судья, и в Твоем приговоре,
Я молю Тебя, Господи, милость яви.

Не забудь моего бесполезного горя –
Словно польза от горя целебна в крови!
Отчуждения нет. Кровь наследует право
Быть родным и далеким...

Я нити плету.

Ты пошли ей дорогу, против сердца и нрава,
Чтобы камушек бросила мне на плиту...

Моление о последней книге

С первого вдоха к последнему вздоху –
В этих границах, в обложках моих
Я проживаю сквозь сердце эпоху,
Словно дорогу, и нету других.
С первого мига до смертного мига –
Жить и любить, умирать и спасать.
Каждая книга – последняя книга,
Просто иначе не стоит писать.
Все, что не комкаясь терпит бумага...
Боже, молю: поддержи на краю!
С первого шага – до горького шага:
В пропасть упасть, словно в книгу свою.

Владимир Свирский

Виночерпий всяя Руси

Это история трех телефонных разговоров Иосифа Виссарионовича Сталина и Моисея Вацлавовича Маленького, со слов которого я их и передаю.

Кто такой И.В.Сталин, объяснять не надо. Скажу несколько слов о его собеседнике. Происходил Моисей Вацлавович из династии миллионщиков-виноделов, получил в наследство несколько заводов шампанских вин в Крыму и на Северном Кавказе, коньячную фирму в Бессарабии. Был он человеком высоким, широкоплечим, своей фамилии никак не соответствовал.

Заводы революция отобрала, Бессарабия отошла к Румынии. Убежать Маленький не успел, устроился мастером-дегустатором на одном из своих же предприятий, в двадцать пятом стал его директором. Другие – выдвиженцы: сегодня заведуют ткацкими делами, завтра – банными, послезавтра – школьными. А он – специалист, о котором и во Франции знали, и в Германии.

В двадцать восьмом ему позвонил Сталин.

Диалог первый

Был генсек в состоянии среднего опьянения. Моисей Вацлавович это сразу почувствовал, казалось, мог даже определить, какое вино пил вождь.

Поздоровавшись, Сталин спросил:

– Знаете ли вы, товарищ Маленький, сколько было бакинских комиссаров? Ну, тех, которых англичане расстреляли?

– Двадцать шесть.

– Ошибаетесь. Их было двадцать семь. Один почему-то остался жив. Вот он сейчас сидит передо мной и утверждает, что армянский коньяк лучше грузинского. А я ему говорю: “Послушай, Анастас! Когда армянские виноделы шли учиться, грузинские уже возвращались”. Как думаете, товарищ Маленький, кто же из нас прав?

Что тут было делать? Ответил уклончиво:

– Все зависит от вкуса. Одному нравится “Наполеон”, другому “Камю”...

– Одному девочки, другому мальчики! – со смехом подхватил Сталин.
– А вы дипломат. Ну что же, это неплохо. Догадываетесь, кто нам вас рекомендовал? Французы. Миллион золотом предлагают, если господина Маленького отпустим. Валюта нам сейчас, конечно, очень бы пригодилась. Но мы решили, что кадры дороже денег. Назначаем вас главным виночерпием страны. Привлекайте специалистов, на их прошлое и партийную принадлежность не смотрите. Анкеты за граница не покупает, она покупает вино и секреты его производства.

Теперь он говорил серьезно, хмельные нотки исчезли.

– Скажите, товарищ Маленький, – чувствовалось, что ему доставляет удовольствие произносить эту фамилию, – как получилось, что у вас, еврея, такое отчество? Почему Вацлавович?

– Отец принял католичество. По тактическим соображениям. Тогда в России...

– Я знаю, что было тогда в России, как угнетались евреи. Антисемиты утверждают, будто евреи сознательно спаивали русский народ.

– На то они и антисемиты.

– Я тоже так думаю. Ну что же, поздравляю вас с новым назначением, товарищ Маленький!

Так Моисей Вацлавович стал виночерпием всея Руси, маршалом винноводочных войск, как пошутил однажды начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев.

Диалог второй

Произошел он в самом начале тридцать седьмого.

Приехали за Моисеем Вацлавовичем под утро. Предъявили ордер. На арест и на обыск, все как положено. Привезли прямо к следователю, шуплому пожилому человеку с явно выраженной еврейской внешностью.

– Меня зовут Яков Маркович Рыбин, – представился тот. – Как сложатся наши отношения, зависит только от вас. Вы обвиняетесь в попытке совершения террористического акта против товарища Сталина и его соратников. Назовите сообщников, расскажите о способах, которыми вы предполагали действовать. А для того, чтобы освежить вашу память, предлагаю просмотреть коротенький диафильм.

Он повесил на гвоздь экран, погасил свет и включил проекционный фонарь. Равнодушно менял кадры, изредка комментируя их. Изредка, потому что комментарий не требовался: это были сцены истязаний, о которых Моисей Вацлавович не читал даже в книгах о средневековой инкви-

зии. Через несколько минут ему стало дурно. Тот, кто назвал себя Рыбиным, плеснул ему в лицо воду из стакана и, когда подследственный пришел в себя, усмехнулся:

– Вот уж не ожидал! По комплекции вы, вопреки своей фамилии, такой богатырь, прямо Самсон. Лечиться вам надо. Ну, да мы вас подлечим. А теперь – к делу: цели, имена, явки, методы. Вы сами, или требуется помощь?

– Помогите...

– Пожалуйста. Начнем с того, каким способом вы пытались убить товарища Сталина и его соратников? Бомба, автокатастрофа, яд?

– Лучше яд... Мы ведь поставляем вино и к столу товарища Сталина.

– Товарищ Сталин вам не товарищ! Запомните это! А версия мне нравится. Итак, отравленное вино. Теперь назовем тех, кого вы хотели уничтожить. О товарище Сталине вы уже сказали.

– Молотова, Ворошилова, Микояна... Кто там еще... Калинина, Андреева...

– Хватит.

– Кагановича забыл.

– Я сказал: хватит! Перебор получается. Так и запишем: Молотова, Ворошилова...

В это время зазвонил телефон. Следователь снял трубку и, прижимая ее к уху плечом и продолжая писать, недовольно бросил:

– Да!

– Маленький у вас?

Трубка плотно не прижималась, поэтому Моисею Вацлавовичу было все хорошо слышно, и он сразу узнал голос. А хозяин кабинета не узнал. И развязно спросил:

– Кто говорит?

– Я спрашиваю: Маленький у вас?

– А я спрашиваю, кто меня спрашивает!

– Иосиф Виссарионович Джугашвили. Слышал про такого? Молчишь?

Рыбин, белый, как тот экран, на который он только что проецировал свои адские картинки, резко вскочил, отбросив назад стул, но тут же, уронив трубку, медленно осел на пол, успев пролепетать:

– Вас...

– Маленький слушает!

– Что вы там делаете, товарищ Маленький?

– Объясняю, как хотел отравить товарища Сталина.

– И как же?

– Вино.

- Ну, это уже было. Много раз. Только меня?
- Нет, почти все Политбюро.
- Почему “почти”? Кого же вы не хотели отравить?
- Кагановича.
- Почему Лазаря не хотели?
- Следователь говорит: перебор получается.
- Только поэтому? Спросите его от моего имени.
- Никак нельзя, товарищ Сталин.
- Почему?
- Не в себе он.
- Вот люди! Я думаю, он антисемит, раз не хотел Лазаря травить. Вы мне понадобились вот для чего, товарищ Маленький. Скоро исполняется сто лет со дня смерти великого русского поэта Пушкина. Есть мнение широко отметить эту историческую дату. Чтобы неповадно было всякой сволочи кричать о том, будто мы, большевики, погубили культуру, а в стране царит произвол. Скажите, товарищ Маленький, найдется ли у вас вино столетней выдержки? Из урожая 1837 года?
- Надо посмотреть.
- Посмотрите.
- В моих условиях...
- Мы попросим товарища Ежова изменить ваши условия. Думаю, он пойдет нам навстречу. До свидания, товарищ Маленький.

Диалог третий состоялся вечером 2 мая 1945 года.

До победы над Германией – несколько дней. Москва полна слухами: карточки отменяют; всех участников войны наградят орденами Сталина; колхозы упразднят; салют будет грандиозный, какого не знала история; над столицей подвешат портрет товарища Сталина, такой огромный, что закроет все небо – то ли с трубкой, то ли с девочкой на руках; амнистию объявят всем, в том числе и политическим...

– Товарищ Маленький, вы слышали, что сказал сегодня по радио товарищ Левитан?

– Конечно! Взят Берлин!

– Мы считаем, что победа над фашистской Германией должна быть отмечена всенародным гулянием. С бесплатным угощением, вином. Выкатить бочки, цистерны. Москва, Ленинград, столицы союзных республик, еще несколько городов. Определите потребность, наличие, средства доставки. Свяжитесь с генералом Хрулевым, он поможет с транспортом.

– Слушаюсь, товарищ Сталин! Я хотел... Можно мне сказать?

– Говорите!

– На Руси опыт подобных гуляний никогда к добру не приводил.

– Вы о Ходынке? Зачем собирать массы в одном пункте? Прикажем праздновать в разных местах. Несчастные случаи, конечно, будут, но разве в них дело? Они сотрутся из народной памяти.

– Ходынку помнят, товарищ Сталин...

– Помнят, потому что сами напоминали. Сделаем распоряжение – забудут. Товарищ Маленький! Мы вас назначили главным виночерпием, а вы вообразили себя главным тамадой.

И бросил трубку.

Этот их разговор стал последним. На следующий день М.В.Маленького отправили на пенсию.

Как раз в это время я был командирован в Москву с секретным заданием – отвезти семье адмирала трофейный сервиз на двадцать четыре персоны. Выполнив ответственное поручение, я навестил Моисея Вацлавовича – отца моего школьного друга, погибшего летом сорок второго. Тогда-то он и рассказал мне о своих телефонных беседах с Генеральным Тамадой.

Мне представилась фантазмагорическая картина: с небес, застилая солнце, улыбающийся властелин наблюдает за миллионами пьяных, изголодавшихся подданных, которые, давя друг друга, рвутся к дарованным бочкам с вином и водкой. Улыбается и обнимающая его девочка.

Тогда я не спросил, что заставило Моисея Вацлавовича чуть ли не перечь Сталину. Стремление предотвратить душегубство? Вероятно. Но не только это. Допускаю, что ему вспомнился интерес, проявленный тем же собеседником к спаиванию народов России, и он осознал свою обреченность: вину обязательно возложили бы на него, пусть даже принявшего католичество, но – еврея.

А через месяц после нашей встречи экс-виночерпий всея Руси скоропостижно скончался.

...В сорок пятом “Ходынка”, как известно, не состоялась. Была отложена до марта пятьдесят третьего, когда она (правда, без дарованного спиртного) стала частью ритуала похорон Сталина. Какое же божество обходится без жертвоприношения?

Петр Кременчугский

Как я поступал в консерваторию, или Спасибо товарищу Сталину...

Улица, на которой ты родился... У каждого своя улица, свои воспоминания, свои радости, свои беды. Как говорил поэт: "...Каждый дом – своя родина, свой океан. И под каждой слабенькой крышей, как она ни слаба, – свое счастье, свои мыши, своя судьба".

Волею судьбы и родителей я родился и жил на улице Тарасовской, в доме номер девять. До войны наш дом был едва ли не самым большим домом в Киеве: два двора, семь этажей, лабиринт подвалов и проход через дворы на улицу Короленко. Кроме всего прочего, в нашем доме был еще пионерский "Форпост": там собирались не только пионеры-подростки, женщины-активистки, но и жильцы-"философы", обсуждавшие проблемы мирового масштаба.

После войны многое изменилось: закрыли "Форпост", из когда-то тысячного населения дома осталось не более трехсот (свыше двухсот человек из нашего дома "ушли" в Бабий Яр). Как только смеркалось, люди расходились по домам; по двору шастали вездесущие пацаны, а на лавочках у дома сидели ребята пятнадцати-семнадцати лет, которым не были страшны ни босяки, ни "Черная кошка", ни прочие "прелести" первого послевоенного года.

Мне было шестнадцать лет. Я уволился из армии, где был воспитанником одной авиационной части. Приехав в Киев, я устроился работать на военный завод, а вечерами, сидя на лавочке, распевал известные мне песни под аккомпанемент гитары. Репертуар мой был достаточно обширен. Ребята слушали и взирали на меня с понятной завистью: как же, на груди медаль, нашивка за ранение, никто не кричит: "Иди сейчас же домой!", работает на заводе и знает такое множество песен. А песни, песни какие! "Я еду из Одессы, товарищи со мной. Две "ваторги" в кармане с отмычкой стальной". Или – "Что затуманилась, зоренька ясная...", или – "А там, наверху, в сером доме, роскошно живет прокурор..."

Когда меня уволили из армии, мне дали в запас две пары нижнего бе-

ля, две пары обмундирования “х/б” и новые кирзовые сапоги. В одной паре обмундирования я ходил каждый день, а вторая была – “на выход”. Сапоги я немножко заносил, поэтому первоначального шикарного вида они не имели.

В конце лета 1945 года во дворе появился всеобщий любимец – старшина первой статьи Валька Комаровский, демобилизованный флотский парень. До войны Валька занимался на третьем курсе музыкального училища. Музыкант, певец, танцор – гроза всех девчонок нашего района и школы номер сорок пять.

В момент появления Вальке было уже за двадцать, кроме того, на груди орденов и медалей – не сосчитать. Поскольку еще до войны я разносил от него записки девочкам, то теперь был безоговорочно взят им в сотоварищи. Валька был человек серьезный: на пару дней он куда-то исчез, а появившись, “вырвал” меня из компании и провел беседу примерного следующего содержания:

– Слушай внимательно и не перебивай. На Короленко, в бывшей музыкальной школе, открылась вечерняя консерватория. Они туда принимают в первую очередь талантливую рабочую молодежь. У тебя, правда, дури больше, чем таланта, но думаю, что тебя примут, потому что кое-какие данные у тебя есть. Мы с тобой сдаем вступительные экзамены через три дня. Заявления наши я уже подал. Кроме заявлений, пока больше ничего не нужно. Я, как человек более-менее искушенный, говорю: у тебя сносный баритональный тенор, у меня, говорят, баритон, и мы оба поступаем на отделение вокала, в класс профессора Гринер. С ней я уже договорился. Хватит шастать по дворам, пора за ум браться. Вопросы есть?..

Я вначале оторопел, а потом говорю Вальке, мол, какая консерватория, какая профессор Гринер? Я, говорю, кроме того, что пару щелобанов дал ее сыну, никаких дел с ними не имел. И, к тому же, о каких экзаменах может идти речь, о чем я там говорить буду? А он мне отвечает, что там надо не говорить, а петь, причем спеть нужно три песни: одну из классического репертуара, одну современную и одну народную. Современную, говорит, будешь петь о Красной Армии, ты, мол, ее знаешь, “Над тобою шумят, как знамена...” Народные, мол, ты тоже знаешь, скажем, “Ой, чо ж ты, дубе...” А в отношении классики, то и тут, мол, не напрягайся. Ты прекрасно помнишь арии Онегина или Фигаро – вот оттуда и споешь что-нибудь...

Я уже хотел потихоньку смяться, но Валька, предчувствуя это, крепко приобнял меня за плечи и добавил, что все равно заставит меня учиться и что если я его не послушаюсь, он будет меня подлавливать и бить в присутствии всех пацанов и что, таким образом, я потеряю весь авторитет во дворе...

Закончив эту тираду, он сказал, что все ноты у Марии Михайловны Гринер и что сейчас мы пойдем учить слова и распеваться к нему домой...

На экзамен я надел свое парадное “х/б”, предварительно подшив свежий подворотничок, намотал совершенно чистые (и даже новые!) портянки, вымыл предварительно ноги, причесался и пошел на встречу с Валькой. Вот только все бумаги с названиями исполняемых песен и текстами – забыл дома. Во дворе встретившийся мне пацан сказал, что Валька ждет меня в консерватории. В это время вышла из дверей дворничкой дворничихина дочь Верка. Верка была здоровая, красивая женщина лет тридцати. О том, что я иду сдавать экзамен “на артиста”, уже знал весь дом и, конечно же, Верка тоже. Она бросилась ко мне, начала обнимать, целовать, поправлять на мне одежду. А я давай вырываться и кричать ей:

– Та ты шо, Верка! Сдурела, что ли?! Шо я тебе – ухажер какой-то?! Сумасшедшая баба! Ты своих хахалей тискай, а не меня!..

А она говорит, мол, дурачок, не брыкайся, как молодой жеребенок, я тебе же добра желаю, и, говорит, все равно не отпущу, пока сапоги не почищу: смотри, мол, совсем серые от грязи...

Ну, зашли мы с ней в дворничкую, она достала щетки, тряпки и большую стеклянную банку с каким-то мазилом. Говорит, мол, батя ее всегда этим чистит, давай и ты чисть. Ну, почистил я сапоги, а Верка рядом стоит и чего-то носом своим крутит. А потом говорит: я тебя, мол, сейчас побрызгаю “Карменом”, еще с довойны остался. Ну, вылила она на меня почти полфлакона и, подтолкнув в спину, сказала: “Ни пуха!” А ходу там было три минуты.

Захожу в коридор, так сказать, консерватории, а там... Мальчики и девочки, с мамами и бабушками, девочки все сплошь в крепдешинowych платьях, переделанных из маминых довоенных нарядов, да в белых балетках, как будто бы уговаривались одеться одинаково. Что у них было разное, так это бантики – у одних в косах, а у других просто как подвязка для волос, но только разных цветов и конфигураций. Что касается мальчиков, то несмотря на то, что обувь у всех была разная, брюки – разномастные, но пиджаки и галстуки-бабочки были почти у всех. В своем “х/б” и в кирзовых сапогах я был один и в таком гордом одиночестве подждал Вальку.

Вся публика “кучковалась”, подозрительно поглядывая в мою сторону и громким шепотом переговаривалась между собой:

– Ты что готовил? У меня ария Виолетты пошла, хотя в портфеле есть еще “Чио-Чио-сан” Пуччини...

– Ну а я, ты ведь знаешь, хочу спеть арию Канио из “Паяцев” Леонкавалло, и, конечно, у меня тоже в портфеле кое-что есть...

В это время подошел Валентин и говорит, что, мол, не дрейфь, тебя вызовут вторым или третьим. А я ему говорю, что как же тут не дрейфить: здесь же одни пижоны, поют каких-то пучини или онковало. Кроме того, у них еще что-то там в портфеле есть, а у меня и одежда не та, и не то что в портфеле, а и самого портфеля-то нет...

Валька улыбнулся, сказал, что все будет “класс”, а затем дал мне “расклад” приемной комиссии.

– Главный там – однорукий фронтовик, бывший майор. Как увидишь кого с орденами – это он. До войны где-то преподавал народные инструменты, а сейчас он тут парторг и председатель комиссии. Второй мужик, секретарь комиссии, говорят, при оккупации немцам в кинотеатре играл, сейчас преподает по классу фортепиано. Ну, а три бабки – это преподавательницы, одну из них ты знаешь. Это Мария Михайловна Гринер, соседка наша. Значит, так: стучишь в дверь, заходишь и представляешься – мол, такой-то и такой-то прибыл для сдачи вступительных экзаменов. Да, еще вот что: названия песен, имена авторов и тексты можешь считывать с листа. Кстати, где твои бумаги?..

В этот момент, не дождавшись моего ответа, Валентин вдруг закрутил носом, стал поглядывать из стороны в сторону и сказал:

– Тут совсем дышать нечем, да еще и духман такой, что хоть стой, хоть падай. Интересно, от чего это?

И тут в приоткрывшуюся щелку двери выкрикнули мою фамилию. Я постучал и, не дождавшись ответа, вошел в класс; от двери до стола комиссии я прошагал строевым шагом, а затем достаточно громко произнес, что, мол, абитуриент такой-то прибыл для сдачи вступительных экзаменов. Услышав мою тираду, вся комиссия, по-моему, обалдела, а Мария Михайловна сказала:

– Мне говорили, что у него баритональный тенор. Абсурд! По-моему, у него в лучшем случае бас, если не какой-то, прости меня, деточка, рык. А кто тебе сказал, что нужно так сильно р-ры... извини, кричать? Надо говорить спокойно и петь спокойно, конечно, если есть чем петь и есть что петь...

– Та ничо́го страшнóго не стряслося, – вмешался парторг, – тож він в перший раз. Иди, сынку, до роялю, а вы, Ніно Петрівно, будь ласка, закомпануйте йому...

К роялю подошла такая маленькая субтильная старушка, головка вся в беленьких букольках. Платье на ней было черное, с какими-то оборочками, кружавчиками и прочими причиндалами, которых я вообще-то давно не видел. Подходя к роялю, попутно она взяла ноты у Марии Михайловны – как я понял, мои ноты.

Она ободряюще посмотрела на меня и сказала:

– Ну-с, что будем петь, молодой человек? С чего начнем?

Поскольку, как вы помните, я все бумаги оставил дома, то принял решение исполнить в первую очередь песню о Красной Армии. Надо было спеть два куплета и припев – всего делов. Когда я объявил о своем желании, концертмейстер как-то так тихонько, как бы в нос, сказала, что песня строевая, хоровая, а никак не конкурсная. На что председатель комиссии заметил:

– Нехай хлопець співає. Вы ж не сбивайте його... Давай, сынку, співай.

Аkkомпаниатор дала аккорд, и я запел выбранные по памяти куплеты, среди которых был куплет с такими словами: “Нас повел в наступление Сталин, до Берлина дошел наш солдат”.

Смолкли звуки песни. Члены комиссии молчали, ожидая объявления моей следующей вещи. Долго не думая, я объявил, что спою про товарища Сталина. Аkkомпаниатор на председателя такой взгляд бросила, что он должен был бы со стула упасть. Но председатель-фронтовик, человек закаленный, со стула не упал, а велел назвать композитора. А я говорю, что композитора не знаю, а песня называется “На просторах Родины чудесной”. Председатель опять сказал “хай співає”, а, мол, “Ніна Петрівна хай підбере мелодію”. Ну, последовали аккорды, я запел, пропел и завершил: “Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет...”

Все молчали, только бабулька так обреченно спросила: что, мол, и третья будет про товарища Сталина? А я говорю:

– Ага, я про товарища Сталина много знаю. Вот, например, казахская, “Паровоз” называется: “Здравствуй, вождь, здравствуй, Сталин, здравствуй, наш отец родной”. Или вот украинская – “Два сокола”...

Но тут председатель, перебив меня, сказал, что, мол, хватит перечислений, и не готовил ли я народную. Ну, я говорю, что, конечно, есть и народная. А так как ноты у бабульки были, то я благополучно спел “Ой, чого ж ты, дубе, похилився”.

После окончания моего выступления затянувшуюся паузу нарушил секретарь комиссии. Он сказал, что, дескать, абитуриент наш, то есть я, в заявлении не указал свою национальность. А председатель вдруг обозлился:

– Ну при чому тут, – говорит он, – та національність, колы це наш хлопець – патрійот и фронтовик? Чи вам не нравляться пісни про товарища Сталина? Дз йому було вчїтися другим пісням? Вы думаете, я не бачу, що вы за люди?..

Секретарь комиссии покраснел, стал запинаться и говорить, что он, дескать, ничего ко мне не имеет и даже более того...

А Мария Михайловна Гринер сказала, улыбнувшись, что с удовольствием будет меня учить вокалу. Председатель тоже улыбнулся, поднялся

из-за стола, подал мне свою единственную руку и сказал на чистом русском языке:

– Это тебе сегодня такая поблажка. Репертуар певца состоит не только из песен про товарища Сталина (он оказался не так прост, этот председатель), классику нужно знать обязательно. А теперь, сынок, поделись своим секретом: где ты такой замечательный гуталин достал? Может, и я помажу, так в квартире все тараканы подохнут...

Все дружно засмеялись, вернее – захохотали, а я, поклонившись, вышел в коридор, красный, как вареный рак. Ко мне бросились и Валька и “пижоны”, затрясли меня, перебивая друг друга вопросами:

– Что так долго? А что там было такое? Чего они хотели? Ну, как там?..

А я им сказал, что, мол, братцы, полный порядок. А вот чего они смеялись – так откуда же я знаю? Вот, мол, зайдете, так сами поймете или, вернее, унюхаете...

Так я поступал в вечернюю консерваторию на улице Короленко, которая, через проходной двор, была в ста метрах от моей Тарасовской.

Даниил Мирошенский

Старый дом

Идет под снос старинный дом.
Кому печалиться о нем,
Как не жильцам или поэту?
А дом с раздробленным крылом
Орлом распластан над двором
И воронье кричит победу.

Наверно, кто-то поспешил,
Очаг старинный потушил,
И кто-то грубо стекла выбил.
Он, видно, для себя решил,
Что ближе к области души
Пустых глазниц сухая выбель.

И печь былого изразца
Лежит, как документ истца,
Кляня опалу и разруху.
И, недобиты до конца,
Ступени бывшего крыльца
Уже теряют чувство слуха.

Идет под снос наш старый дом.

Ночное

Бессонные ночи... Куда от них деться?
Я вновь возвращаюсь в забытое детство,
И светят во тьме угольками глазенки,
Когда я меняю в кроватке пеленки.

Вдыхаю дыхание дочки сопящей,
И нет ничего ароматней и слаще,
И, теплое тельце к себе прижимая,
От нежности тихо слабею и таю.

Я верую в счастье, простое, земное,
Оно для меня и придумано мною,
И лик моего божества – триединый,
Молюсь на жену я, на дочку и сына...

Предотъездное

Хочу тебя предостеречь:
Ведь там, в стране иной,
Чужая нам родная речь
Не станет вдруг родной.

И если мы туда сбежим –
А мы туда сбежим, –
Мне кажется, чужой режим
Окажется чужим.

И остается выбирать
На этом рубеже:
Где нам еще не умирать
И где не жить уже...

гор. Кишинев, 1989

* * *

Если будет все *барух ха-Шем*,
Не отменят чартерные рейсы,
С обновленной верою в душе
Я в Израиль прилечу на Песах.

На земле великих мудрецов,
У истоков Ветхого Завета,

Соберемся мы в конце концов
И восславим Господа за это.

И когда мы соберемся все
И безумный гнев врагов остынет,

Вот тогда закончит Моисей
Выводить евреев из пустыни.

1990

Борис Рабкин

Биография

Красные знамена, шарик, портреты.
Где ж ты, наша юность, крыши, подворотни,
Девочки шальные, песни до рассвета,
Море удовольствий и зарплаты сотня?

Синие погоны, ласковое небо,
И сержанта морда утром на поверке.
Где ж ты, наша молодость, пайка масла с хлебом,
Сахар под подушкой и письмо в конверте,

Платные сортиры, бомжи на помойках,
Путчи и границы, офисы и банки.
Растворилась взрослость в буднях перестройки –
Свастика на куртках, на проспектах танки.

Кактусы и пальмы, ссуды под проценты,
Азбуку, как дети, в школах изучаем.
Так приходит зрелость и, сместив акценты,
Просто вынуждает все начать сначала.

Детские площадки, внуки на качелях,
Пенсии с надбавкой и хвосты машканты.
К нам крадется старость – это не смертельно.
Разве испугает старость эмигрантов?

У черты

Я почти что дошел до черты,
За которой – уход в никуда.
Здесь уже не наводят мосты,
Здесь уже не горят со стыда.

Здесь уже не считают часы
И не верят, что в мире есть Бог,
И не чувствуют взглядов косых,
А подводят печальный итог.
Я почти что у самой черты:
Что во мне – то уже не мое.
Я – пустой средь таких же пустых.
За чертой, как и в жизни, – вранье!

Евреи

Я не проникся – Бог мне в том судья –
Менталитетом местным.

Не жалею,
Что здесь мы не совсем одна семья:
Ведь нас роднит лишь то, что мы – евреи.
Своя культура. Свой родной язык.
Иврит не может стать родным так быстро.
Своя еда и свой, простите, “бзик”,
Своя одежда и свои министры.
Нас можно причесать и поглотить,
Но вряд ли будет толк – мы станем злее.
А что опасней в мире может быть
Тщедушного, но злобного еврея?

Восток

В твоих глазах младенческий восторг,
Невинность в сочетании с соблазном.
Ты постоянен, представляя разным,
Великий древней юностью Восток.
Ты – дикая безудержная страсть,
Сметающая все перед собою,
Дыханье учащенное прибора,
И руки, не дающие упасть.

Ефим Тайберт

Сысой Сысоевич

Из цикла “Дальневосточные рассказы”

К литературе в детстве у меня появилась какое-то потребительское отношение. Как-то само собой присочинялось к Пушкину:

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской
Несет нам торбу с колбасой.

Но вот наконец-то осуществились мечты гурмана. Закончилась война, и мать, как обещала, сразу после войны устроила нам пир.

Передо мной, так же как и перед братьями и сестрами, стояли большие алюминиевые миски с похлебкой, в которой плавали не только листочки лободы, растущие в большом количестве возле сарая, но и пшено, которое можно было при желании пересчитать, картошка, аппетитно разварившаяся почти без остатка, – все это было заправлено молоком. Пары от этого супа так дурманили нам головы, что создавалось лирическое настроение.

После такого хорошего начала дня я по деревянной мостовой побежал до шоссеиной дороги, затем остановился отдышаться: в животе что-то неприятно все время булькало, и так до самой школы.

Школа встретила меня как всегда шумно. В классе тоже без изменений. Никуда не сбежал висевший уже три года плакат, на котором в виде скелета был изображен Гитлер с наганом, гладивший другой рукой ягненка. Внизу на плакате почему-то запомнилась надпись:

...Гитлер добрый человек,
Заказал себе медаль.
Ему зарезанных овец
и барашек очень жаль.

Ему не нужна кровь овечья,
ему нужна – человечья...

Ну, и куда, конечно же, не убежала от меня и новость. К нам приехал... нет-нет, не ревизор, а новый учитель русского языка и литературы. Лицом похож он был не то на корейца, не то на чукчу, может, на коряка, а звали его – Сысой Сысоевич.

У Сысои Сысоевича были узкие, вечно смеющиеся глаза, гладко причесанные волосы, тронутые сединой, и неповторимая чарличаплинская походка.

Сразу же, не давая нам опомниться, что, несомненно, говорило о его большом опыте, Сысой Сысоевич навел порядок в классе, и даже более того: ему в дальнейшем удалось своим дотошным занудством заставить нас трепетать перед ним.

Пробелы в наших познаниях литературы он решил восстановить немедленно, как будто от этого зависело все в нашей дальнейшей жизни.

Были, конечно же, на него жалобы некоторых родителей. От одних шли хорошие отзывы, но были и такие, что говорили приблизительно так: “Нам что корейцы, что коряки – все до ср...и, лишь бы учил хорошо и в руках держал”.

Когда за неделю перед летними каникулами Сысой Сысоевича впервые увидели “под мухой”, никто не обратил на это особого внимания. С кем не бывает.

Лето пролетело быстро и незаметно. Сысой Сысоевича мы долго не видели. Начало учебного года тоже не обошлось без сюрприза: Сысой Сысоевич вместо урока пропел нам “Бежал бродяга с Сахалина...”

Из его узких глаз по щекам катились слезы, и нам казалось тогда, что учителю было жаль бродягу.

Дальше пошло все по программе. Сысой Сысоевич много читал, рассказывал сам и заставлял нас читать наизусть стихи и басни Крылова. Тут-то из-за басен, которые мне очень нравились, начались у меня с учителем разные недоразумения. В отличие от многих ребят, я картавил. Когда дело дошло до лисицы, сыра и вороны, дело совсем разладилось.

Из красивых узких глаз Сысои Сысоевича исчезла улыбка. Он начал меня перекиривлять. Он находил меня даже на улице. Увидит, поманит пальцем и спрашивает: “Ну так как, будем знать басни Крылова или нет?” При этом он так прицеливался своими узкими глазами, как будто хотел попасть белке в правый глаз. А когда начинал поправлять: “Да не каккнула, а карррркнула во все воррронье горррло!” – меня сначала бросало в жар, потом в пот, затем в

дрожь и тянуло в туалет. Таким образом, один из любимых предметов я стал ненавидеть.

Как-то Сысой Сысоевич в очередной раз пришел на урок подвыпившим. Взглядом хозяина он осмотрел класс. Увидев меня на последней парте, неожиданно сказал:

– Встань и повторяй за мной.

Я встал и почувствовал, как дрожат мои коленки и очень хочется по-маленькому.

– Повторяй за мной: крошка, крыса, кукуруза, Кремль, Аррарат...

Больше всех за меня переживал мой друг Борька. После занятий он предложил пойти вместе к нему домой и все обдумать.

Я часто бывал у Борьки. Но почему-то именно в тот раз я почувствовал какой-то запах в сенях. На мой вопрос Борька ответил уклончиво:

– А, не обращай внимания! Это уже давно киснет, бродит и перебраживает голубика. Матери все некогда ее выбросить. Отец когда-то делал вино из голубики. Засыпал бочку, а его забрали на войну. Вот так она и киснет. Много раз бродила, шипела и пенилась.

Мы сняли с бочки тряпку. В нос ударил острый запах прокисшего вина. Сверху толстым слоем в пятьдесят-шестьдесят сантиметров просматривалась розоватая жидкость, а на дно осел тридцатисантиметровый слой муть.

Про эту бочку с “вином” на следующий день мы могли бы уже и не вспомнить, но на большой перемене зашел разговор о Сысое Сысоевиче. Один из учеников прямо так и сказал:

– Не пьет Сысой Сысоевич не потому, что не хочет, а потому, что не за что пить.

– Давай, – говорю я Борьке, – наберем Сысое Сысоевичу вина из бочки.

– Да ты что! – возразил Борька. – Вино же не готово еще.

– А сколько лет ему готовиться надо? – сказал я. – Разве пяти лет недостаточно?

Так сидели мы с Борькой, подперев подбородки, и думали.

– Хорошо, – встрепенулся Борька, – согласен. Только давай сначала проверим на петухах. Если не сдохнут, дадим вино Сысое Сысоевичу.

– Но у нас нет петухов, – возразил я.

– С тобой просто невозможно договориться! – горячился Борька. – Нет у нас, так найдутся у других.

Наконец мы пришли к общему знаменателю и, засучив рукава, направились к бочке.

Борьке как хозяину досталось право шарить по днищу и искать там

ягоды для петухов. Но с годами голубика перегорела, и на дне можно было найти лишь шкурки от нее.

Тщательно размешав хлеб со шкурками голубики, мы стали подбрасывать “бутерброды” соседскому петуху. Но этот чертов петух оказался джентльменом. Он разорался так, что сбежались куры, и лишь тогда он вместе с ними решил пообедать. Нам никто не мешал. Все находились на работе. Где-то через полчаса мы стали наблюдать интересную картину... Опыневшие птицы качались, как пьяные мужики на базаре, переминаясь и припадая то на одну, то на другую ножку.

Мы дико хохотали. Эксперимент удался!

Вина решили набрать, как только уляжется поднятая нами муть.

Теперь встал вопрос доставки. Подложить в портфель – заметят другие и донесут. Положить в учительский стол? Могут начаться расспросы: кто да что?

Помог случай. Была объявлена экскурсия в лес вдоль реки Бира, и мы с Борькой заготовили “подарочек”.

Тщательно, чтобы не замутить жидкость, мы набрали большую бутылку вина и закупорили ее пробкой.

На привале, выбрав удобный момент, я незаметно подложил бутылку под курточку Сыся Сысоевича, лежавшую на траве.

Взобравшись на высокую сосну, мы с Борькой стали наблюдать...

Обнаружив бутылку и убедившись в том, что его не видят, Сысой Сысоевич проверил содержимое бутылки.

Когда дело подошло к обеду, ребята развернули свои пакеты, а Сысой Сысоевич время от времени прикладывался к бутылке.

– Ну, – воспрял духом Борька, – если выживет, сплавим ему все вино. Вот только бутылок, жаль, нет.

На бутылках-то мы и погорели. Через денька два после этого случая пришли мы с Борькой к нашему товарищу Семке и попросили бутылку. Семка нам бутылку дал, но была она какой-то странной формы.

Сысой Сысоевич, как-то раз побывавший у Семки, случайно приметил в сенях на полочке эту бутылку. А была она из-под знаменитого французского коньяка. Так, по цепочке, через Семку, он добрался до нас.

Но, как ни странно, Сысой Сысоевич нас не ругал. На нем был весь измятый старый пиджак. Его башмаки, как говорили ребята, просили каши. Был он какой-то опустившийся, жалкий и уже ничем не напоминал прежнего грозного учителя.

– Откуда вино? – спросил он.

– Из бочки, – ответили мы робко, но дружно.

– А мать знает? – поинтересовался учитель.

– Знает, что есть, только оно ей не нужно, – разоткровенничался Борька.

Сысой Сысоевич задумался, потом обратился к Борьке:

– Ну, раз матери оно не нужно и если вам не трудно, принесите еще, только чур – между нами. А бутылок я вам дам.

Теперь Сысой Сысоевич приходил в класс пьяным каждый день.

Люди недоумевали, откуда это у него столько денег на водку, если он уже давно все распродал из своей квартиры и от него, вдобавок ко всему, ушла единственная дочь.

К ученикам он перестал придирааться, а на меня с Борькой стал смотреть ласково. Мы с ужасом думали, что будет с нами, когда кончится вино.

Но волнения наши оказались напрасными.

Однажды Сысой Сысоевич, войдя в класс пьяным, не заметил сидевших на задней парте проверяющих из горono.

А в нашем классе, подпирая деревянный потолок, стояли два столба.

И Сысой Сысоевич, который весь урок прикладывался к бутылке, под конец обхватил столб двумя руками и запел, так что было слышно лишь одно слово: “Саа-хаа-али-аа-на...”

Когда его уволили, мы радовались как дети. Потому, наверное, что были мы детьми.

Мы не могли понять, да и просто не могли знать, что впервые пришел Сысой Сысоевич выпившим в класс, когда вел переписку с госпиталем, где лежал его тяжело раненный сын. Двое же других сыновей погибли еще до этого.

В тот день, когда он просил нас приносить ему вино, на его столе уже лежало сообщение о смерти сына.

Фаина Дибнер

“Чтоб ты покушал...”

– Яша! Чтоб ты покушал... – с этими словами Броня, в сопровождении двух милиционеров, покинула пределы нашей коммунальной квартиры. Соседи онемели. А ее “гражданский муж” Яша беспомощно озирался вокруг. Глаза его рассеянно блуждали, а губы беззвучно шевелились. И вдруг, прижав обе руки к груди, он начал медленно оседать на пол. Их “медовый месяц” кончился. Швея фабрики им. Горького Броня попала в тюрьму.

Сидела она недолго – что-то около полутора месяцев. Потом перед ней скупно извинились и отпустили домой. Но Яшу она уже не застала. С инфарктом его отвезли в больницу, а оттуда – в тюрьму. Яша был закройщиком цеха, в котором работала Броня.

...Броня и Яша родились в местечке Хабны. Они любили друг друга с детства. Но Яшу забрали в армию, а Броню выдали замуж за совершенно чужого ей человека. Два месяца прожила она в браке, а потом ее муж тоже попал в армию, где и погиб. Пятнадцатилетняя вдова поехала на заработки в Киев и стала домработницей. Так и пролетела ее молодость по чужим домам.

А потом была война. И там, в эвакуации, Броня снова встретила Яшу. Он располнел и полысел, был давно женат и имел двоих детей. Яша никогда не был красавцем. Обыкновенный еврей, совершенно необразованный, главной чертой которого была доброта. И еще – у него были родные глаза. В них вставали виды далекого местечка Хабны и плавали тени давно ушедших родных. И она, одинокая душа, потянулась к нему всем сердцем...

Они встречались тайком. Каждый раз она горько корила себя за радость встречи и обещала себе: “Ну еще один, последний разочек...” Он был женатый мужчина, и она чувствовала себя грешницей, воровкой, распутницей. Но каждый раз, каясь, молила Б-га об еще одной – всего одной, Господи! – последней встрече!

– Господи! – шептала она жаркими бессонными ночами. – Прости меня, грешницу! Пусть мне будет за него! Ты же знаешь, какое у него боль-

ное сердце! Его жена всю жизнь помыкала им – он терпел ради детей и все ей прощал. Дети уже выросли, но он никогда не сможет разорвать этот круг. А у него так мало было в жизни счастья. Дай же ему хоть немножко радости, ведь я так люблю его!..

И с этой искренней своей молитвой она ложилась и вставала.

Так продолжалось более двадцати лет. Каждая их встреча была сладкой, как первая, горькой, как последняя, короткой, как одна ночь.

Он приходил к ней раз в неделю – в ночь с пятницы на субботу. Это был единственный день, когда его законная жена уезжала гостить к сыну.

По давно заведенному ритуалу Броня торжественно принимала ванну, надевала длинный шелковый халат, золотые часы, обручальное кольцо и золотистые янтарные бусы – все подарки Яши... А в своей крошечной кладовке без окна стелила хрустяще-крахмальную постель, душилась одеколоном “Красная Москва” и красила губы карминной помадой. И в нашей большой коммунальной квартире никто не осуждал их – все уже давно поняли, что это уже нечто большее, чем просто плотская связь. Вся квартира замирала, когда из чисто выскобленной кладовки, в янтарных бусах и с обручальным кольцом, торжественно выплывала Броня, высоко неся свою рано поседевшую голову с бутылочками локонов. Броня, сияющая глазами, губами и всей разом молодеющей кожей своей. Женщина, живущая от встречи до встречи в недельном ожидании Любви...

Только один месяц в жизни они не расставались ни на миг. Яша, после двадцати лет тайных ночей, решил наконец взять Броню с собой в Ялту.

Они садились в разные вагоны. Потому что Яшу пришла провожать вся семья. А Броню никто не пришел провожать – некому было.

И только через три часа, когда отъехали уже достаточно далеко от Киева, Яша решил наконец дать “на чай” проводнику и купить для себя и Брони два билета в общем вагоне.

И она, счастливая, впервые открыто надела подаренное им втайне золотое обручальное кольцо, с маленькой вмятинкой посередине...

Они были очень счастливы весь этот знойный август – первый и последний медовый месяц в своей жизни. Возвращались опять порознь: ведь Яшу могли встретить. И соседи лишь понимающе покачивали головами, когда Броня, вся покрытая совершенно шоколадным крымским загаром, наивно уверяла их, что провела этот месяц у племянницы в Овруче.

А потом пришла пятница, и в дверь шагнул совершенно такой же загорелый, белозубо сияющий Яша.

...В ту же ночь Броню забрали в тюрьму. Эта ночь уже действительно была последней! Сбылась наконец ее молитва о “последней ночи” и “чтобы мне было за него”...

В цеху, где работала Броня под началом закройщика Яши, бдительная

комиссия нашла какие-то злоупотребления. Что умудрялся выкраивать себе Яша – так и осталось тайной. Броня не выкроила себе ничего. Она просто молча села вместо него в тюрьму, потому что берегла его такое доброе и такое больное сердце. И честно отсидела вместо него, пока милиция раскручивала “Дело об утечке сатина на ф-ке им. М.Горького”.

Когда ее – седоголовую – с позором выводили из квартиры два безусых конвоира, она не пролила ни слезинки. Только очень тихо так и внятно произнесла:

– Яша! Чтоб ты покушал! В холодильнике стоит бульон.

И все...

Потом Яшу все-таки посадили.

И Броня, которая пряталась от его семьи более двадцати лет, вдруг решилась открыто прийти на суд. Как они бежали друг к другу – совершенно поседевшие, измученные разлукой...

Его жена и дочь на суд не пришли. Был только его взрослый сын, с болью глядевший на эту страдавшуюся пару.

...Яша умер в лагере от второго инфаркта. В кармане его робы нашли письмо, начинавшееся словами: “Здравствуй, родненькая моя женушка, солнышко мое, Брошечка моя...”

На похороны Яши его сын привез Броню. Привез после того, как жена и дочь хоронить “зэка” отказались. И разом осунувшаяся, теперь уже навечно постаревшая Броня в черном вдовьем покрывале сидела у могилы. “Вот настоящая, законная жена моего отца!” – сказал сын шархнувшимся было родственникам.

Простите нас, Броня!..

Михаил Бриман

Декабрь в Хайфе

И здесь зима подобна смерти,
Мучительной и неопрятной:
На тротуарах, как от нефти,
Маслин, с олив упавших, пятна.
И сосны шепчут мне бесстыже –
Иль в равнодушии печальном, –
Что не зеленым был, а рыжим
Их жесткий волос изначально...
Одни деревья духом пали –
И, не противясь смерти, разом
Так плотью листьев исхудали,
Что стал скелет доступен глазу.
Но есть и те, что не согласны
Без солнца жить, тепла и света
И протестуют ярко-красным,
Сиреневым и синим цветом.
И смерти им ответить нечем:
Они, не требуя отсрочки,
Выстреливают ей навстречу
Новорожденные листочки...
Деревья эти в час затмения
Творила, может быть, природа,
Но нет сомненья, нет сомненья,
Они – подобье, повторенье
Меня родившего народа.

* * *

А дни мои –
как будто листья

на ветках древа бытия.
Их Бог давным-давно исчислил,
но счет Его не знаю я.
Назвать мы Господа не просим
срок обнажения ветвей.
Одно лишь знаем:
листья в осень
летят быстрее и кучней.
Так густо падают,
что каждый
листок уже не разглядеть.
А нам бы взвесить
хоть однажды
тех листьев золото и медь.
А нам с одним уйти в сторонку,
в несуетную благодать,
чтоб зубчики листка по кромке
впервые в жизни сосчитать.
Чтоб рассмотреть спокойно вены
и почерневший черенок...
И вдруг понять,
что он бесценный –
упавший с дерева листок.
И тут спросить:
– Какого черта
я лишь сейчас люблюсь им –
уже засохшим, полумертвым,
а не когда он был –
живым?..

Нина Ечмаева

Город взрыва

Гудят истошно полицейские сирены,
Хрустят под шинами раздробленные стекла,
Торчат автобуса обугленные ребра...
Вся в черном погребальная команда
Ведет свой скорбный, свой кошмарный счет;
Седой старик в кипе кричит: “Доколе,
О Боже!”

Вот девочка лежит, раскинув руки,
А завитки ее волос в кровавой луже,
Как перышки в крыле убитой птички,
И голубое небо стало черным
В ее остановившихся глазах,
И рот ее открыт в беззвучном крике:
“За что?!”

Зачем ее рожала мать в безумных муках
И целовала пальчики на ножках,
И плакала, когда она болела,
Чесала гребнем шелковые кудри
И радовалась первому зубочку,
И счастлива была, впервые слыша “Мама”, –
Зачем?

Вы люди или звери? Нет, вы люди,
Ведь зверь детенышей своих не убивает,
Но в ваших жилах вместо алой крови
Расплавленная ненависть кипит –
Ей в жертву вы приносите детей,
Детей невинных и неповторимых.
Убийцы!

Я собиралась описать цветочки
И бабочки весенней пробужденье,
И птичью трель на утренней заре,
А вот о чем пришлось мне написать...
Иерусалим, Иерусалим, ты город мира?
Ты город плача, город взрыва,
Иерусалим...

* * *

Отлетают пальцы от клавиш,
Словно капли дождя от камня,
Словно градины от гранита,
Лишь едва прикоснувшись к нему.

По какому-то сверхзакону –
Мы его еще не постигли –
Отлетают души обратно,
Лишь на миг прикоснувшись к Земле...

Валерий Коган

Поговори со мной

Скалясь радиатором и слепя глазами-фарами, огромный грузовик стремительно надвигался, ужасая своей неумолимостью и безжалостностью. Спасти, убежать не было ни времени, ни сил. Непослушное тело отяжелело, ноги увязли в асфальте, руки безвольно повисли, лишь глаза еще жили, прикованные немеющим взглядом к темному стеклу. Последняя секунда длилась вечность. Безмолвная махина закрыла небо с погасшими звездами и словно замерла на мгновение перед тем, как обрушиться всей своей многотонной тяжестью, смять, вдавить, уничтожить...

Ночь взорвалась оглушительным звоном. Грузовик отпрянул и растаял вместе с кошмарным сном. Виктор открыл глаза, медленно привыкая к своей комнате. Нехотя возвращалось чувство безопасности, но пережитый ужас еще таился в каждой клеточке тела, наполняя его дрожью и тревогой.

Звон повторился. Телефон требовательно звал к себе, заставлял подняться, подойти, снять черную блестящую трубку.

– Алло, – сказал Виктор, не узнавая своего голоса. Где-то на линии играло радио. И – больше ничего.

– Я слушаю, – сказал Виктор. И снова в ответ – молчание.

Трубка медленно легла на место. Виктор взглянул на часы, кошачьими глазами светящиеся на столе. Четыре нуля, разделенные мигающими точками. Нули завораживали, притягивали взгляд, в их округлости было что-то фатальное, затаившаяся частица ушедшего сна.

Проклятый сон. Он приходил почти каждую ночь вот уже месяц с того рокового дня, когда этот или такой же грузовик перечеркнул его жизнь, отняв у него Юльку.

Был зимний вечер девяносто третьего дня после их свадьбы. Они шли по пустынной улице, светлой от легкого, пушистого снега, поскрипывающего под ногами. Юлька что-то рассказывала, смеясь. И внезапно – рев мотора, слепящие огни, будто выстрел в упор...

Удар отбросил его к стене дома, он упал, но тут же вскочил. Красные огоньки, шарахаясь от края до края дороги, уносились в темноту. Рядом,

всего в двух шагах, лежала Юлька, но она была уже далеко, и снег вокруг почернел от брызг крови.

Когда боль достигает верхнего предела, организм перестает ее ощущать. Шок – это защитная реакция организма, не будь его, человек умер бы от боли. Виктор не умер, он продолжал жить, но душа его онемела, и жил он, словно и не человек вовсе, а механическая кукла, неизвестно кем заведенная и пущенная в мир. Он ходил на работу, что-то делал, жил, подчиняясь определенному распорядку, а ночь снова и снова возвращала его к той черте, которую нужно было переступить, чтоб жить дальше. Но сделать этот шаг недоставало сил.

На часах ноль сменила единица. Опять зазвонил телефон. Виктор снял трубку.

– Алло...

– Витя... – словно могильным холодом повеяло в комнату. Юлькин голос, единственный и неповторимый, звучал рядом и, вместе с тем, доносился будто из невообразимой дали.

– Юлька... – слова застревали в горле. – Юлька, ты ведь... – и умолк, не в силах выговорить это страшное слово.

– Витя, поговори со мной. Мне так одиноко!

– Мне тоже, Юлька.

Тишина густо заполнила комнату, не давая словам разлетаться, и они, едва родившись, исчезали в утробе телефонной трубки. Виктор не замечал ничего вокруг, поглощенный Юлькиным голосом, забывая о странности и нереальности этого разговора, с виду такого обычного и будничного.

О многом было переговорено. Юлька спросила:

– Брюки ты забрал из химчистки?

– Еще нет. Забыл.. – При чем здесь брюки? Господи, о них ли думать?!

– Завтра выходной, схожу заберу.

– И грязную посуду не оставляй на столе, – продолжала Юлька.

– Хорошо, – Виктор вспомнил, что стол на кухне действительно завален грязными тарелками.

– И уборку завтра сделай.

– Сделаю, – покорно соглашался Виктор, отгоняя мелькнувшую на мгновение мысль о невозможности происходящего.

Разговор закончился внезапно.

– А теперь ложись спать. Все будет хорошо, – сказала Юлька, и телефон умер.

Едва коснувшись подушки, Виктор провалился в блаженный сон без сновидений.

Кончилась ночь, наступило утро, день добрался до середины, когда

Виктор наконец открыл глаза, чувствуя легкость и спокойствие, каких не испытывал, кажется, уже много лет. Полночь вспомнилась далеким сном, нереальным, но приятным. Телефон обтекаемо сверкал на письменном столе, его шнур скользнул на пол, свернулся кольцами, выставив взлохмаченные концы оголенных проводов. Виктор вспомнил, как на второй день после похорон он сам вырвал провод из розетки, будучи не в силах отвечать на соболезующие звонки друзей и знакомых, которые вновь и вновь приторными голосами напоминали ему об утрате.

Мытье посуды и уборка заняли весь остаток дня. Ложась спать, Виктор мысленно отметил, что данные Юльке – пусть во сне – обещания он выполнил, и теперь ждал продолжения сна, как встречи после долгой разлуки. Он почему-то был уверен, что продолжение обязательно будет.

Были дни и были ночи. Жизнь разделилась надвое. День заполняли какие-то дела, работа, встречи – все это казалось мелким, несущественным, лишь подготовкой ко второй части жизни – ночной. И приходила ночь. Звонил телефон с оборванным проводом, и в трубке звучал родной Юлькин голос. За этот прекрасный сон Виктор готов был отдать всю дневную жизнь.

Но однажды, недели через две, звонок застал Виктора на кухне, где он допоздна возился, ремонтируя газовую колонку. Бросился к телефону, схватил трубку и похолодел. Он вдруг понял, что это не сон. Что-то внутри содрогнулось и затрепетало. Одно дело знать, что разговор с призраком происходит во сне, и совсем другое – когда потусторонний мир вторгается в реальную жизнь.

– Юлька, – сдавленным голосом едва выговорил Виктор, безуспешно пытаюсь унять дрожь. – Я думал, сон... Так не бывает...

В ответ слышался смех, будто рассыпались серебряные колокольчики.

– Бывает, Витя.

– Но как же... – все слова вылетели из головы.

Голос в трубке улыбался.

– Не обижайся, Витя, но ты не поймешь. Никто не поймет... из вас... живых. Доверься мне, и все будет хорошо. Вот увидишь.

Черный идол – телефон проник в его жизнь, опутал паутиной ласковых слов, привязал, подчинил себе, требовал отчета в совершенных поступках и тайных помыслах, и не скрывать, не спрятаться, не утаить. Впрочем, Виктор и не стремился что-либо скрывать. Каждый вечер он спешил к своему кумиру, к своему Богу с жадной поделиться, рассказать обо всем.

На работе, между тем, у Виктора дела пошли как нельзя лучше. Его назначили заместителем начальника лаборатории, что не вызвало удивления у сотрудников, хотя еще пару месяцев назад могло показаться совершен-

нейшей нелепостью. Все заметили происходящие с ним перемены, но, конечно, об их истинных причинах и помыслить не могли. Решили: мол, человек потерял жену и теперь с головой ушел в работу. С горя.

В конце лета погиб начальник лаборатории. Погиб странно и нелепо: возвращаясь с работы, оступился и упал в канализационный люк, по недосмотру оставленный кем-то открытым. Виктор занял его место в небольшом кабинете рядом с лабораторией. Он еще осваивался, обживался, когда в кабинет, постучав, вошла девушка и протянула направление из отдела кадров. Виктор взглянул на листок, вызвал заместителя и поручил ознакомить новую сотрудницу с лабораторией. Он видел ее всего несколько секунд, даже не запомнил толком черты лица. В памяти остались только высокая, стройная фигура, золотистые волосы, стекающие на плечи, и широко раскрытые пронзительные зеленые глаза. Но что-то в ее облике заорожило его, и он еще долго вертел в руках листок из отдела кадров, всматривался в начертание букв ее имени Наталья. НАТАША.

Ночью Виктор впервые рассказал Юльке не все. Он утаил от нее Наташу; какое-то внутреннее чувство остановило его, и он сам не мог понять, почему сделал это.

Переполненный автобус натужно взвыл и медленно пополз от остановки. Виктор, уткнувшись лицом в чью-то куртку, ерзал спиной, пока сзади не лязгнула дверь. Через минуту, когда утряслись, удалось подняться на ступеньку выше. Виктор протиснулся вперед и вдруг услышал знакомые голоса.

Он вывернул голову и увидел рядом Наташу и Генку из его лаборатории. Они стояли к нему спиной и разговаривали негромко, но Виктор, прижатый к ним, отчетливо слышал каждое слово.

– А что, – говорил Генка, – он нормальный мужик. И голова у него варит, как надо.

– Голова, может, и варит, – отвечала Наташа. – Но ты посмотри, глаза у него пустые. Он же как робот. Ты видел когда-нибудь, чтобы он улыбался?

– Как ты не понимаешь, горе у него, – Генка объяснил это назидательным тоном, но Наташа возразила:

– Знаю, что горе, знаю, что жена погибла, но почти год прошел. Сколько можно носить траур?

Виктор понял, что речь идет о нем, и ему стало мучительно неловко, однако деваться было некуда, и он только втянул голову в плечи, боясь, что его заметят. А разговор уже переключился на другое. Генка сказал:

– Что ты сегодня делаешь? Может, сходим куда-нибудь?

Что ответила Наташа, Виктор не слышал. Автобус подошел к остановке, Виктор протиснулся к выходу и с облегчением вывалился наружу.

Снежный дождь холодной лапой хлестнул по его разгоряченному лицу. Виктор шел, не отворачиваясь от колких струй. Мысли, каких уже давно не было, бились в голове, и от них было больно. Эта девчонка... Какое она имеет право обсуждать его? Но ведь она в чем-то права... Что-то в нем изменилось, и только сейчас он начал это понимать, не осознавая толком, что именно.

Утром Виктор вызвал Наташу к себе в кабинет. Она пришла, села и смотрела выжидающе, а Виктор собирался с мыслями, не зная, с чего начать.

– Давно собирался поговорить с тобой, да все как-то времени не было.

“А ведь она красивая”, – обозначилась прокрававшаяся мысль.

– Как работа? Справляешься? – Господи, как это все глупо! Эти пустые казенные фразы... Огромные зеленые глаза смотрели на него в упор строго и внимательно. Виктор смутился, растерялся и... улыбнулся. Неожиданно для себя.

– Справляюсь. Пока получается, – Наташа улыбнулась ему в ответ, и растаял лед.

Став начальником, Виктор с работы уходил последним после того, как проверил и опечатал все помещения. Но сегодня в лаборатории горел свет. За столом, склонившись над схемой, сидела Наташа. Виктор подошел.

– Вот, Виктор Александрович, не получается, – в голосе звучали виноватые нотки, но глаза предательски выдали, они ясно сказали, что не в схеме тут дело, что Наташа ждала его. И Виктор снова улыбнулся.

– Ладно, завтра разберемся. Пойдем-ка лучше домой.

На улице моросил мелкий, холодный дождь. Наташа раскрыла зонтик.

– Идите под крышу, – сказала и взяла Виктора под руку.

Они прошли мимо автобусной остановки и пошли пешком в мутном сиянии фонарей, плавающих в мокром тумане...

...Телефон надрывно звонил, когда Виктор вбежал в квартиру и, не раздеваясь, схватил трубку.

– Где ты был? – спросила Юлька ледяным голосом.

Запахавшись, не успев еще отдышаться, Виктор выпалил:

– На свидании.

– И кто она? – из трубки ощутимо повеяло стужей.

– Ты ее не знаешь.

– Знаю, Витя, знаю, – холод обжигал ухо, проникал в голову, растекался по телу, отяжелевшему и немеющему. – Я все знаю. И о вашем ужине в кафе, и о прогулке под зонтиком, и о поцелуе в подъезде. На романтику потянуло?

Виктор молчал, потрясенный. Даже не спросил, откуда она знает. И так все ясно.

- Юлька, ты должна меня понять. Я все же живой человек... – и осекся.
- Да, ты пока живой. В отличие от некоторых. Но ты нарушил наш уговор. Ты скрыл от меня...
- Я ничего не скрывал, – возразил Виктор.
- Скрыл! – Виктор покрылся изморозью. – И я знаю, почему.
- Юлька, пойми меня, послушай...
- Нет, ты меня послушай. Эта девица должна исчезнуть из твоей жизни. Пусть уедет навсегда. Иначе... Она может попасть под машину, утонуть, может, наконец, провалиться в канализационный люк. Все может быть.

Виктор содрогнулся от страшной догадки.

- Значит, Петренко в люк... ты?
- А что в этом такого? Нужно же было тебе место освободить! Или ты недоволен?
- Но ты убила его!
- Что значит “убила”? Он просто перешел из одного мира в другой. Тебе-то какое дело? Ты только выиграл.
- Юлька, – простонал Виктор. – Я не хочу, не могу играть в эти игры. Отпусти меня, пожалуйста.
- Отпустить? – в трубке послышался смех. – Ну, нет. Ты – мой! И никуда от меня не денешься. Ты мой! НАВСЕГДА.

...Ощерясь радиатором и слепя глазами-фарами, огромный грузовик стремительно надвигался, ужасая своей неумолимостью и безжалостностью. Непослушное тело отяжелело, ноги увязли в асфальте, руки безвольно повисли, лишь глаза еще жили, прикованные немеющим взглядом к темному стеклу, за которым скалилась карикатурная пародия на Юлькино лицо. Безмолвная махина закрыла небо с погасшими звездами и словно замерла на мгновение перед тем, как обрушиться, вдавить, уничтожить...

Следы

... Ужас. Боль. Бездна. Безнадежность.

Узкий луч солнца лег на пульт. Раньше здесь был пульт. Теперь – битое стекло и обрывки проводов. Откуда этот луч?

Он хотел оглянуться, но не смог. Резкая боль пронизала все тело. Закрыв глаза и попытался сосредоточиться. Что же произошло? Медленно прокручивались в памяти последние секунды перед катастрофой.

Отделение от корабля, посадочный маневр... Все нормально. До поверхности Луны оставалось метров десять. На секунду зависли перед посадкой. Вдруг двигатели взревели, горизонт перевернулся. И – все...

С трудом удалось повернуть голову. Справа в кресле лежал скафандр. Сквозь осколки стекла на него безжизненно смотрели пустые глазницы пилота. Запекшаяся кровь, выступившая из мельчайших пор, растеклась по лицу, вскипая и застывая, и оно было похоже теперь на жуткую маску. Маску смерти.

Он закрыл глаза. “Что-то нужно делать”, – шевельнулось в голове. Нужно встать. Встать!

Встать удалось не сразу. Осторожно, цепляясь за кресло, потом за обломки пульта, он медленно поднимался. Трижды сила покидала его, и он падал в кресло, вскрикивая от боли. И вновь, выкрикивая ругательства, проклиная все и всех, поднимался.

На четвертый раз ему это удалось. Держась за стенку, он повернулся к радиостанции, надеясь на чудо. Но чуда не было. Было крошево из транзисторов, путаница проводов, в которой разобраться уже не смог бы никто.

Люк был приоткрыт. Страшный удар расколол кабину пополам, и трещина прошла через задвижку люка.

Шаг... Еще шаг к отверстию. Остановился. Толкнул крышку. Крышка качнулась. Он толкнул сильнее. Крышка поехала в сторону. Люк открылся. Но выйти уже не было сил. Он высунулся до половины и оттолкнулся. В глазах потемнело.

Пришел в себя уже внизу, рядом с аппаратом. Ныло все тело. Перевернувшись на спину, он долго смотрел в черное небо, усеянное тысячами сверкающих игл, которые впивались ему в глаза. И вдруг по небу прокатилась звездочка, очень яркая и такая близкая! Корабль. Там люди, там жизнь. А здесь – смерть. Но нельзя об этом думать. Надо вставать.

С первого взгляда стало ясно, что вся эта груда покореженного металла никогда не взлетит. Двигатели смяты, на месте топливных баков зияла черная дыра с оплавленными краями. Через весь корпус шла прямая, как лезвие, трещина.

Он устало прислонился к разбитому аппарату. Кислорода осталось часа на три. Можно протянуть четыре, даже пять. А дальше? Радиостанция разбита. Правда, есть еще радио в скафандре. Он поднял руку, щелкнул выключателем. Тишина. Ни шороха. “Так. Значит, связи нет и не будет”, – подумал он. Да и зачем она? Корабль не сядет: не рассчитан на это.

Он поднял голову. Над горизонтом висел огромный голубой шар. В разрывах облаков угадывались моря, очертания континентов. Земля... Такая близкая и такая далекая! Она тоже не может помочь. Ничем. И никто не поможет.

Непроизвольно он оттолкнулся от разбитого аппарата и сделал шаг в сторону Земли. Еще шаг...

Он шел с единственной мыслью, даже не мыслью, а чувством, засевающим глубоко в подсознании: если уж умереть, то на десять, на сто шагов ближе к ней, родной, к Земле.

В оглохших наушниках вдруг прорезался писк. Это было так неожиданно, что он остановился, не сразу поняв причину. В гермошлеме малиново горел индикатор радиации. Он горько усмехнулся: все вдребезги, а радиометр – ничего, работает. Чудо. Впрочем, еще большим чудом было то, что он сам остался живым. Пока еще...

Он сделал шаг и испуганно взглянул на наручный индикатор. Тоненькая стрелка с такой силой прижалась к ограничителю, что, кажется, согнулась. Писк в наушниках перешел в дикий вой. Шаг назад – вой притих, напомнив о себе комариным писком. Направленное гамма-излучение. Вот она, причина аварии! Мощная радиация разладила компьютер, управлявший двигателями. А дальше – понятно. Неверная команда на включение, аппарат перевернулся и с силой ударился о выступы скал. Все это стало ему так ясно, будто он наблюдал со стороны.

У него уже складывался план действий. Прежде всего определить границы источника, потом сообщить на корабль, передать на Землю. “Радио не работает”, – мелькнула мысль, и снова обожгло отчаяние. Он оглянулся на спускаемый аппарат. Оттуда тянулась к нему цепочка следов, четко отпечатавшихся в лунной пыли и хорошо видимых в косых лучах слепащего солнца. Само собой пришло решение.

Шаг вперед. Вой радиометра. Шаг назад и в сторону. Шаг вперед...

Капельки пота катились по лицу, заползали в глаза. Он упрямо встряхивал головой и, шатаясь, шел дальше.

Шаг. Вой. Шаг назад и в сторону. Шаг вперед...

И вдруг под ногами следы. Его следы. Круг замкнулся. Вот он, таинственный источник радиации, почти правильный круг метров пятидесяти в диаметре, окаймленный пунктиром следов в коричневатой пыли.

Как из засады выпрыгнула боль, снова вцепилась в измученное тело. Он зашатался, с трудом сохраняя равновесие, балансируя на острой грани беспмятства. Еще не все сделано. Рано или поздно сюда прилетят, новый корабль окажется в смертоносной зоне. Предупредить... Как? Снова и снова его взгляд возвращался к четкому пунктиру следов. Единственный выход...

Он сделал шаг. Сквозь стиснутые зубы прорвался стон. Ноги обмякли, подогнулись, и он повалился навзничь, теряя сознание...

Когда он открыл глаза, ничего не изменилось, да и что могло измениться здесь, в мертвом мире? Разве что кислорода у него осталось меньше. На сколько? Сколько он пробыл без сознания? Минуту? Час? Надо торопиться. Кто знает, сколько ему осталось.

О том, чтоб встать, не приходилось и думать. При малейшем движении к горлу подкатывала черная волна беспамьяства. Он с трудом перевернулся на живот и, напрягая все силы, пополз, борясь с дурнотой, шепча про себя: “Только бы успеть... только бы успеть...”

Он успел. Первые признаки нехватки кислорода он ощутил на последних метрах пути. Стараясь дышать пореже, обливаясь потом, дополз до конца и замер. Все, что мог, он сделал.

Дышать становилось все трудней. Последние остатки кислорода уходили из баллона. “Агония... – подумал он. – Сколько она будет длиться?” Он представил себе, как вскоре будет корчиться, жадно хватая остатки воздуха, и ему стало жутко.

Последним усилием перевернулся на спину, чтоб видно было Землю, пристально вгляделся в нее. На глаза набегали слезы, мешали смотреть. Он закрыл глаза. Глубоко вздохнул и одним движением поднял стекло гермошлема.

По черному небу катилась звездочка-корабль. Там беспокоились, снова и снова посылали сигналы безжизненному аппарату. Радиоволны несли отчаянные призывы и вдребезги разбивались о мертвую радиостанцию. Луна молчала.

С корабля пытались в мощный бинокль рассмотреть место посадки спускаемого аппарата. И когда через сутки удалось его обнаружить, увидели слабо очерченное кольцо и четкую надпись около:

Р а д и а ц и я!

И в восклицательном знаке вместо точки – серебристая капля скаффандра.

Нина Локшина

Посвящение

Всему, что хранилось с незапамятных пор,
Сжатою, словно газ в баллоне,
Золотому вину “Ярден” со склонов Голанских гор
И розам, срезанным на рассвете в Холоне.

Джипу, ползущему в темноте сплошной
По пограничному коридору,
Солдатам, что едут на шабат домой
И кормят котят у кафе “Ципора”.

Древнему маяку, что давно погас,
И новому, что лучом рассекает воду,
Народу, молящемуся за всех за нас,
И гуляющему по набережной народу.

Городу моему, разбросанному по холмам,
И стенам его, прохладным в разгаре лета,
И окнам распахнутым, и сердцам,
Слишком тесным, чтобы вместить все это.

* * *

От веселой букашки, ползущей по тонкому стеблю,
До верхушек домов,
на высоком стоящих холме...
Можно сесть на ступени,
а можно и просто на землю,
Это – чистое место и тем оно дорого мне.

От чугунной меноры, пылающей у перекрестка,
И до верхних балконов,
где ветер колышет шмотье...

Можно пристально думать,
а можно забыться, и просто
Ощущать, как уходят желания в небытие.

Забирай их совсем! Все, о чем я мечтала когда-то,
Обещая тебе ничего не загадывать впредь,
Но не дай мне услышать,
что вновь погибают солдаты,
И не дай мне увидеть, как будут деревья гореть.

Забирай все желанья, оставь только слабую веру
В то, что эта Земля сохранится еще на века,
От палящего солнца до самой глубокой пещеры
И от каменной глыбы до тоненького стебелька.

* * *

Вязкий хумус, связки бус,
Горьковатый кофе вкус,
Бедуинская палатка –
На земле матрацев груз.

Ослик сахара куски
Из моей берет руки –
Только жаль, что шаг –
Не больше –
От восторга до тоски.

Пахнет свежестью анис,
А когда посмотришь вниз –
Синим облаком Кинерет
В знойном воздухе повис.

Вод чистейших глубина
Мне видна почти до дна,
Всем красива Галилея –
Только жаль,
Что жизнь – одна...

* * *

Я к прыжку не готовлюсь,
я брать не хочу высоту –
Об одном я забыла, другое мне знать надоело,
Я на море смотрю, где швартуются в Хайфском порту
Корабли, и качаю коляску, где спит Габриэлла.

На осеннее солнце, что тускнеет,
как старая медь,
Наползает огромного облака темное тело,
Я смотрю, как напрасно пытается птица взлететь
Против ветра. Качаю коляску, где спит Габриэлла.

Скоро дождик прольется – холодный, колючий, сплошной,
Он наполнит Кинерет водой дождевой до предела.
Я живу только тем, что сейчас происходит со мной –
Я на море смотрю, и смеется во сне Габриэлла.

* * *

На исходе субботы повисла луна
Над крутою грядою Кармель –
Я за эту луну выпью рюмку вина
И за внучку мою, Габриэль.

И за то, что на сына похожа она
В свои восемь неполных недель –
Я за сына с невесткою выпью вина
И за внучку мою, Габриэль.

И за то, что глядела небес глубина
В расписную ее колыбель –
Я за небо высокое выпью вина
И за внучку мою, Габриэль.

И за вещие сны, и за ночи без сна,
И за то, что я все получила сполна,
Что оправданы способ и цель –
Я за жизнь бесконечную выпью вина
И за внучку мою, Габриэль.

Леонид Финкель

“Надо сделать, чтобы суббота была субботой...”

(Из воображаемых встреч с Исааком Бабелем)

*“А я говорю -- еще не вечер.
Еще тыща верст до вечера...”*

Из И.Бабеля

*“Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат...
Прыгают в голове шарики – д-ж-ж-ж...”*

Из И.Бабеля

1.

В последние дни моего пребывания в Москве судьбе было угодно завести меня в арбатский переулок, в особняк с наглухо заколоченной дверью и точно позабытой вывеской “Литературный музей”, почитаемый, но вовсе не посещаемый, как говорил друг-поэт, к которому стекалась вся информация из всей Москвы.

За день до самолета он вытащил меня на безлюдную выставку Бабеля. Мы зашли с черного хода, позвонили в запертую дверь, и это усилило все мои худшие подозрения. Пожилая дама-смотрительница открыла дверь. На выставке к столетию Исаака Бабеля не было ни одного посетителя. То есть совсем ни одного, если не считать смотрительницы. И я вспомнил, как Михаил Афанасьевич Булгаков читал Бабеля: медленно, с остановками, задумываясь над каждой фразой: “В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...” – а потом выдохнул:

– Есть только один человек, который пишет со мной на равных, и тот еврей – Бабель!

Писатель Григорий Канович со слов Константина Паустовского рассказывал, как отважно Эммануил Бабель противостоял попыткам сына

стать “русским литератором”. Паустовский, в те годы юноша, частый гость в шумном, радушном доме Бабелей в Одессе, восторженно заливался:

– Ваш Изя, – говорил он отцу Бабеля, одесскому купцу средней руки Эммануилу, – второй Горький!

– Да? – удивлялся суетливый старик, поглаживая любимого кота по имени Иегудиил. – А кто первый Горький?

А сосед Эммануила, одесский рифмоплет, прочтя “Конармию”, гневно вопрошал старика:

– Да если Изька видел такие беспорядки в Конармии, почему по инстанциям не сообщил? Зачем все в рассказах пишет?

...Увидев мое недоумение, дежурная дама развела руками, но все ж сказала, что было многолюдное открытие, что в первые дни всем известная “народная тропа” сюда вела и вела, но интерес схлынул, а на рекламу бедный музей денег не имеет, вот и приходят одинокие посетители вроде нас – полюбопытствовать, побродить да помолчать...

Мы и впрямь долго молчали.

Скучно смотреть музейные экспонаты. Не музейный человек Бабель. Часто высказывал мысль, заимствованную у итальянских футуристов: “Музей – это великолепное кладбище”. А он – живой, любил розыгрыши: то застонет на собрании, изображая сердечный приступ, то захромает на улице, точно одна нога короче другой...

Наблюдал в глазок кремацию Багрицкого.

Однажды в поезде жаловался попутчику на свое невезение: каждый раз кто-нибудь по морде стукнет – то на платформе, то в тамбуре хулиганы, то пьяный официант в вагоне-ресторане. Попутчик удивляется: “Слушайте, сколько можно такое терпеть, и куда вы, собственно говоря, едете?”

А Бабель:

– Если морда выдержит – аж до самой Одессы...

Бабель любил розыгрыши в жизни. Думаю, не менее артистично разыгрывал он и в литературе. Чего стоит одно выступление на Первом всесоюзном съезде советских писателей! Выступал он сразу за Федором Панферовым и Бруно Ясенским. Первому принадлежит позднейший текст из “Литературной газеты”, лучше которого он ничего за всю свою жизнь не писал: “Вот уже сорок лет советский народ, преодолевая невероятные трудности, по колено в крови, по колено в гвоздях и строительном мусоре, безропотно строит коммунизм”.

Второй, “рядовой всемирной коммунистической армии”, громил Париж: “Я ненавижу этот город и этот строй, и красное зарево над ночным Монмартром казалось мне началом зари всеистребляющего пожара” (сравним с Бабелем, который поднялся на крышу Нотр-Дам с извращениями химер. Боже мой! Что он делал с ними... Он обнимал их, целовал: “Я сюда приду ночевать”. Потом долго смотрел вниз, на людей, на машины, казавшиеся игрушками. Бросил свой платок и смотрел, под какую автомобильную шину он попадет, а потом сказал: “Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже”).

Дорого обойдутся Бруно Ясенскому его “прозрения”.

А Бабелю?

Его Мендель рычит: “Выйми мне зубы, Нехам, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...”

Согнут, согнут...

Бабель, оправдывая свое молчание, играл в “горлана-агитатора”: если вкус, то исключительно большевистский, если человек плох – значит контрреволюционер. Советский писатель? А может быть, просто лучше других понимал угрозу, которую вложил в уста Бени Крика: “Ты у меня умрешь сегодня, дружок мой, даже не поужинав”.

Ох, ох, права была Потаповна из “Заката”: “Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат...”

В Бабеле сильнее всего жужжали еврейские шарики.

Я видел его “Закат” в лучших театрах. И это всегда было поражение режиссера и актеров, которые читали вовсе не Бабеля. Они шли на репетицию и играли примерно так: “Полночь. По стеклу хлещет дождь...” Была не полночь и не шел дождь...

Ему надо было все пощупать, потрогать, понять. Одно время, как на службу, отправлялся в женскую консультацию, где часами выслушивал жалобы на любовников и мужей. Он говорил: человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно...

Мандельштам однажды спросил Бабеля, почему его тянет к “милиционерам”. Может быть, его материал – “слезы и кровь”?

Бабель не только служил в Конармии. Он работал в ЧК.

“Нет, – ответил Исаак Эммануилович Мандельштаму, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?”

Не случайно Бабель наблюдал в глазок кремацию Багрицкого.

Не он ли подметил, что в физическом облике советских вождей прежде

всего бросается в глаза их рост: Бухарин – 155 см, Калинин – 155, Киров – 154, Пятаков – 154, Ворошилов – 157. В пределах 160 были Зиновьев, Каменев, Свердлов, Рыков (позже Микоян, Хрущев, Брежнев). Не возвышались над этим уровнем ни Ленин, ни Сталин (то ли 160, то ли 162 – по разным сведениям). Но рекорд всегда принадлежал Ежову – 151 см. Не случайно с особой яростью и пристрастием палач допрашивал людей рослых и физически сильных. Это у него хотел узнать Бабель: что есть смерть, эта жадная, корыстолюбивая старуха, эта воровка, которая никого и ничто не пожалеет...

Там, в музее, я обратил внимание на канцелярский росчерк: анкета Ежова. Все как положено: дата рождения, место жительства (Москва, Кремль). Профессия и специальность: портной, слесарь. Самое потрясающее в анкете, ставшее уже своеобразным афоризмом: “Неоконченное низшее образование”. Книги и книжные шкафы Ежов использовал для того, чтобы прятать за книгами пистолеты и бутылки с водкой, в том числе пустые. В его судебном деле находится пакет с пулями, которыми расстреляны Каменев, Зиновьев...

Все предъявленные обвинения Ежов отверг. Да, репрессировал четыре миллиона, целый Ленинград. Но умертвил-то всего шестьсот тысяч, знал, что мало, каялся: не успел...

Еще признавался, что работал как вол, имел связи с женщинами. Ну и что? Их имели и другие, так в чем его моральное разложение? Ну, спал с мужиками. Сначала с одной дамой, потом с ее мужем, давно правда...

Но ведь любил Женечку Фигенберг-Хаютину-Гладун. И как любил! Правда, в очередь с Бабелем.

Первый брак Бабеля с Женей Гронфайн был неудачен. Студент, голодранец Бабель увез в Одессу богатую наследницу. Ее папаша с досады расколол семейный сервиз:

– Вы окончательно сказались, молодой человек, или что? Даю вам для объяснения десять слов, как на центральном телеграфе.

– Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщинами и есть в жаркий день мороженое...

Мать иссморкала с дюжину платков.

Девушка, “чистая как мак” попала в руки к “провокатору”.

Время шло. Большевики отобрали у Гронфайна завод. “Провокатор” стал большим писателем. Этим известием старый Гронфайн был ошеломлен больше, чем революцией: кто бы мог подумать! Оказывается Женечка сделала хорошую партию! Ей даже завидуют. О н – большой талант...

Теще Гронфайн ничего не оставалось, как называть зятя уважительно, по фамилии:

– Бабель, почему вы не кушаете яичек?

Женечка вовремя уехала в Париж. Писала пейзажи в постимпрессионистской манере. Мечтала быть похожей на Утрилло. В маленький магазинчик на улице Сен, где была скромная выставка жены, Бабель пришел нехотя, с трудом оторвавшись от витрины автомобильного магазина.

Женечку натянуто хвалили. Бабель иронизировал: “Теперь, друзья, вы понимаете, почему я не хожу в Лувр”.

С женщинами Бабелю не везло.

В том же году кончился его роман с Тамарой Каширской, артисткой театра Мейерхольда. Родился сын Михаил. В старой метрике значилось более определенно – Эммануил, в честь отца Бабеля.

И вдруг – Женечка Гладун!

Скромная машинистка в торгпредстве СССР в Германии.

Они по уши влюбились друг в друга. Утверждали это. Знали. Если они не любовались друг другом, то обнимались. Если не обнимались, то целовались. Если не целовались, то...

В общем, на их долю выпала любовь!

Напечатайте это слово большими буквами. Выделите особым шрифтом. Добавьте восклицательные знаки. Устройте фейерверк. Разгоните облака. Впрысните адреналин.

Подъем в три часа ночи. Сон в полдень...

Одесская мудрость гласит:

– Если с тобой знакомится дама, ты обязан угостить ее гренадином... Это невкусно, но через соломинку все же легче...

Пейте гренадин! Иначе вы меня скомпрометируете в глазах одесситов...

А Николай Иванович Ежов ждал своего шанса. Ждал, пока этот очкастый сутулый тип оставит его женщину.

Любил ее, мечтал, лелеял.

Взял приемную дочь – семья так семья.

Потом набросился на Женечку, точно коршун...

Неистовая, крепкобедрая Женечка!

И такая насмешливая: железный нарком и вдруг... карлик...

Карлик ревновал неистово. Сделал заметку: “муж Хаютин, любовник Бабель”...

– Ну, дьяволы! Запасайтесь гробами...

– Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца, – парировал Бабель.

Женечка умерла во сне, от огромной дозы снотворного, влитого в ее вены врачом московского санатория, куда заботливый муж пристроил жену для отдыха. В приговоре по делу обвиняемого Николая Ежова сказано: "... организовал ряд убийств неугодных ему лиц, в том числе и своей жены"...

Я ходил по музею от витрины к витрине, от стенда к стенду. Ох, лучше бы пошел на ипподром!

Бабель так любил ипподром, лошадей, мечтал поселиться в заповеднике: "Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони"...

2.

Бабеля в хрестоматиях не было. "Неискусно написанный" (слова Бабеля) Павка Корчагин был, фадеевский Левинсон, хотя и раздражал, – был. Вообще, повесть, где главный герой – еврейчик, да еще называется "Разгром", хотя гражданская война, как известно, кончилась нашей победой, что эта повесть – наша или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?

Бабелю даже не задавали таких вопросов. Его книги – сочетание любви и принуждения.

Красный генерал, "своевольный" садист Павличенко (Тимошенко?) – дает повод восхвалять, а не печалиться?

"...Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними..." – это что, советская литература?

Но вот и принуждение. Редактор "Конармии" Дмитрий Фурманов все время подкрашивал, исправлял текст.

"...Посылаю "Конармию" в исправленном виде... Все твои указания принял к руководству и исполнению, изменения не коснулись только "Павличенки" и "Истории одной лошади". Мне не приходило в голову, чем можно заменить "обвиняемые фразы". Хорошо бы их оставить в "первобытном" состоянии. Уверяю тебя, Дмитрий Андреевич, никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы..."

Через несколько месяцев книга вышла в свет. Бабель поступил точь-в-точь как Бенья Крик в "Закате": "Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были людьми не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой..."

Это в трамвае можно было делать все наоборот.

В крайнем случае, на трибуне писательского съезда.

Если бы Бабель был просто мастер, просто хороший ремесленник – он делал бы то, что просили.

Но он был великий Художник, и потому потрясенный Мендель Крик кричит сыну: “Ночью, ночью ты вошел...” и “Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку”.

– Но что все это значит, если в синагоге – крысы?!

Или, наоборот, может быть, крысы в синагоге потому, что евреи отступили от заветов Господа, Бога своего?

Да, в школе Бабеля “не проходили”. Не писали тягомотных сочинений по его рассказам. Уж если талантливые режиссеры мало что поняли в “Закате”, что говорить о школьниках?

Целые поколения евреев потерпели в стране социализма духовное поражение. Что оставалось? “Убей его иронией, – говорит один из героев Бабеля, – убивает исключительно смешное...”

А в награду одиночество, тоска, смерть...

3.

Мы вышли на улицу. Было тоскливо и одиноко. Рекламные щиты, крикливые вывески, самодельные лозунги и плакаты приглашали узнать тайну жизни. Бабель писал о жизни и смерти, и после того, как знаешь, что он об этом думал, уже незачем знать, что думают об этом те, кто скрывался за вывесками...

Мы присели на случайную скамейку и молчали. На миг я забыл, куда еду. Знал только, откуда. Знал только, что теряю всех своих друзей. А что взамен?

И вдруг я увидел, как по теневой стороне Арбата идет Бабель и читает на ходу рассказ Мопассана. Ну конечно, Мопассана, подумал я. Мы – мирные жизнелюбы, у нас никогда не будет своих Киплингов. Но зато будут Мопассаны – говорил Бабель. Правда, он имел в виду Одессу, где много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышления. Мопассанов он гарантировал.

И тут я вспомнил, что еду туда, где много моря, и еще больше солнца и, вероятно, немало женщин красивых, а уж пищи для размышлений...

Бабель шел по самой кромке тротуара, временами останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них. И встречные обходили его с недоумением, но никто не сказал ему ни слова.

И вдруг я отважился и пошел за ним.

– Куда ты? – крикнул друг, но я уже весь был во власти тени, которая медленно передвигалась впереди меня. И я догнал его. И он молча спросил:

– Вы с детства родились таким неудачным спутником или сделали им постепенно?

– Постепенно, постепенно, – радостно согласился я.

– Вы кто, кавалерист?

– Нет, – ответил я.

– Поэт?

– Скорее путешественник... Лечу в Израиль на ПМЖ...

– Это что, стройка такая – ПМЖ? Великая стройка коммунизма?

– Сионизма...

– У вас дикая энергия, – сказал он.

– Нервный народ, – согласился я, смещая акценты и меняя тему. – Вы давно из Одессы?

– Вот, поселился в Переделкино, работаю.

– Ну и как?

– Природа замечательная. Но сознание, что справа и слева от тебя сидят и сочиняют десятки людей, – в этом есть что-то устрашающее... Так вы еврей?

– Скорее, человек Вселенной...

– Вот и я не выбирал себе национальности. Я еврей, жид. К еврею надо приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность... Вы читали Библию?

Он вдруг оторвался от газеты и посмотрел на меня. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, он смотрел на меня, и его маленькие глаза сверкали маслянистым блеском.

– Значит, человек Вселенной? Вы сами не знаете себя, – сказал Бабель. – Взгляните в зеркало.

– Здесь нет зеркала.

– Тогда взгляните в любую витрину. Вот таким вы пришли из Египта в Ханаан, помните? Это вы лакали воду из Хеврона, вот так, животом на земле, жадно и быстро... – и он вдруг стал на четвереньки и показал, как я лакал воду, когда вышел из Египта.

“Ах да, любит розыгрыши...” – вспомнил я.

Но он быстро поднялся и продолжил:

– Разве вы не помните, как нагнали того, ненавистного, когда он запутался волосами в листве и повис над землей? И вы убили его, и кричали, и он кричал, и кедр кричал...

– Это печально.

– Нет, нет... Печаль есть неизменный спутник познания жизни. Честно познавший печаль достоин честной радости...

– Только что на выставке я видел книги о вас...

– Книжки обо мне? Глупости, наверно, смешно читать! Верно, писали ученые дураки. И все писано о покойнике? С портретом Натана Альтмана, где я вроде веселого мопса? Вы не сомневайтесь, мне нравится мой возраст – сто лет, целых сто лет! Целый век, и какой век, только подумать! Теперь все очень ясно видно...

И вдруг он стал отрываться от меня, все быстрее и быстрее, а я мелко засеменял, потупя глаза.

“Шлимазл, – думал я о себе, – такой человек был рядом, и – проморгал! Там, в Израиле, – ни одного знакомого писателя. А тут – Бабель! А вдруг и он... на ПМЖ? Во всяком случае, про еврея, начальника лагеря, где сидел Бабель, говорят: этого точно – ищите в Израиле!”

Мой путь был долог и душен. Чем дальше я шел, тем сильнее слышался какой-то странный гул.

Впереди замерцал светильник, потом показалась стена. И я, мальчик, в холщовом грязном хитоне и грязной тунике, сижу на мостовой и глотаю пыль.

– Вы где родились? – настаивает Бабель.

– В Вавилоне.

– Вот и устройте пир Валтасара... Конечно, на всех колесниц не напасть. Теперь всякому подай колесницу. И чтоб они раскинулись веером...

– Товарищ Ежов говорил, что на пиру люди должны быть проверенными. Ваша супруга, например, Антонина. Конструктор. Метростроевка. Проектирует станцию “Павелецкая-радиальная” со всеми примыкающими к ней соединениями...

– Да... – задумался Бабель, – метро они любят. Вместе с метростроевками... Впрочем, жизнь у нас – хорошая. У меня новый восьмицилиндровый “форд”... Доставлен из Америки. Мы... держим шофера, и это значительно облегчает нашу жизнь...

– В России – разруха. По Тверскому бульвару – Иероним Босх ходит. Зарисовки для будущих великих картин делает. В переходах метро – нищие старухи со значком “Отличник министерства просвещения”... Стоят длинной шпалерой вдоль грязной стены, точно приговоренные к расстрелу. И руки у них – лиловые... Лауреат и Герой Егор Исаев – кур разводит... Другого поэта-патриота провалили на выборах в Верховный Совет. Таких обид писатели своему народу не прощают. Особенно поэты. Особенно плохие...

– Я был в Риме, Флоренции, – зевнул Бабель. – Ничего более прекрасного не видел за всю жизнь. У меня просто туман в голове от всех этих Микеланджело, Рафаэлей, Тицианов...

“Думает – перед ним стукач. При чем тут Рим, Флоренция?..”

Интересно, сколько длился суд над Бабелем? Десять-пятнадцать минут? Ну и еще сколько-то на расстрел...”

– Они – бараны, – смеется он, – убивать надо не пулями, а иронией, убивает только смешное...

...С момента ареста Ежов был похож на дикого зверя, угодившего в клетку: не ел, почти не спал, разговаривал сам с собой: “Нет, нет, не может быть!.. – кричал он. – Не может быть такого конца”. Товарищ Сталин не обманет, не может обмануть, они вместе служили общему делу.

Ему казалось, что кто-то рядом бьет в ладоши, вскрикивает, даже пытается плясать: он явственно слышал чье-то дерзкое иступленное притоптывание. Все было так узко и судорожно, что с трудом входило в его напрягшееся тело. Он протянул руку, и ему вдруг показалось, что рука уперлась в торчащий женский сосок. Сосок был напряженный, огромный и мокрый. Неужто обнажилась для того паршивого еврея? Вспомнил его ухмылочку: “Молоко в девушке не должно кинуть, евреи...”

Д-ж-ж...

Жидовские шарики жужжат...

Потом впал в полубморочное состояние. Плакал. О чем-то просил. Когда вели из кабинета в кабинет, боялся поднять голову. Однажды встрепенулся.

– Это надолго? Или отведете вниз...

– Хотите легко отделаться?

Потом ему велели все снять.

– Зачем?

И впрямь, зачем? Разве горячее, шелковистое, нежное тело для него? И вообще в камере было так тесно – вдвоем не уместиться. Ему казалось, что раздеваясь, О н а задела его лицо. Он хотел по привычке развести ее длинные ноги и поцеловать туда, это просто не удалось, места хватило только на то, чтобы лечь, осторожно прижаться друг к другу и замереть. Даже локти не расставить, колени не согнуть, только сладкая дрожь, когда скользишь в нарастающем женском запахе куда-то вниз...

Затем все понял. Торопливо стянул с себя гимнастерку, нижнюю рубашку. Снимая, отпустил брюки и они свалились вместе с подштанниками, с которых из озорства срезали пуговицы...

Это было чистой фантазией. Возвращение в прошлое: сколько раз он

иронически улыбался, когда у кого-то из подследственных на допросах спадали брюки...

Нет, нет, все-таки О н а была не железная. О н а хотела такой казаться. И в темноте губы ее были совсем темными, почти черными, и тоненькая полоска зубов хищно просвечивала, когда О н а улыбалась...

Только сейчас он заметил, что улыбается не О н а или не только О н а, а все вокруг: как же, сам Ежов со спущенными штанами!

Он сел на пол и стал стаскивать сапоги с персональным подпяточником, с разного рода ухищрениями, которые делали его намного выше ростом. Личный сапожник делал! Сшить костюм он и сам умел – портной по профессии, а сапоги тачать – нет...

Он взял сапоги в одну руку, одежду в другую...

– Брось!

Прикусил губу. Тотчас ощутил, как холодно. Ах да! Он почти раздет. И вообще, кто сказал “брось”? Почему на “ты”?

Сразу ощутил себя совсем маленьким, и тайный страх, точно кинжал, пронзил его. Он увидел себя как бы со стороны: босой полулиллипут, жалкий и нелепый. Все это выходило за рамки физически возможного, допустимого для тела. Он вдруг с ужасом понял, что у него недостает сил даже на то, чтобы прикрыть руками срам. Руки застыли. Казалось, одна рука даже находится внутри Н е е, погружена в Н е е больше, чем на локоть. Прямо перед его глазами оказалась подмышка, торчали круглые колечки черных мокрых волос.

Кто-то не выдержал – толкнул его в плечо. И все вдруг поняли – можно!

– Нет, нет... Не надо...

Сначала конвоир не утерпел – стукнул прикладом. Что-то вдруг провалось, проснулось в душах этих полулюдей – сотрудников центрального следственного аппарата НКВД. Они били его кулаками, прикладами, рукоятками пистолетов и никто не мог удержаться от желания разрядить в него свой пистолет...

Бабель смотрел не отрываясь. Видение завораживало его. Вспомнил рассказ Ежова о казни Зиновьева и Каменева. Зиновьева солдаты втащили в камеру под руки, он был в полной прострации, всхлипывал, молил о пощаде. Каменев держался достойно. Оба погибли в страшных мучениях.

– Красивое было зрелище! – мечтательно заметил Ежов Бабелю и посмотрел на себя в зеркало.

На его лице было выражение спокойной тайны...

И Бабель увидел, как О н а перебросила быстрым движением длинную сильную ногу с одного края постели на другой, дернулась бедрами...

И лица бывшего наркома и бывшей возлюбленной вдруг стали удвояться, умножаться, точно его окружали многочисленные кривые зеркала. И он устрасился увидеть в зеркале и свое лицо, изувеченное болью.

И почувствовал себя колдуном. И стал спокойно, но еще более пристально всматриваться в свою память:

– Слава тому, кто не знает смерти!

Становилось все жарче. Я слышал чей-то жалобный голос. Маленькая хрупкая девочка, похожая на стрекозу, теребила всех и спрашивала: “Вы не видели моего папу, не видели?”

Когда Ежова арестовали, домработница увела к себе его приемную дочь, уже никому не нужную девочку.

В одно мгновение все понял: эта девочка – я сам...

И сразу горячее золото солнца бешено ударило мне в лицо. И под жестоким солнцем горели огромные дома.

И белая прозрачная пыль поднималась над Вавилоном.

1996-1999 гг.

Фотогалерея
Грегори Фридберга



Молодость и война



Стена плача



Свет и печаль заката



Столбы Шломо



Кинерет



Ностальгия по весне



Снег в Иерусалиме



Без комментария



Сила жизни



Волиебство леса



Шемящее чувство близости

Рина Левинзон

* * *

Быть женщиной – дышать судьбой,
ни ада не страшась, ни рая.
Не притворяться – быть собой
и жить, путей не выбирая.
Быть женщиной – суметь собрать
под этот лепет лебединый
способность жить и умирать
в отрезок времени единый.
Быть женщиной – себе пенять,
ни мору не боясь, ни гладу.
Быть женщиной – соединять
все то, что тянется к разладу.

* * *

Как за соломинку держусь
За певчую строку.
Я не про музыку – про грусть,
про птицу на току.
Про слов спасительный запас,
про рифмы колдовство...
Я не про музыку – про нас,
про горе и вдовство,
про то, где силы зачерпнуть,
про сон, про Третий Храм...
Я не про музыку – про суть,
неведомую нам.

* * *

Господи, прости мне этот день,
свечку незажженную,
и тень
суетности над моей душой,
этот бег, и этот страх смешной,
всю невнятность помыслов и дел...
Господи, что Ты сказать хотел?
Что ушло навеки с этим днем?
Ночь закрыла веки за окном...

* * *

А жизнь и есть тепло и торжество,
короткое паренье над веками.
Не надо добиваться ничего,
а просто жить, как дерево и камень.
И просто воздух медленный вбирать,
не умирать, покуда не приспело,
и не просить, и ничего не брать,
а только жить легко и неумело.

* * *

Свечу зажгу,
перечитаю Зельду.
Дожди хранятся в закромах зимы...
И сколько нам служить за эту землю,
За все ее долины и холмы!

Федерико Гарсиа Лорка
в переводах Людмилы Чеботаревой

Если б я мог оборвать лепестки

Вновь мне имя твое приснится,
разбивая хрупкие сны,
когда звезды идут вереницей
к золотому колодцу луны.
Когда голые ветви мечтают
о рождении новой кроны.
Я без музыки умираю –
опустошенный.
Только мертвое время считает
обезумевший древний Хронос.

Я шепчу твое имя – и нету
в моем тихом голосе фальши,
но остался призыв без ответа –
уплывает имя все дальше,
растворяясь в звездах невинных
и в страданиях первого ливня.

Захочу ли тебя вновь когда-нибудь я?
В чем вина одинокого сердца?
А в преддверии безмятежного дня
на рассвете туман рассеется.
Утро гонит прочь ту порочную ночь.
Нет, не чувствую я вины!
Я спокоен и чист – мне бы только смочь
оборвать лепестки с луны!

Поворот

Я тебя покидаю
с лилией белой в руке.

Моя ночная любовь!

Я тебя повстречаю
звездной вдовой вдалеке.

Укротитель слепых мотыльков!

Я иду по дороге,
конца у которой нет.

Мы увидимся лишь
через тысячу лет.

Любовь моей ночи опальной!
Укротитель светил печальных!

Тропка синяя манит, как на закланье.
Я бегу, пытаюсь согреться,
до тех пор, пока мирозданье
не сыграет на флейте сердца.

Деревья

Деревья!
Может, вы были стрелами,
падающими с небес?
Какие грозные воины вас метали?
Звезды моих ночей?

Песнями птичьих душ отзовется лес,
музыкой вечной страсти
из Божьих очей.
Деревья!
Распознают ли ваши кроны в суровой мгле
сердце мое в земле?

Есть души...

Есть души, в которых пылают
лазурные зори,

и между листками времени
“завтра” засушено.

Милые уголки –
хранители древних историй

и ностальгий,
и сновидений душных.

Души другие помнят
о скорбных призраках страсти.

Червивы плоды,
и бесцветен голос у эха.

И темноты поток,
поглотивший остатки счастья.

Память без слез. Поцелуи.
Осколки разбитого смеха.

Виктор Нарыжный

Лях

(Из уманских зарисовок)

От редактора: Виктор Нарыжный – автор боевиков-детективов здесь предстает перед нами в несколько иной ипостаси.

...Антон снял комнату недалеко от рынка по улице Ричарда Черного. Хозяин – одинокий еврей-пьяница по фамилии Ляховский, важно величал себя “Лях”.

Рынок был правильной старинной четырехугольной застройкой, которая делилась с незапамятных времен душегуба Гонты на крохотные магазинчики. Внутри рынка были еще такие же постройки с небольшими арками между ними...

В одной такой арке сидела жуткая старуха в невообразимом тряпье и требовательно, протягивая черную иссохшую руку, приказывала всем:

– Дайте шо-небудь! Дайте шо-небудь!

Но стоило кому бы то ни было дать ей что-либо, кроме денег, она разжалась такими страшными проклятьями, что незадачливый филантроп спешил как можно быстрее унести ноги. Бабка эта, как и знаменитая Софиевка и могила цадика Нахмана, духовного отца любавичских хасидов, была достопримечательностью города, такой же древней, как и сам рынок, и к ней привыкли. Ее знаменитое “дайте шо-небудь” вошло в обиход, и часто отцы и руководители города, встречаясь по служебным делам, шутовски протягивали руку друг другу с этими же словами... И даже Юрий Иванович Бодров, один из самых умных и талантливых городских голов, посещая областной центр в Черкассах, после длительных споров и переговоров о городском бюджете или материалах, нередко заканчивал победной фразой:

– Ну, не можете дать, что просим, – так все ж дайте шо-небудь! - и областные бонзы со смехом сдавались...

Обычный день начинался у Антона следующим образом: часов около шести утра к нему в комнату робко стучались: господин Лях просыпался

значительно раньше – к четырем-пяти, снедаемый немислимой жадной опохмелки. Внешность его была замечательна: высокого росту и худощавый, всегда неряшливо одетый, как и все одинокие алкоголики, почти лысый, но зато с двумя торчащими на висках клочьями седых волос, на лбу с левой стороны – постоянная здоровенная шишка величиной с грецкий орех, и к тому же у дядьки Ляха не полностью открывался правый глаз, что создавало впечатление, будто он о чем-то мучительно думает и что-то прикидывает...

С трудом и стоном сев в кровати, Лях долго и сосредоточенно смотрит в одну точку. Затем из его зловонного рта вырывается какой-то странный звук, напоминающий протяжное “гыыы-ы...” Голова начинает медленно и мучительно поворачиваться в другую сторону, и процедура повторяется снова – мучительная работа мысли и протяжное “гыыы-ы...” Лицо его в это время напоминает маску смерти из фильмов ужасов... Трудно было бы вообразить более действенный видеоклип, призванный бороться против алкоголизма, чем просто внешний вид с утра почтеннейшего господина Ляховского. Цвет кожи у него в это время совершенно зеленый с оттенком грязной земли. Погыкав таким образом минут со сто, он с бульканьем поднимается-таки с постели, гонимый отчаянной необходимостью раздобыть где угодно хотя бы “рубчик” для последующего жизнеобеспечения, и после десяти-пятнадцати попыток попадает ногами в жуткие по виду и запаху домашние тапки и начинает шастать по квартире... К шести терпению его приходит окончательный крантец, и он с четверть часа тихонько скребет ногтем в дверь к Антону.

Антон, спавший более чутко, чем заяц под кустом, прекрасно слышал это скребенье, но не вставал и не отзывался. И лишь когда эти звуки начинали переходить в тихонькое постукиванье, грозно и сонно спрашивал из-под одеяла:

– Кто там еще в такую рань?

– Э-э-э! Это я! – дверь осторожно приоткрывалась, и в щель просовывался клоч волос. – Э-э-э! Видите ли, Антон Иванович! Тут такое дело, ну прямо не терпящее никаких отлагательств!.. – За дверью начиналось долгое шмыганье и сморканье вперемежку с “гыыы-ы...”

– Ну хорошо, уважаемый! – почти смеясь, отвечал Антон. – Учтите-вая ваше пролетарское происхождение и мои скромные материальные возможности, я могу вам подарить на память целых три рубля!

– Ну зачем же “подарить”? – в комнату просовывалась уже вся синезелено-землистая физиономия покойника, вытщенного из могилы через месяц после захоронения. – Зачем же “подарить”? Вы бы мне одолжили пять рубликов, а? А я вам, Антон Иваныч, верну! Вот ей-Богу, верну! – значительно выпучив глаза, вещал Лях.

– Нет уж, любезный Борис Самуилович, дарить так дарить! Соглашайтесь! Соглашайтесь! – увещевал его Антон, которого забавные выходки Ляха нисколько не сердили, а наоборот, смешили и создавали хорошее настроение на целый день.

Борис Самуилович свирепо морщил брови, и по всему было видно, что он напряженно соображает, что предпринять: либо получить свой трешник без всяких проблем и быть весь день совершенно счастливым, либо продолжать клянчить целых пять рубликов, но при этом же и рисковать – жилец мог ему просто отказать, поскольку он уже “настрелял” у него на полгода вперед...

В конце концов здравый смысл побеждает, и Борис Самуилович мужественно соглашается на трешник, отчаянно махнув рукой и не забывая заметить при этом, что вечно он уступает всем и вся, и поэтому всегда оказывается в накладе – и в деньгах, и по жизни...

Зажав вожделенный трешник в руке, он начинает уже проявлять определенные признаки жизни – лицо его слегка розовеет, здоровый глаз открывается чуть шире, и движения делаются несколько осмысленней...

Он бежит одеваться, а Антон, в предвкушении великого шоу тоже быстро вскакивает с постели, одевается и, ополоснув морду, выскакивает на улицу. Ждать обычно приходится недолго... Лях как ошпаренный выскакивает из дому и, припадая и приволакивая левую ногу, спешит к рынку. Антон, ухмыляясь, невидимый и неслышимый, следует за ним...

Народу уже много – полседьмого утра. Лях, приплясывая, подбегает к “комку”, быстро хватая с полки бутылку “Биомицина” – “Биле мицне” за рубль семь копеек и, жадно булькая, всасывает в себя мутную жижу. Его никто не останавливает – старый знакомый. Даже если и не расплатится на месте – принесет потом. Он не дурак закрывать себе нужные места...

Прямо на глазах лицо его розовеет и вместо затравленного приобретает выражение победного благодушия... Расплатившись, он, уже не очень торопясь, шествует выбирать рыбку. Вяленую тараньку, а еще лучше – вяленого леща. Это и есть то главное представление, ради которого Антон не ленится встать в такую рань...

Лях медленно и важно дефилирует вдоль рыбного ряда. Он даже не глядит ни на рыбу, в изобилии разложенную на прилавках, ни тем более на торговок. Он горд. В его кармане лежит, согревая душу, целый рубль бумажкой и девяносто три копейки кровно выпрошенных денег...

Пройдя таким образом раз пять взад и вперед, он наконец, останавливается возле чистенькой розовой бабуськи и, небрежно кинув свой полоторный взгляд на рыбу, быстро хватая здорового аппетитного леща... Несколько минут он смотрит на него, вытянув руку как можно

дальше, как будто в руке его настоящая икона XIII века, а он эксперт, определяющий ее подлинность и ценность. Затем со вздохом сожаления небрежно швыряет рыбу обратно на прилавок и идет вдоль ряда дальше. Снова профланировав взад и вперед два-три раза, он останавливается на старом месте и берет в руки ту же самую рыбку. Несколько времени рассматривает ее снова, склоняя голову то влево, то вправо, и снова со вздохом сожаления кладет на место... Но уже не уходит. Рассеянно оглядывает остальной товар и вновь задерживает замороженный взгляд на леще...

Берет его с прилавка и начинает тщательно обнюхивать, начиная с хвоста и медленно двигаясь к голове. Эту операцию он производит не менее шести-восьми раз. Нанюхавшись вдоволь, хищно поводя широкими ноздрями, он откидывает назад голову и задумывается... Через пару минут, как бы очнувшись, поднимает рыбу над головой и начинает ее рассматривать на просвет, то поднося ее почти к самым глазам, то отодвигая на дистанцию вытянутой руки. Священнодействие продолжается до неприличия долго, но бабулька знает Ляха уже давно, много лет, и не сомневается ни минуты, что он у нее купит. Вопрос только – за сколько. В лучшие времена он платил не торгуясь вдвое и втрое, но уже несколько лет, ввиду полного отсутствия платежеспособности, купля рыбы превратилась для него в некое священнодействие, в шаманский ритуал, смотреть на который было прямо завораживающим...

Лях неодобрительно покачивает головой, всем своим видом выражая полное неудовольствие и даже разочарование, и тут же, безо всякого перехода, вдруг колотит рыбиной с маху о прилавок с такой силой, что даже привыкшая ко всем его штучкам бабуся с испугом отшатывается подальше. А Лях колотит и колотит бедным лещом, периодически поднося его к самому уху и сгибая и выкручивая его при этом в разные стороны. Затем удары ослабевают, и он переходит к ощупыванию... Самый опытный микрохирург, самый виртуозный судмедэксперт не пальпируют человеческую ткань с такой чуткой нежностью, как Лях гладит и пожимает леща... На это уходит еще минут с пятнадцать... Наконец он гордо распрямляется, долго смотрит в серое небо и с печальным вздохом кладет рыбу на место... Медленно поворачивается и уходит... Затем, будто что-то вспомнив, оборачивается и мимоходом, небрежно, не раскрывая узких губ, выдыхает:

– И сколько же ты, тетка Дуся, хочешь за эту кильку?

– Три рубли, касатик, три рубли! Сам же вишь, свеженький и завяленный по усем правилам! А пахнет-то как! Объяденье!

Лях в ужасе откидывается от нее и даже прикрывает лицо руками, будто обороняясь от удара.

– Что? Что ты сказала? Три рубля? Я действительно не ослышался? Ты

сказала – три рубля? О вей из мир! А иц ын паровоз! Киш мих ын тухес с такой ценою! Где у людей совесть? Что творится на белом свете? Где Господь Бог? Он что, не слышит и не видит, что творят люди на земле? – Лях хватается руками за голову и начинает рвать остатки своих ключев у висков...

– Та шо ж ты так переживаешь, касатик? Ну ладно! Ладно! Я ж тебя ще от такого помню! Бери за два рубли – где наша не пропадала!..

– Два рубля?! Два рубля за тощую селедку! Тетка Дуся, я тебе ответственно заявляю, я тебе как доктор говорю – нету на тебе креста! Я за два рубля честно заработанных денег буду лягушку на карачках до Бреста гнать! За два рубля труженик весь день на заводе спину гнет... а ты?! Старик ночью побраконьерствовал – и два рубля? Нет, лучше бы я умер маленьким!.. – трагически восклицал Лях, хватаясь теперь уже за сердце, бледнея в самом деле лицом и начиная судорожно хватать ртом воздух...

– Та окстись, касатик! Окстись! Скоко ж ты дашь? Токо не волнуйси!..

Истерика неожиданно, как и началась, прекращается. Лях долго молча шевелит бескровными, тонкими губами, периодически поглядывая на небо и изредка ерошит при этом остатки ключев на висках... Наконец, он с непередаваемым выражением выдыхает:

– Восемьдесят две копейки!.. – затем, после секундной паузы, добавляет: – Но для тебя, тетка Дуся, я мелочиться не собираюсь – получай свой рубль!

Но, как и следовало ожидать при этих словах, никакой рубль ниоткуда не доставался, а вместо этого Лях спокойно уже брал с прилавка вожделенного леща и двигался восвояси, небрежно кинув через плечо, что и рубль у него тоже сейчас нету... Бабулька мелко крестилась, и по ней не было заметно, что она взволнована или расстроена. Лях принесет ей этот рубчик, обязательно принесет. Через месяц или даже два, даже если она и сама забудет, он – нет. И вернет! Потому что живя, в основном, в кредит, дорожит доверием...

Отто Шмидт

Счастье привалило

Натан почувствовал, что сердце его куда-то провалилось... Розовый листок розыгрыша лото дрожал в руках. Он сел за стол, протер очки, надел их и провел ладонью по листочку лото, словно разглаживая его. Натан снова и снова сверил цифры. Ошибки не было. Невероятное случилось. Совпали шесть цифр. Это означало выигрыш в пять миллионов шекелей, а в пересчете на доллары – свыше миллиона...

Натан сидел, обхватив седую голову широкими натруженными ладонями. Он терпеливо ждал, когда сердце вернется обратно, оттуда, куда оно провалилось.

Сердце возвращалось медленно, но вот оно стало на свое место, лишь слегка саднило... “Не хватало еще инфаркт получить на радостях”, – подумал он.

К азартным играм с государством Натан относился скептически. Еще там, в стране исхода, он покупал лотерейные билеты, лишь когда их навязывали при выдаче зарплаты. Здесь же, в Израиле, он иногда заполнял эти розовые листочки лото, хотя прекрасно понимал, что вероятность выигрыша ничтожна. Но надежда так согревает душу... И вот счастье, таки да, улыбнулось!

“Надоела эта амидаровская квартира с галдящими соседями, с чадающими и рычащими рядом с домом автобусами, с сигналящими в любое время дня и ночи автомобилями, с тарахтящими спозаранку под окнами машинками для стрижки газонов! Куплю хорошую просторную квартиру в тихом месте, а вторую – в Тверии или Эйлате с видом на море, и на зиму будем переезжать туда... Или лучше куплю домик с землей где-нибудь на Голанах, рядом с озером, чтобы ловить рыбу. А зимой буду топить камин дровами, греться возле настоящего огня и смотреть телевизор...”

– Соня! – позвал он. – Мы отгадали шесть цифр!

Его жена Соня, неслышно ступая, несмотря на солидный вес, подошла сзади, пробежала глазами по цифрам и тихо вскрикнула. Потом схватила карточку лото и закружила с ней по комнате, будто в вальсе.

– Выиграли, выиграли, выиграли! Я знала, я всегда знала, что мы должны выиграть. Вы все не верили, говорили, что это чепуха, что выигрывают только свои люди и все подстроено, но я знала: выигрывают! А

чем мы хуже! Ну, Натан, что ты сидишь, как истукан! Скажи что-нибудь! – Ее глаза сияли, большая грудь подпрыгивала, по полным щекам разливался румянец.

Натан открыл было рот, но Соня опередила его:

– Улетим отсюда в Канаду. При миллионе долларов с эмиграцией нет проблем. В Торонто. Там моя подруга Клара; купим дом, машину, остальное положим в банк и будем жить без проблем.

– Да не хочу я в Канаду! – сказал Натан. – Там зима еще суровей, чем на Украине. Только отогрелись тут.

– Зима суровая? – вскипела Соня. – Да мы тут зимой мерзнем больше, чем на Украине. Там мороз только на улице, а дома, в квартире, у нас было плюс двадцать пять; я ходила в легком халате с коротким рукавом. А здесь... посмотри на термометр: сейчас семнадцать, а ночью будет четырнадцать. Сколько денег на обогрев уходит. Я там так не мерзла...

– Что мне та Канада! – возразил Натан. – Здесь у меня друзья, знакомые. Привыкли уже. Я здесь дома!

– Ничего себе, дома! Мы здесь сидим, как на вулкане. С Ливана стреляет “катушами” Хизбалла, автобусы взрываются, арабы режут людей ножами, марокканцы, эфиопы, правые грызутся с левыми, религиозные поджигают “русские” магазины, перекрывают дороги, они друг друга ненавидят больше, чем арабских террористов. Тут может быть гражданская война. Сами поубивают один другого прежде, чем это сделают арабы... И вообще, я заполняла карточку лото, я имею больше прав распоряжаться этими деньгами!

– Но ведь пособие нам платят на двоих... Деньги общие, которые я уплатил за карточку, – нетвердо возразил Натан.

– Ты всегда говорил, что “лото” обман, ерунда. Ты не верил. Это я настаивала заполнять карточки. Ты и эту не хотел, чтобы я заполняла.

Вдруг на ее лице мелькнула злорадная усмешка:

– Сейчас позвоню Векслерам! Хана все время хвастается: то они купили новую машину, то кожаный салон, то ездили отдыхать в Испанию с видеокамерой. Представляю, как вытянется ее обезьянье лицо, когда она узнает, что мы выиграли пять миллионов шекелей! Это же больше, чем миллион долларов... Тоже счастье закаканное – другие выигрывают двадцать миллионов шекелей, а мы, если уже и выиграли, так только пять... Особенно не разгонишься. Даже приличную виллу купить нельзя...

– Скажи спасибо и за пять, – буркнул Натан.

– Кому спасибо, кому спасибо? – У Сони изо рта летела слюна. – Это мои кровные деньги. Я всю жизнь ждала, ждала и надеялась... И если уж дождалась, то всего чуть больше миллиона долларов.

– Тебе мало? – улыбнулся Натан. – Да мы вчетвером за всю жизнь столько не заработаем.

– Представьте себе, мало, – спокойно и рассудительно сказала теща. Она вышла из своей комнаты и решила, что ей пора вмешаться.

Соня и ее мама Бася были очень похожи. Бася родила Соню в семнадцать лет. С годами разница значительно уменьшилась. Их иногда принимали за сестер, когда они шли рядом. Обе небольшого роста, полные, грудастые, толстоногие...

Бася взяла розовый листочек лото, видела она хорошо без очков, и, внимательно взглядевшись, сказала:

– Соня, а ведь эти цифры я тебе назвала. Помнишь, когда ты заполняла карточку, ты сказала: “Мама, назови любые шесть цифр”. И именно цифры, что выиграла, я и назвала!

– Разве эти? – протянула Соня.

– Да, именно эти. Имей совесть признать. Не брать же было мне у тебя расписку. У меня больше всех прав на эти деньги. Ну, не на все, у меня все-таки есть совесть, а так, процентов на пятьдесят. Мне этот Израиль с его дикой жарой надоел. Этот язык – ни понять, ни прочесть. То какие-то точки, то без точек. Вернусь на Украину. Не хотите со мной, поеду одна. Хоть на старости лет поживу спокойно, сама для себя.

– Куда это вы придумали, Бася Марковна? – сказал Натан. – Там разруха, бандитизм, люди голодают.

– Ну, у кого деньги есть, тот не голодает, всего завались! Куплю в районном центре дом с садиком возле реки. И с продуктами легче, и тишина. Там у меня две сестры остались. Помогу их внукам поступить в институт. Сейчас это все за доллары. Хоть добрым словом вспомнят.

– Что ты говоришь, мама?! – возмутилась Соня. – Мы что, тебя обижаем? Разве тебе с нами плохо? Придумала тоже, забрать полмиллиона долларов. У тебя родная внучка есть, а ты беспокоишься о двоюродных? Нашей Розочке разве не нужно учиться? Найдем ей учителей, пошлем ее учиться в Америку или в Европу – деньги нужны. Миллион этот, как кот наплакал. Особенно не разгонишься...

– Розочку я не обижу. Да она и сама себя в обиду не даст.

Недаром говорится: “Про волка промолвка, а волк на порог”. И действительно, щелкнул дверной замок, открылась дверь и вошла Розочка. Ей было двадцать пять лет, она была не замужем и училась на курсах секретарей. Маленькая, миниатюрная, хрупкая, но не худая и очень хорошенькая, Розочка, единственное и позднее дитя – ни в чем не знала отказа. Еще поднимаясь по лестнице, она услышала, что дома говорят на повышенных тонах.

Дверь-”пладелет” очень прочная, но звуки пропускает, как решето воду.

Узнав про выигрыш в пять миллионов шекелей, Розочка вся зарделась,

симпатичный носик вздернулся, голубые глазки засверкали. Она захлопала в ладоши и запрыгала от радости.

– Вот здорово! Недаром мне снилось, что я провалилась в канализацию и вся вымазалась в говне. Ну, не верь после этого снам!

Она подернула овальными плечиками и сбросила маленький изящный кожаный рюкзачок.

– Куплю себе шикарную квартиру в Тель-Авиве. Театры, опера... А в эту дыру и носа больше не покажу. Посмотрю Париж, Венецию, остальные деньги в банк – и буду жить на проценты. Зачем мне работать с этими дебилами...

– Розочка, как же так? Тебе учиться нужно, ты еще молодая. Возьмем тебе преподавателей. Поступишь в университет! – сказала Соня.

– А зачем? Для чего люди учатся? Чтобы деньги зарабатывать. А они уже есть! Нужно только ими толково распорядиться. А я уж сумею, будьте спокойны!

– А как же мы?

– А что вы? – Розочка вдруг хищно улыбнулась и обнажила ряд ровных, белых зубов, острых, как у пираньи. – Зачем вам, старикам, деньги? Пособие получаете, квартира амидаровская у вас есть, купат-холим вас лечит! Что вам еще надо? Вы что, не хотите, чтобы ваша единственная дочка устроила свою жизнь?

– Мы тоже, может быть, хотели бы посмотреть и Париж, и Венецию, – сказал Натан.

– Телевизор смотрите! Зачем вам ездить? Вы не молодые люди. Страховка медицинская дорогая. В клубе кинопутешествий все показывают...

– Вот бабушка говорит, что пятьдесят процентов – ее, она цифры назвала те, которые выиграла, – неуверенно протянула Соня.

– Бабушке пятьдесят процентов? – Розочка круто повернулась на каблуке в сторону Баси Марковны. – Да вы рехнулись! Зачем ей такие деньги? Да с нее песок сыплется! Она же обеспечена. Пособие по старости получает? Получает! Крыша над головой есть? Есть! – Розочка загибала пальцы с длинными, острыми, как кинжалы, ногтями, окрашенными лаком цвета крови. На лице ее возник свирепый оскал, и вместо миловидного оно стало неприятным и даже страшным. Казалось, вот-вот она вонзит свои ногти-кинжалы в лица мамы и бабушки.

– Ишь ты, разогналась! – возмутился Натан. – Мы тоже еще живые люди. Привыкла, что все тебе и тебе. Нам тоже еще не по сто лет!

– Раз она такая, то я принципиально заберу свои пятьдесят процентов, – с обидой, но твердо сказала бабушка Бася.

– Да я вас всех в бараний рог скручу, старичье поганое! – Розочка топнула ножкой и угрожающе придвинулась к бабушке.

Словно сирена, зазвенел дверной звонок. Соня приложила палец к губам и направилась к входной двери.

Вошел Коля, парень лет двадцати пяти, сосед с верхнего этажа. От него несло спиртным.

– Выиграли в лото миллион долларов? Вы так орете, что на весь дом слышно! Вот это да! Ну и везуха! Поздравляю! Это дело надо обмыть. Слушайте, одолжите десять тысяч долларов. Для вас это сейчас – пустяк, а мне вó – позарез надо! Я отдам, отдам с процентами.

– Коля! Мы еще не знаем, кто выиграл и сколько, и на каком мы свете! – двинулся на соседа Натан. – Нам сейчас не до тебя. Иди, пожалуйста, к себе, мы еще ничего не знаем...

– Ну, как же, я же слышал, все слышали, вы так орете! – Коля пятился к двери.

– Иди, иди, не до тебя сейчас! – Натан открыл дверь, показывая, что Коле надо уйти.

– Я отдам, вы же меня знаете. Я не балаболка какая-то там, – говорил Коля уже за дверью.

– Ну вот, раскричались, нам теперь прохода не будет. Идемте на кухню, оттуда не слышно, – приглушенно сказала Соня.

Сначала разговор на кухне шел шепотом, но вскоре атмосфера стала снова накаляться.

– Я за свою жизнь ничего хорошего не видела! – уже почти кричала Соня. – Там, – она указала рукой, видимо, в сторону бывшего СССР, – горбатилась на работе и дома. Ни одного светлого дня не было. И тут то же самое. С одного никайона на другой. А дома вари ему обед, жарь котлеты, убирай, – она гневно глянула в сторону Натана. – Хочу пожить в свое удовольствие тоже. Я еще не старая. Делим деньги на четыре части поровну. Я не желаю сидеть здесь на бочке с порохом. Уезжаю к своей подруге детства в Канаду. Со своими деньгами я ей в тягость не буду.

– Я согласна все делить поровну, – сказала Бася Марковна. – Я тоже еще ничего хорошего в жизни не видела. Вернусь на Украину. Наконец, буду сама себе хозяйка...

Снова настойчиво зазвенел дверной звонок.

– Опять этот пьяница. Пойду выставлю его, – сказал Натан.

Но в дверях стоял человек, одетый во все черное. Черная борода и черная шляпа.

– Вы выиграли много денег! – по-русски сказал он. – Поздравляю. Пожертвуйте на синагогу пару тысяч долларов.

– Откуда вы знаете? – поднял брови Натан.

– Все знают. Вам бог послал удачу. Отблагодарите же и его.

– Бог, если он есть, в деньгах не нуждается.

– Но они нужны нам, тем, кто ему молится, кто изучает Тору.
– Почему же он послал деньги мне, а не вам?
– Выпишите чек, – настойчиво сказал человек в черном.
– У нас нет чековой книжки, оставьте нас в покое. У меня в данный момент денег нет! – Натан закрыл дверь. – Слетаются на чужие деньги, как воронье.

Опять раздался звонок, но это уже звонил телефон. Натан снял трубку. Женский голос что-то быстро говорил на иврите. Трубку взяла Розочка, лицо ее стало озабоченным. Она в сердцах швырнула трубку на рычаг:

– Подумать только, уже пронюхали! Звонили из “мас-ахнаса” – налоговой инспекции. Требуют налог – тридцать пять процентов от выигрыша. Откуда они знают?

– Соседи донесли, а может, по компьютеру вычислили, – сказала Соня.
– Надо быстро разъезжаться, пока нас не обчистили.

Телефон звонил снова и снова. Трубку брала Розочка: только она свободно владела ивритом.

– Ну, надо же, – сказала она, закончив разговор, – звонили из “Ами-дара”. Требуют в течение недели освободить квартиру. Миллионерам, говорят, амидаровские квартиры не полагаются. И из “Битуах леуми”. С этого дня вам прекращают выплату пособия. Крупный выигрыш считается доходом. И снимают медицинскую страховку. Теперь все наличными.

Натан сокрушенно покачал головой:

– Не было несчастья, так счастье привалило.

...Он проснулся, лежа на левом боку. Давило сердце, и он был весь в поту. Рядом легко похрапывала Соня.

– Слава Б-гу, она здесь и никуда не уезжает, – подумал Натан. Он сел, нащупал ногами тапочки и направился в туалет. Его тревожный взгляд прошелся по столу и задержался на розовом пятне. В мягком свете нарождающегося дня загадочно-зловеще розовела непроверенная карточка лото...

Инна Захарова

Возвращение

1.

Когда я вернулась в ту осень из лета чужого,
молочные реки тумана мне плыли навстречу,
и я повторяла чужое случайное слово –
неведомый ключ от внезапно растаявшей речи.

И я вспоминала коричневый берег печали,
где плач муэдзина пронзал тишину на рассвете,
где серые чайки над медленным морем витали
и тучи ловили прохожих в скользящие сети.

Когда я вернулась в осеннюю сладость разлуки,
которая стала моей обретенной землей,
над тем же костром грело солнце озябшие руки,
то солнце, которое всюду ходило со мною.

2.

Век не летать бы мне в брюхе железного зверя.
Я не умею ловить эти звезды руками.
Небу вокруг и земле подо мной я не верю, –
но ничего не поделаешь: хочется к маме.

Хочется так, как и в детстве со мной не бывало.
Так не хотелось мне к ней ни в обиде, ни в кори.
Наше пространство разнять и сложить бы сначала
И совместить наши страны, и степи, и море.

Горло горы захлестнула петля серпантина.
Дом при вершине – не тот, у пруда с камышами
Воздух горячий и странная, красная глина.
Все здесь чужое. Но, Господи, хочется к маме.

* * *

Умный компьютер играет в слова
С мальчиком умным. Скучает собака.
Век на исходе. Моя голова
Не вмещает всей сложности знаков
Нового времени. В небе плывет
Чья-то улыбка, как странная птица,
Что улетать никуда не стремится
И вне пространства на свете живет...
Век в отдалении, как матовый куб,
Вот и в него не вписалась планета.
Льется отдельно от времени лето,
Перетекая в широкий раструб
Нового века, где нужно прижиться...
Та же улыбка над миром кружится
И не касается сомкнутых губ.

Алиса Ягубец

* * *

Не изведав осенней печали,
Эти весны молчали во мне:
Эти сосны ветвями качали
На доступной лишь им вышине.

Не отведав дождя и разлуки,
Что вплетались в ночной небосвод,
Их дрожащие древние руки
Набирали таинственный код.

И, на клавиши звезд нажимая,
Зажигая в глазах моих свет,
Словно рана небес ножевая
Поднимался и бредил рассвет.

Эта ночь, что просила покоя,
Отступала в глубины души.
И, как отзвук морского прибоя,
Затерялась я в этой тиши...

Ушедшим

Как неизбежно все проходит,
Как после наступает ночь
И разговор со мной заводит
И словно хочет мне помочь

И вы ухóдите, родные,
И оставляете тоску,
И рассыпаете смешные
Слова пустые по песку.

И только бежевая старость,
Как штукатурка на стене,
Твердит, что больше не осталось
Ни одного из вас во мне...

Мальчик

...И какому же дому доверить тебя я могу,
Мой мужчина, мой мальчик, мой сын отвоеванный? Ныне
И все время – во сне, наяву – я опять за вагоном бегу,
И земля под ногами, как сердце бездомное, стынет.

Я готова идти хоть до самых эдемских врат
И упасть возле них, если надо тебе это будет,
Мой мужчина, мой мальчик, мой старший и маленький брат,
Что меня каждый раз в феврале возвращением будит.

Так какому же дому доверю тебя я, скажи?!
И какому, скажи, я подвластна теперь пораженью?
Без тебя иль с тобой – я дойду, долечу до межи,
Чтоб тебя отыскать на краю, в бесконечном движеньи.

Нина Мамонтова

Клячеловка и ее обитатели

Впервые я встретила Мешайлова в те неповторимые времена, когда шизофрения была нормальным способом жизни советского человека.

Чудесный сорокалетний мальчик по имени Юдочка Кикиченко имел один существенный недостаток: озабоченную личной неустроенностью сестрицу. Если вы знаете хоть одну одинокую даму, не озабоченную подобным образом, можете смело заносить ее в Красную книгу, где она по праву займет почетное место. На примере Юдочкиной сестрички Долечки Кикиченко можно лишний раз убедиться в амбивалентности нашего мира: Бог разлучил ее с первым любимым мужчиной, но тут же дал второго. Сверх того, кстати, ребенка от первого любимого мужчины тоже дал, дабы было к кому прикладывать щедрые таланты. Помню лето нашего знакомства в то далекое не по времени, а по историческим переменам время. Исторические перемены хороши в учебниках, а в жизни они имеют грустную тенденцию оную жизнь осложнять. Не знаю, насколько я понравилась Доле, носительнице утонченной культуры, но мое родовое гнездо пришлось ей очень по душе. Она часто приезжала, сбрасывала Крольчонка на произвол меня, оккупировала диван, вдохновенно закрывала томные очи и являла свои таланты в области художественного храпа. Утомившись творческими порывами, Доля с тою же неземной искрой в томных очах отведывала нашу с Крольчонком стряпню, никогда не говоря о ней худого слова, что всегда трогало меня невероятно, после чего шла общаться с природой, черпая полной мерой из этого естественного источника вдохновения.

Но вернемся к Мешайлову. В тот погожий июньский день мое знакомство с Мешайловым начиналось с чистого листа. Я вылезла на улицу проветриться и обнаружила в десяти метрах от дома Долю Кикиченко. Рядом с ней вышагивал длинноногий облезлый аист с внушительным рюкзаком за плечами, а на нем, как на троне, восседало восхитительное пушистое создание с очаровательной мордашкой, на коей преобладали достоинство и царственная невозмутимость. В полном восторге я рванулась к этому созданию с распростертыми объятиями. Аист принял бурные объятия на свой счет и малость оторопел. Еще больше он оторопел, когда выяснилось, что я охочусь не за ним, а за его пушистым сокровищем.

– Какая прелесть! – завопила я, прижимая оное сокровище к материнской груди. – Как зовут?

– Мешайлов, – оскорбленно представился аист. Было видно, что он с трудом переносит вымещение своей особы на задний план. – А это мой Малыш.

Он произнес слово “мой” с нажимом, дабы в корне пресечь всяческие поползновения на его собственность. Забегая вперед, скажу, что кот оказался умнее хозяина и остался жить у меня.

– Клячеловка, – представилась я в ответ, с форсайтской гордостью ткнув пальцем в окружающий пейзаж. Потом указала на родимые хоромы: – А это, по выражению моей Головешки, Абрамцево, где собираются все Абрамы.

Аист буквально застыл с поднятой ногой. Его ошалелый взгляд выражал одновременно непонимание, обиду и возмущение. Кретин, мелькнуло у меня, или же напрочь отсутствует чувство юмора. Как вскоре выяснилось, имело место и то, и другое. И много еще чего. Если бы я знала, к чему приведет мое гостеприимство, я придушила бы его в зародыше. Ценность нового приобретения выявилась сразу. Мешайлов починил фронтон всего лишь за половину будущего урожая – поразительная дешевизна! Выкосил траву вместе с клубникой, привел в рабочее состояние инструмент, но охотнее всего мыл посуду, носил воду и помогал готовить. Наконец-то в доме появился мужчина.

Правда, я не подозревала, что мне был открыт счет, по которому позже пришлось платить. Мешайлов считал, как компьютер, причем в долларах. Столько-то “капусты” за каждое ведро воды, столько-то – за каждый взмах косы и т.д. В свободное время Мешайлов строил глобальные планы, все чаще включая в них Клячеловку.

– Я, – говорил Мешайлов с понятной гордостью, – потомственный интеллигент. Отец – военный инженер-строитель, мать – врач в бесконечном поколении, старший брат – математик, средний – физик, сам я окончил три института и у меня на руках двадцать профессий. Вот мы каковы, Мешайловы!

– Было у деда с бабкой три сына: два умных, а третий Мешайлов, – выпалила я в полном восторге.

Надо отдать должное Мешайлову – он не врубился. Зато умная Доля Кикиченко глянула на меня с укоризной в томных очах.

– Мне здесь нравится, – признался Мешайлов вальяжно. – Я, пожалуй, осчастливорю Клячеловку своим присутствием. Возьму три гектара земли, построю двухэтажную дачу собственными руками, никому не позволю зарабатывать на мне. Сам проведу газ, воду, поставлю минигидроэлектростанцию, открою мастерскую, нет, две мастерские: столярную, токарную и мельницу. Ни от кого не желаю зависеть.

Я развесила уши. Святая простота, привыкла верить слову и печатному, и устному. В то время я, наивная идиотка, надеялась реставрировать родное Абрамцево без денег, стройматериалов и умелых рук, каковых не имелось в наличии.

– Разведу пасеку, – гнул свое Мешайлов. – Продукцию буду поставлять

только иностранным импортерам, наши гов...ки недостойны. Они пытаются загнать меня, они даром эксплуатируют мои мозги, опыт, руки. Они думают, что угрожат меня, но я им не позволю.

– Кто они? – опешила я.

– Они все, – глубокомысленно отвечивал Мешайлов. – Все, кто не дает мне жить. Но мне плевать на этих г...ков, я не позволю им угрожать меня.

Тут смутные подозрения лениво закопошились во мне.

– Мешайлов, – поинтересовалась я, – а на какие шиши ты намереваешься строить отдельное государство? Может, будешь чеканить свою монету?

– Только так, – энергично подтвердил Мешайлов и глянул на меня с некоторым уважением: надо же, баба, а предлагает умные вещи. – Плевать мне на их сраные бумажки, у меня будет своя валюта.

– Мешайловки, – с ходу придумала я название, – правильно. Всех их в хвост и гривну. Подорвешь ихнюю экономику, успешно завершишь дело Микки Авансовича, великое дело разрухи и развала. Господи, в какое значительное время мы живем! Исторический момент: возрождение феодализма в исполнении Мешайлова.

Поскольку с чувством юмора у Мешайлова была большая напряженка, он воспринял мою филиппику как руководство к действию.

– Натуральное хозяйство, – начал он с большим воодушевлением, – это единственный разумный способ существования.

Я скисла: с трудом переносу, когда Мешайлов впадает в менторский тон... Мешайлов долго распространялся, как он теорию будет претворять в практику. Сколько заведет пчел, в какие страны намерен экспортировать товар, поелику не все достойны, отдельно остановился на внешнем виде продукции. Баночки намерен изготавливать на собственном заводике, который построить для него, естественно, левое дело, этикетки тоже будет печатать в собственной типографии, обязательно со знаком качества, красивые этикетки, не то что у этих гов...ков. Я предложила добавить еще герб для солидности. Мешайлов снисходительно одобрил предложение.

– Кстати, – обратился он к Доле в повелительном тоне, – выдай мне доллары. Я уже договорился с местным пасечником купить у него три семьи. Через неделю он привезет их сюда.

– Я как-то не думала заводить пасеку, – лениво отбивалась Доля. – И монетного двора у меня нет, доллары печатать негде.

– А где ты собираешься ставить ульи? – спросила я, уже подозревая страшную правду.

Мешайлова такие мелочи, как чье-то нежелание с ним сотрудничать, мало сказать, не останавливали, скорее, вдохновляли на священную борьбу. Если бы танки изготавливали из того же материала, из которого мать-природа лепила Мешайлова, наша армия давно задавила бы весь мир. Че-

рез неделю три улья украшали мой двор. Мне пришлось пробираться на огород по-пластунски. Пчелы вообще заставляли меня интенсивно заниматься спортом. Слова у Мешайлова не только не расходятся с делом, а, я бы сказала, опережают его.

– Я, – сказал он значительно, – должен поднять сельское хозяйство на мировой уровень, раз мне, высококвалифицированному инженеру, не дают заниматься своим прямым делом. Поэтому дай мне книги по огородничеству для теории и землю для практики.

– Вот это правильно, – одобрила Доля свою сильную половину. – Мы посадим картошку и будем есть ее с медом.

– И картошки для посадки дай, – подхватил Мешайлов с энтузиазмом.

– Но у меня ее нет, – виновато призналась я.

– Так возьми у соседей, – распорядился Мешайлов. – Еще мне нужна краска, олифа и кисти красить улья и доски для ящиков под рассадку.

– Мешайлов, а этот дом со всем содержимым тебе не нужен случайно? – поинтересовалась я.

– Нужен, – сразу же согласился Мешайлов. – Спасибо тебе.

Вот так я и приобрела Мешайлова. Общение с этой выдающейся личностью невероятно обрадовало меня. Я узнала много нового и полезного. Например, что интеллигенция бывает трех сортов: русская (скончавшаяся давно), советская (почившая недавно) и мешайловская (бессмертная). Еще я узнала, что брак, сиречь полюбовное соглашение двоих, запросто может быть односторонним. Скажем, если женщина имеет виды на мужчину, она должна кормить его, поить, давать деньги на его нужды, а взамен получать радости ночи. Когда женщина пытается поставить мужчину во главе семьи, то есть стремится, чтобы ее кормили, поили и давали деньги, то ночные радости превращаются в ночные кошмары. На практике это выглядит так: однажды я застала Мешайлова на огороде за строительными работами – аккуратно забив два колышка, он натягивал шнур, делящий его с Долей участок пополам. Чрезвычайно заинтересованная, я восхитилась: надо же, какая ровная линия получается, прямо-таки эталон из палаты мер и весов. Ко мне подошла соседка по имени просто Мария. Действительно, женщина простая и незамысловатая. Я всегда восторгалась цельностью ее натуры, а еще больше ее сноровкой и бешеной работоспособностью. В шестьдесят лет она вкалывает так, словно у нее моторчик, как у Карлсона, и не просто моторчик, а перпетуум-мобиле. Встает она в пять утра и за весь день присаживается только поесть. Огород у нее вылизан, словно собачья миска, в которую уже два дня забывали положить еду. Так вот, просто Мария даже бросила работу на любимых галерах и подошла ко мне.

– Що це він робить? – спросила она судейским тоном. Все, что делалось на огороде не по ее, просто Марии, разумению, воспринималось ею, как конец света.

– Хто зна, – за что люблю рідну мову, так это за ее выразительность.

Тут Мешайлов обернулся, обнаружил зрителей, и гордая ухмылка озарила его сосредоточенное чело.

– Ну как? – осведомился он с неприкрытым восхищением собой.

– А шо це таке? – гнула свое просто Мария.

– Огород существует для того, чтобы на нем выращивать овощи, – объяснил Мешайлов моей соседке, которая сорок лет пашет на огороде, а до сих пор не знает, что она на нем делает. – Овощи, – со вкусом продолжал лектор, – это картофель, лук, огурцы, помидоры и многие другие культуры.

– Ты мені голову не запоморочуй, – сурово оборвала его просто Мария.

– Кажі, навщо ты оце мотузкою картоплю ділиш?

– Земля, она ведь труда требует, так ведь, Мария?

– Ну, так.

– Ты ведь сама землю собственным потом поливаешь каждый день, так, Мария? А для чего, можешь ответить?

– А для того, милый, щоб було шо їсти увесь рік, уразумів?

– Вот мы и подошли к существу вопроса, – удовлетворенно констатировал Мешайлов. – А чтобы кушать зимой, надо как следует потрудиться летом.

– Милый, що ти мені мозгу компостіруеш? – возмутилась просто Мария. – Вперше бачу мотузку на картоплі. Краще б ти її сполов.

– Возьми рулетку, измерь половинки, – предложила я озабоченно. – А то, не дай Бог, намеряешь себе на два сантиметра больше, чем Доле.

– Тьфу, – в сердцах сплюнула соседка, – одразу видно, що три інститута скінчив. Де ты його знайшла, такого премудрого?

– Це її чудо, – кивнула я в сторону пригорюнившейся Доли.

– А нащо вони тобі? – любопытствовала практичная соседка.

– А щоб було веселіше, – ответила я, подумав. – Такий маленький філіал дурдома. Кожні п'ять хвилин щось новеньке.

Просто Мария покосилась на меня с подозрением здравомыслящего человека, весьма выразительно пожала плечами и вернулась на свои галеры.

Меня поражала глобальность Мешайлова. Любой вопрос он решал с уверенностью, присущей лишь Господу Богу и нашей Верховной Раде. Надо признать, что и успеха он добивался примерно такого же, как и Верховная Рада. Зато был тверд в своих убеждениях. Его половина картошки блистала безукоризненной чистотой, что чрезвычайно радовало мой хозяйский глаз. Я даже подумывала отдать Мешайлову весь огород в будущем году, дабы он привел его в божеский вид. Однако Доля тоже твердо придерживалась своих принципов и за все лето ни разу даже не подошла к картошке. О Крольчонке и говорить нечего – он был нормальным ребенком, так что картошка тихо себе погибала в сорняке.

Доля горько жаловалась моей матушке на любимого мужчину:

– Вот скажите, пожалуйста, как же так можно? Он, пардон, спит со мной, пасеку вон развел на мои деньги, а как помочь, так я ему никто. Что мне с ним делать?

– А ты ему каждую ночь считай в долларах, – посоветовала моя практичная матушка. – Раз он тебе не муж, пусть платит за удовольствие.

– Тогда, – огорченно сказала Доля, – Мешайлову никаких долларов не хватит, тем более что у него их и нет.

Она, призналась Доля, возлагает большие надежды на его мед.

– В самом деле? – удивилась моя многоопытная матушка. – Дорогая, дай Бог, чтобы ему хватило медку пару раз выпить чаю.

Н-да, низковато матушка оценила Мешайлова. Он, кстати, уверял, что первых же прибылей с пасеки ему хватит вернуть долги, запастись харчей на зиму, заготовить стройматериалов на дачу, обзавестись грузовичком, а остаток он планировал вложить в какое-нибудь акционерное общество и стричь с него гривны. Результат слегка огорошил нашего предпринимателя: он выкачал ровно полторы литровых банки золотого товара.

– Первый блин всегда комом, – пояснил нам Мешайлов, большой поклонник народной мудрости.

– Да, – согласилась я, – похоже, твоя пасека в коме.

Медицинские термины немедленно навели Мешайлова на воспоминания детства.

– Моя мать была потомственным врачом, – напомнил он нам. – Она научила меня здраво смотреть на вещи. В будущем году у меня меда будет как грязи, вот увидите. А пока я расплачусь с мелкими долгами. У кого ты брала картошку?

– У одной тетки. А что?

– Хочу с ней рассчитаться. Где она живет?

– Я с ней давно расплатилась. Если хочешь вернуть долг, возвращай мне. Можно медом.

– Еще чего! – возмутился Мешайлов. – Каждый норовит жрать мой мед дарма. Ты платила за картошку, это твое дело. Я тебе помогал по хозяйству, так что ничего не должен, наоборот, ты мне должна. А тетке отнесу баночку меда обязательно, с людьми надо поддерживать хорошие отношения.

Иногда чувство юмора отказывает мне. Я заорала на всю Клячеловку:

– Ах ты, жук навозный! Целое лето жрал наши продукты, пользовался домом, как гостиницей, пользовался землей, и, оказывается, я же тебе должна за все это! Чертов демагог! Да подавись ты своим медом, чтобы завтра же твоих ульев здесь не было!

Любой нормальный человек после такой выволочки быстренько бы ретировался. Дура я наивная, дурой и помру. Мешайлов прочнее уселся на стуле, с аппетитом хлебнул чайку и сказал с отеческой укоризной в голосе:

– Так кричать очень вредно для здоровья. И, должен тебе заметить, неплохо посягать на плоды чужого труда. Поставь себе улей, я его, так и быть, сделаю за умеренную плату, и будешь есть свой мед.

– Мамочка, где взять терпение? – тихо взывала я.

– Мешайлов, поищи себе других дураков, – вступила в бой мамочка. – Сделай одолжение, убирайся вместе со своим медом восвояси.

– Почему? – искренне удивился Мешайлов.

– А потому, – с удовольствием пояснила матушка, – что ты свинья каких мало.

– Редкий экземпляр, – добавила я.

– Вот те на! – поразился Мешайлов. – Я человек самостоятельный, привык все делать своими руками, закончил три института, а мне говорят такое!

Переспорить Мешайлова нам не удалось, выставить из дома тоже. Он развил бурную хозяйственную деятельность. Загрузил свою картошку в мой погреб (он собрал аж восемь ведер, а посадил семь, – откуда взялось восьмое?), занял у меня мешок сахара для своих пчел, в чем выдал расписку моей ушлой матушке. Сахар он возвращает по сей день, а расписку я как-то постеснялась заверить у нотариуса, да и Мешайлов великодушно простил мне свой долг.

Следующий год был похож на предыдущий. Все в природе повторялось, как и положено. Постоянство несвойственно лишь человеческой натуре, хотя исключений хоть отбавляй. Но вернемся к Мешайлову. В то дивное лето я наслаждалась общением с головешкиным семейством. На лужайке за сараем поставили две палатки, в одном спало Чадо с Котенком, во второй мои коты. Гера с Головешкой предпочитали ночевать в доме, особенно в сырую погоду. Как же нам было хорошо вместе! Прошло каких-то четыре года, а кажется, будто все происходило в предыдущей жизни. Головешкино семейство уже три года в Земле Обетованной: они, сердечные, не вынесли перемен к лучшему в родимой сторонке. В те благословенные дни, когда разлука снилась нам лишь в кошмарных снах, мы проводили лето в Клячеловке весело и плодотворно. Гера, широкая натура, никогда не упускал возможность устроить праздник души с неизменными шашлыками, обязательной водкой и полным набором собственных песен.

Утром мы с Герой смотались на базар, закупили роскошное мясо, само собой, на все бабки, которых должно было хватить на две недели минимум. Какие там две недели! Нам не хватило даже на обратную дорогу. К счастью, попался сознательный “жигуленок”, который довез нас за “спасибо”. Сначала мы продемонстрировали всей компании, какие замечательные покупки сделали, а потом признались в финансовом преступлении.

– Гера, – в полном шоке воскликнула Головешка, – о чем ты думал?

Гера честно признался, что думал о шашлыках, а я, как всегда, ни о чем не думала.

– И что мы будем жрать после шашлыков? Сорняки с огорода? – поинтересовалась практичная Головешка.

– К чему эта агрессивная паника? – с великолепным презрением отмахнулся Гера. – Что за революционные настроения в наших рядах? Прорвемся, в первый раз, что ли? – И он принялся священнодействовать над мясом.

Пока милые бранились, я втихаря скармливала мясо котам. Шестеро моих и трое соседских – можно представить, до чего была расстроена Головешка, раз до сих пор не замечала пушистое море вокруг? Когда я чувствую себя виноватой, я либо терзаюсь муками ада, либо пытаюсь реабилитироваться. Сейчас, быстро потеряв вкус к мукам ада, я интенсивно искала выход из финансового краха. Можно сказать, решала государственный вопрос, нашла два: пойти с протянутой рукой по Клячеловке в надежде на милосердие или же отправить по дворам Головешку, благо она дипломированный психиатр, раздавать диагнозы в обмен на продукты. Но вернемся к Мешайлову. Едва мы расположились за столом, как вошел Гера с пренеприятным известием, что к нам пожаловал Мешайлов.

Медленно, словно занавес в театре, дверь распахнулась и на пороге возник незванный гость. Его глаза вспыхнули нездоровым блеском при виде накрытого стола.

– Обедец! Превосходно! – он энергично потер руки, живо подсел к нам и притянул к себе тарелку с бутербродами.

Мешайлов расправился с ними быстрее, чем мы вышли из столбняка, куда он нас загнал своим появлением. Покончив с нашими бутербродами, он принялся за свои.

– Малыш, – позвал он своего бывшего кота. – Иди сюда, я тебя угощу котлеткой.

Кот с удовольствием принял подношение.

– Мешайлов, – сказала я довольно резко. – Угостил бы ты лучше ребенка.

– У него есть родители, – ответил великий воспитатель. – Почему я должен кормить чужих детей?

– А почему я должна кормить тебя?

– Я сам себя кормлю. Я привык к самообеспечению. Чего и другим желаю.

Обед прошел под девизом “Золотая голова и золотые руки”. Мешайлов увлеченно строил модель идеального человека, само собой, по своему образцу и подобию. После обеда я взялась мыть посуду, Головешка принялась с ожесточением резать салаты, причем чувствовалось, что с гораздо большим удовольствием она пустила бы под нож Мешайлова. Гера с Крольчонком занялись костром – дело очень тонкое и ответственное. Мешайлов подсел к ним и со вкусом принялся распространяться на тему, как надо жить. Естественно, как он, Мешайлов. На полном самообеспечении.

В этот день я открыла в Гере два новых библейских качества: долго-

терпение и христианское смирение. Он безропотно сносил мешайловское общество, молча терпел его поучения, и все это в течение трех часов! Тринадцатый подвиг Геракла!

Мы накрыли стол под шелковицей. Любо-дорого было посмотреть! Разнообразие закусок, салатов, консервации, море домашнего томатного сока, фруктовых компотов, водка, красное вино, самогон – вклад щедрых соседей и, конечно же, гвоздь пиршества – шашлыки, любимое детище Геры – сочные, румяные, в окружении золотистого лука и поджаренных помидоров. Удались они на славу.

Собаки мои лежали в обмороке от обалденных запахов, более практичные коты заняли боевые посты вокруг стола, их примеру последовал Мешайлов.

– Великолепно! – он обвел одобрительным взглядом дело рук наших и сообщил конфиденциально: – Шашлыки – вещь хорошая, я их люблю.

– Мешайлов, – ласково сказал Гера, – кажется, ты сегодня весь день проповедовал самообеспечение?

– Да, – важно согласился Мешайлов, – человек должен сам себя обеспечивать, это его святой долг.

– И единственная цель в жизни, – добавил Гера без тени юмора. – Очень правильные вещи говоришь.

– И не только говорю, но и поступаю соответственно, – заверил нас Мешайлов. – За это надо поднять первый тост.

– Мешайлов, – продолжал Гера с той же ласковой невозмутимостью. – Объясни, пожалуйста, какое отношение ты имеешь к этим шашлыкам? Ты покупал мясо, готовил закуски? Ты хоть кусок хлеба принес в этот дом?

Я почувствовала себя неуютно. Моя проклятая амбивалентность немедленно принялась терзать меня. С одной стороны, Гера абсолютно прав, мешайловская наглость превзошла себя, и Гера, как мужчина и настоящий друг, пытается мне помочь. Но с другой стороны, будь она неладна, чертов Мешайлов у меня в доме и гнать его рука не поднимается. Откуда в нашей здоровой крестьянской семье эта интеллигентская рыхлость? Вон Холера, дай Бог ей здоровья, интеллигент в нескольких поколениях, когда нужно, открывает свой породистый рот и выпускает такую очередь рабоче-крестьянских словечек, что земля становится на дыбы от ужаса. А солнце краснеет от стыда и поскорее прячется за горизонт. А я не в силах произнести двух простых слов: “Пошел вон”. Что-то изменилось в природе, не иначе радиация. Мешайлов все никак не мог понять, чего от него хотят. Гера терпеливо объяснил ему, что раз он проповедует самообеспечение, пусть сам себя и обеспечивает, в полном соответствии с любимым своим коммунистическим лозунгом: “Кто не работает, тот не ест”.

Мешайлов был поражен до самых печенок, когда наконец понял, что его выставляют из-за стола. Самолюбие не входило в число мешайловских

добродетелей, поэтому он еще какое-то время пытался зацепиться за место под луной, пока Гера, потеряв остатки библейского смирения, не велел ему убираться подальше. Я что-то вякнула про свой хозяйский долг. Гера сурово пресек меня на корню.

– Держись от него подальше, – дружески посоветовала Головешка, – у него же диагноз ярко горит во лбу, как звезда. Срочно избавляйся от него.

Легко сказать... К счастью, на наш аппетит изгнание Мешайлова не повлияло. Славно мы тогда посидели. А потом пьяные, веселые, отправились на пруд. Я была уверена, что Гера избавил меня от Мешайлова раз и навсегда. Святая простота! Наутро Мешайлов присоединился к нам за завтраком как ни в чем не бывало.

Психиатрия – хорошая штука, но для нормальных людей. Шизофреникам она ни к чему. Прошло лето, как все проходит в этой жизни. Осень началась с черной полосы. В один из чудесных погожих дней я благополучно опрокинула на себя полный чайник кипятку, обварила полторы ноги, чем сразу осложнила свое существование, и не только свое. Я вообще люблю влипнуть в подобные ситуации. И, как всегда, вовремя: пора было копать картошку. Я даже не порывалась братья за лопату. Вскоре приехала матушка, увидела мои ноги, в обморок не упала, но и перспективе самой вкалывать на огороде тоже не обрадовалась.

– Что за идиотский способ отлынивать от работы, – ворчала она.

– Лучшего не придумала, – призналась я. – Да ладно, черт с ней, с картошкой, пусть остается на месте. Глядишь, весной не надо будет сажать новую.

– А зимой что будем жрать?

– Купим у просто Марии, всего-то делов: две-три твои пенсии.

Матушка отреагировала на должном уровне:

– Мало мне твоих котов, так еще и тебя тянуть до самой старости?

– А как ты хотела? Дети, матушка, затем и существуют, чтобы было кому ездить на родительском горбу. Это – закон природы, с ним не поспоришь.

– То-то ты ребенка не завела, свой горб пожалела, чертова эгоистка, – буркнула моя любящая матушка.

– Я пожалела не столько свой горб, сколько твой, – возразила я. – И, потом, мать, от судьбы, говорят, не уйдешь. Вот я и не ушла.

Матушка вздохнула и поплелась на огород. Бедная! Этот год оказался последним нормальным годом для нее. Следующей весной ее настиг инсульт: левая рука и нога отказали ей, но не отказал природный оптимизм. С каким мужеством несла она свою беду, до конца верила, что сумеет победить болезнь. Увы, через два года проклятая хворь доконала ее. Но в ту осень мы, естественно, не подозревали о готовящемся ударе судьбы. Матушка возилась с картошкой, а я доводила ее до белого каления своими советами. Дня через три объявился Мешайлов. Я даже обрадовалась: наконец-то матушке прибыла помощь.

– Что?! – не понял Мешайлов. – Я должен горбатиться на твоём огороде?
– А с чьего огорода ты здесь подъедаешься? Со своего, что ли? – попыталась я усювестить Мешайлова.

Он отмахнулся от меня, как я от его пчелы:

– Сколько мне надо, я всегда выкопаю, а эксплуатировать себя не позволю.

И не позволил. Валялся под смородиной целыми днями, книги почитывал. Любому терпению приходит конец. Собравшись с духом, я попросила Мешайлова убраться из моего дома. Тут он и огорошил меня:

– Солнышко, я столько трудов вложил в твоё хозяйство, что оно частично теперь мое. Здесь все на тридцать процентов принадлежит мне. Знаешь, сколько ты мне должна?

Я взвилась под облака:

– А сколько ты мне должен за хлеб с маслом, за крышу над головой, за хранение твоего барахла все эти годы?

– Ну, давай сядем посчитаем, кто кому больше должен.

– Да пошел ты на... – предложила я.

– Нехорошо так выражаться, – с удовольствием принялся воспитывать меня Мешайлов. – Особенно женщине. Вот я, мужик, с тремя дипломами, потомственный интеллигент, не позволяю себе подобных безобразий. Чистота языка – первейший долг каждого культурного человека. Вот я...

Мне пришлось спастись бегством. А на другой день до меня дошли слухи, что Мешайлов намерен отсудить тридцать процентов моей собственности. Оставил в сельсовете заявление, чтобы ему отдали летнюю кухню и треть огорода. Ну как тут не вспомнить сказку о зайчике, которого выгнала из дома мерзавка-лисица! Однако роль беззащитного зайчика не подошла моей незакомплексованной матушке. Узнав о мешайловских прожектах, матушка пустила в ход палку, и ему пришлось спастись бегством вместе со своими ульями. Я вздохнула с облегчением. И напрасно. У историков все дороги ведут в Рим, у Мешайлова, который все любит делать своими руками, в том числе историю, все дороги ведут в Клячеловку. Глубокой осенью, когда зарядили дожди, когда зима заглядывала в окна, когда от тоски хотелось лезть на стенку, Мешайлов, что называется, приполз на брюхе: жалкий, вдрызг простуженный, с температурой, с ключей проволокой на впалой физиономии, натуральный бомж по виду.

– Можно, я переночую у тебя пару дней? – спросил он с несвойственной ему робостью.

Вот когда я познала истину, что все бабы дуры. После того, что мы с боем расстались, принимать его снова было махровым идиотизмом, и я проявила его в полной мере.

Мешайловская пара дней растянулась на три недели. К счастью, всему на свете приходит конец, даже плохому. Вскоре мне стало просто не до Мешай-

лова. Головешка, Гера и Котенок уезжали в Землю Обетованную, полные безрадостных надежд, а наша дружная компания пыталась примириться с неизбежным, как будто это возможно. Последнюю неделю я провела в их квартире, и каждая минута общения была на вес золота. Потом была долгая слякотная зима, промозглая, отвратительная, одинокая, какая-то беспросветная. Я сиднем сидела в Клячеловке, мир казался мне совершенно пустым и чужим, я словно предчувствовала дальнейшие беды. Верно говорят: если ждешь беду, она обязательно нагрянет. Весной случилось несчастье с матушкой, еще через два месяца мне пришлось лечь на операцию – тоже не самое радостное событие в жизни. Правда, закон амбивалентности утверждает, что и в плохом есть хорошие стороны. Я убедилась в этом лишний раз, с удовольствием наблюдая, как друзья мои буквально стали на уши, спасая меня.

Увы, пора вернуться к Мешайлову. Много чего могла бы я порассказать о нем, ибо Мешайлов – редкий экземпляр даже среди пестрого поголовья шизофреников. Например, как он сажал картошку под линейку, вымеряя положенные двадцать сантиметров между ямками, чтобы, упаси Бог, не уклониться ни на сантиметр, или как ему понадобился завод, чтобы удлинить собаке цепь, или как привез две буханки хлеба (первые за три года), а потом заявил, что кормил нас с матушкой и наших гостей целое лето, или как он ходил по селу и пытался занять денег у соседей, клятвенно уверяя, что я отдам его долги. Мешайлов творил поэмы без пера, бумаги и вдохновения, они были в его мозгах.

– Ты знаешь, – сообщил он мне конфиденциально, – все гов...ки, что причиняют мне зло, плохо кончают. Один попал в автокатастрофу, другой сломал ногу, третий обанкротился.

– Типичные совпадения, – предположила я.

– Ну уж нет, – с обидой отмел Мешайлов. – За меня мстят высшие силы. Мне всегда становится легче, когда “скорая помощь” с сиреной увозит их: в меня сразу вливается новая энергия.

– Кого “их”? – безнадежно спросила я.

– Этих стариков и старух, которые жили за мой счет, эксплуатировали мой труд и мои мозги.

Вот так, простенько и со вкусом. У меня появилось желание угостить дорогого гостя тушеными мухоморами. Но моя многомудрая Холера, дай Бог ей здоровья, подсказала:

– Ты продашь Мешайлова вместе с домом. Это единственная возможность избавиться от него.

Идея продажи родной Клячеловки меня мало вдохновляла, но деваться некуда. По совокупности причин, одной из которых является желание быть вместе с друзьями, ибо век наш краток, и каждый день общения на вес золота.

P.S. Кажется, Клячеловку покупает “новый русский”. Бедный Мешайлов!..

Михаил Геллер

Детское

Потеха

Ой, умора!
Ой, потеха!
Ой, сейчас
Умру от смеха!

Рвалась книжка у обложки,
Кралась мышка ночью к кошке,
Ветка лопнула на почке,
В помидорах скисли бочки.

Ой, умора!
Ой, потеха!
Ой, сейчас
Умру от смеха!

Мухомор шепнул лягушке:
– Погуляем на опушке?
А лягушка отвечала:
– Я опенку обещала.
Солнце таяло на льдине,
Рос крыжовник на осине...

Что самое вкусное

Скажите, что самое вкусное в мире?
Конечно, конечно, картошка в мундире.
Не та, что томится в кастрюле с утра,
А та, что печется в золе у костра.

Скажите, чем пахнет такая картошка?
И дымом, и ветром, и солнцем немножко.
Сперва мы в ладонях ее покатаем,
Потом чуть подуем, потом разломаем.

И вот захрустели румяные дольки.
Ни хлеба, ни соли не надо нисколько.
...Под первой звездой разгорается пламя,
Идите сюда, мы поделимся с вами!

Туман

Ночевал туман в реке –
И промок.
Стал сушиться в ивняке,
Вдаль дорог.
Расстелился над стерней,
На лугах,
Легкой свежестью речной
Весь пропах.

Смотрит Лена из окна,
А дорога не видна.
И не видно ивняка,
Непонятно, где река.
Нет ни луга, ни стерни.
Кто ответит, где они?

Феликс Хармац

Лаврентий Павлович Гершензон и Черт

Лаврентий Павлович Гершензон шел по улице. Он шел по улице и думал о причинно-следственных связях и о том, как все в этом мире конгруэнтно. Он шел и думал о квазиспонтанности квантования. Он шел и думал о бутерброде с колбасой. Он шел и попеременно – то левой, то правой ногой – пинал маленький плоский камушек по тротуару. Светила полная луна. Было десять часов вечера.

– Глупости все это, – сказал Черт.

– Что – все?

– А все! И луна вот эта, и улица, и камушек – все глупости. Потому как – материально.

– А вот и не глупости, – сказал Лаврентий Павлович Шергензон. Тут он обратил внимание на внешность незнакомца и сразу догадался, что это Черт.

– Я вас узнал, – сказал Лаврентий Павлович Шнеерсон. – Вы – Черт!

– Да, я – Черт, – сказал Черт, – а все остальное – глупости.

– Нет! Нет! Не может быть! – воскликнул Лаврентий Павлович Шнейдерсон.

– Глупости, глупости, – настаивал Черт. – И луна, и улица, и фонарь вон тот, и аптека через дорогу...

– Как же так? – всплеснул руками Лаврентий Павлович Шендерлихт. – Неужели же все это пустяк, ирреальность, ничто? Но что же тогда значимо? Что существенно? В чем истина?

– Истин на самом деле две, – ответил Черт, проведя рукой в воздухе две параллельные огненные линии. – Истина первая – в том, что у тебя болит голова. И, следовательно, истина вторая – в вине.

– О горе! Горе мне! – вскричал Лаврентий Павлович Штрильмендрихт. – Ужель все, чем я жил, чем разум мой дышал, что душу светлым знаньем наполняло – все блеф, мираж, ухмылка жалкая судьбы?

– Да, да, да, – поддакнул Черт, – и, поверь, не стоит так убиваться. Все пустяки: и луна, и фонарь, и аптека, и квазиспонтанность квантования, и твой портфель, и даже лежащая в нем, так горячо тобою любимая газета “Вести”...

И тут судорога пробежала по лицу Лаврентия Павловича Штрюхельшпондера. Жуткая гримаса исказила и преобразила его. Он стал раздвигаться всеми местами своего туловища и, наконец, достиг прямо-таки ужасных размеров. Глухое злобное клокотание вперемешку с грозным рычанием издавал Лаврентий Павлович Шерхербляхер. Затем он вытащил из портфеля газету “Вести” и сложил ее одному ему известным способом в рупор общественности. После этого, держа рупор в одной руке, Лаврентий Павлович Шензейтреллер другой рукой ухватил пытавшегося было увильнуть Черта и принялся его дубасить этим самым рупором.

Лаврентий Павлович Штангенциркуль бил Черта рупором на протяжении двух с половиною часов, а когда решил передохнуть, произошло самое невероятное. Поставил Лаврентий Павлович Шахтенвайзер Черта на землю, глядь – а это и не Черт вовсе.

Чемодан

Чемодан – это сфера. Я эту сферу осуществил. Без меня чемодан был вещью, а теперь это – сфера. Я – бог. Я – предтеча. Все, что в чемодане, – это я. Остальной мир безобразен и поэтому его нет. Я его разрушил, создав сферу. Это моя великая тайна. Вы ее все равно не постигнете. Вас тоже нет. Все очень просто. Я говорю, а вас нет. Вы вне сферы. А здесь 38 квадрильонов молекул и я, и больше ничего. Правда, есть еще край сферы, но я описал его уравнениями математической физики и с тех пор края тоже не существует. Есть только сфера и я, ее создатель.

Когда-то нас было двое. Его звали Иг. Я создал его по своему образу и подобию. Поначалу он был вещью, но я был велик и он стал густком. Он мыслил. Он развивался по своим законам и осуществлял мое величие. Но однажды он купил тюлевые занавески. Он материализовал сто рублей и купил тюлевые занавески. Он внес их в сферу и размыл ее край. Уравнения нарушились. Сфера треснула. Мне пришлось уничтожить его. Я вытащил из его первопричины пробку, и его не стало. Занавески самоликвидировались в образовавшуюся трещину, и после этого сфера вновь замкнулась.

С тех пор я один.

Иногда в сферу пытаются проникнуть. Они стучатся, а я смеюсь. Они все равно не прорвутся сюда, а я им не открываю, потому что их нет. Это самый большой парадокс: несмотря на то, что никого нет, они стучатся.

А вот в моей прошлой жизни они были. Их было так много, что я решил их всех пересчитать. Я шел по улице и считал. Но это было очень тяжело, и для удобства я решил извлечь из них корень, а затем снова возвести в квадрат. Меня стали бояться. Когда я извлекал из кого-нибудь

корень, он страшно кричал. Он не понимал величия момента. Меня никто не понимал. И тогда я понял, что я один. Я попрощался с прошлой жизнью и создал сферу. А они опоздали. Когда они пришли, чтобы измерить меня, я уже был в чемодане.

Здесь нет окон. Да, и зачем они, если за ними ничего нет? На самом деле есть только я.

Я – прародитель.

Я – предтеча.

Я – бог.

Я хочу кушать.

Дайте мне вон ту котлету.

Он

Когда мне говорят, что на самом деле его нет, я не верю. Он есть, и он – объект. А когда мне говорят, что его нет, я их всех кусаю за левую ногу. Они не обижаются. Они привыкли. Когда нога протезная, я тоже кусаю. А они мне за это дают десять копеек. Но протезная нога противная, а я ее кусаю. Так принято, и мне дают за это десять копеек. Могли бы давать и побольше, но так принято – по десять. Один раз я возмутился и потребовал рубль, а они посмеялись и все равно дали десять копеек. Так принято.

Как-то я попытался укусить за руку, и тогда меня злодейски умертвили. Я умер и понял, что был не прав. Тогда я родился снова и стал их кусать за левую ногу. Но это только тогда, когда они говорят, что его нет. Я забыл, как он называется, но он есть. Он есть, и он – объект.

По вечерам я часто смотрел на него. Он знал, что я смотрю, но не подавал виду. А я смотрел на него и был счастлив. Я знал, что он – объект. Затем я ложился спать и все равно смотрел на него. А он был погружен в себя. Он был центр.

Утром я куда-то уходил. Уже не припомню куда. А он оставался. А потом я приходил и смотрел на него. Иногда я плакал; до того я был счастлив.

Однажды я пришел, а его не было. А потом пришли они и сказали, что его нет и не было никогда. А я не поверил. Я укусил их за левую ногу. Они дали мне десять копеек и ушли. А я плакал.

На следующий день они пришли опять и снова сказали, что его нет. Но я опять не поверил. Я кусал их за левую ногу до самого утра, а они смеялись и давали десять копеек. А у одного была протезная нога, и он курил трубку. Я долго кусал его за эту ногу, а он тоже смеялся, стучал мне по голове трубкой и давал десять копеек.

Я говорил, что он есть, и что он – объект, а они смеялись и говорили, что его нет. Они давали десять копеек и говорили, что так принято. А тот, который с протезной ногой, стучал мне по голове трубкой. Дальше я что-то плохо помню, а затем мне оторвали голову. Ее положили в мешок и унесли. А мне поставили другую голову и сказали, что его нет. Я все равно не поверил, но понял, что так принято. Я промолчал и только укусил их за левую ногу. Они погладили меня по новой голове, дали десять копеек и ушли.

С тех пор я его никогда не видел. Они говорят, что его нет и никогда не было, но я молчу и только кусаю их за левую ногу. Так принято. Но на самом-то деле я знаю, что он есть. Он обязательно должен быть. Я думаю о нем, и я счастлив. А иногда даже плачу.

Александр Крамер

Хвала недостаткам

Письмо из Германии

Мне почему-то кажется, что общие недостатки сближают людей легче, чем их достоинства. Найдя в себе кучу не присущих мне достоинств, я начинаю комплексовать и растерянно озираться. Я чувствую себя так, как должен себя, наверное, чувствовать дистрофик в компании борцов сумо.

Задолго еще до приезда я был уже наслышан о врожденной немецкой пунктуальности, напуган необычайной немецкой аккуратностью и педантизмом, а знаменитыми немецкими дорогами бредили все знакомые мне автомобилисты. “Никогда, – думал я, – никогда не удастся мне стать естественной частью этого отточенного мира”. Поэтому когда на третий день по приезде автобус опоздал на десять (10!) минут, я гордо поднял голову и подумал, что все еще, может быть, не так плохо. А когда увидел, как местные жители бросают окурки не в урну, а прямо на тротуар, понял, что все еще даже может быть хорошо.

Я, конечно, скучаю. И, как водится, недостатки помню лучше достоинств. Наверное, для того и оставлен кусок кондовой ухабистой русской дороги на самом подъезде к нашим казармам-общежитиям, сразу за аэропортом. Вечером, поздно, когда не видать уже из окна опрятных немецких домишек, я закрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья... И кажется мне, что я – дома! И душа – отдыхает...

А недавно я ждал жену на выходе из “Лидла”. И вдруг обнаружил дыру у себя на штанине. Бог весть, откуда взялась. Я присел на корточки и стал ее пристально разглядывать.

– Was ist? Что это? – раздалось неожиданно рядом, и худой темноглазый старик навис надо мною.

– Das ist ein Loch, – заявил я печально, подняв к нему голову. – Это дыра.

– Das ist gut. Это хорошо, – расцвел вдруг в щербатой улыбке старик и, салютуя мне оттопыренным большим пальцем, нетвердо ступая, отправился прочь.

По поводу священных коров

– Господи!
Что вы сделали со священными коровами?
– Мы их съели.
– Всех? (!)
– Всех до единой.
– Но как вам пришло это в голову? (!)
– Мы были голодны.
– О Боже!
Что теперь будет?
– Не будет коров,
И скоро про них все забудут.
– На вас обрушится проклятие Господне!
– Сегодня?
– М... м... м...
– В таком случае
Все к лучшему.
Если б коров мы не съели,
Мы бы сегодня уже околели,
А так околели коровы,
А мы будем живы и здоровы.
– У вас нет ничего святого!
– Неправда.
Каждый из нас съел немного коровы.
Значит, в каждом из нас
Есть кусочек святого.
Нам думать об этом отрадно;
А заодно
В животе так приятно...
Их святость
Пошла нам на пользу.
Она нас воодушевляет
И вдохновляет.
– Да пошлет на вас небо проказу!
– Ладно.
Но только не сразу.
Мы пойдем немного поспим,

А проснемся –
Остатки съедим.
А потом пускай и проказа
Или иная зараза...
Но главное, чтоб не сразу...
– ! ! ! ! !

Генрих Горчаков

О “Медном всаднике” А.С.Пушкина

Великая литература потому великая, что она способна быть современнойницей каждого нового поколения.

В творениях прошлого новому времени под стать прочитывать не только частный, преходящий смысл, но и его всемирно-человеческое значение.

Всякое новое прочтение – это, прежде всего, проникновение в глубину самого текста.

К сожалению, в современном литературоведении ширится иная практика: подмены текста затекстовым материалом.

Конечно, автору порой приходится обходить цензуру, и это нельзя не учитывать. Но ведь и помимо цензуры писатель всегда имеет дело с рядом запрещающих требований: нравственных, психологических, языковых, эстетических и т.д. Все эти требования и заставляют искать *иных способов* выражения. Художественное творчество уже само по себе является иносказанием.

Писатель, когда он пишет свое послание (а произведение – это есть его послание людям), учитывает все свои возможности. И если он написанное отсылает по назначению, то, очевидно, он посчитал, что он сказал достаточно прямо и ясно то, что он хотел сказать.

Затекстовый материал знакомит нас с замыслом писателя, он необходим для выяснения мировоззрения писателя, его творческого пути, но возможности этого материала весьма и весьма ограничены при истолковании отдельного произведения. Ведь известно, что всякий замысел может существенно отличаться от его исполнения. И бесспорно то, что никакой автор никогда не рассчитывает, что читатели будут рыться в его черновиках, письмах, чтобы воспринимать его произведения.

За последние годы предпринимались попытки заново истолковать наиболее “загадочное” произведение А.С.Пушкина “Медный всадник”.¹

К сожалению, многие эти попытки вызывают крайнее недоумение именно тем, что исследователи, увлеченные желанием дешифровать “затаенный” текст, от самого текста уведут читателя в сторону. Однако

еще не исчерпаны возможности самого текста для более глубокого его прочтения.

Каждое произведение всегда представляет из себя автономный мир, целостный и заверченный. Лишь следуя его тексту, мы можем включать это произведение в контекст всего авторского творчества, а затем уже прибегать к помощи затекста для уточнения, но не для *подмены*. Разрывать границы этого автономного мира недопустимо.

Эта работа является и попыткой такого прочтения “Медного всадника”, и одновременно возражением интерпретациям, основанным на подмене окончательного авторского текста произвольным.

В 1833 г. Пушкин пишет поэму “Медный всадник”. Это Пушкин – зрелый, Пушкин того времени, когда позади декабристское восстание, а сам он – уже не “ветреник молодой”, а глава большой семьи. Распрощавшись с порывами молодости, Пушкин уже ценит не миражи идеалов, а тяжелую поступь времен. Он уже давно понимает, что *вечные* звезды светят над преходящими поколениями, а не служат для них забавою. Пушкин ведет разговор уже с *будущим*, которому он должен передать опыт движения истории, а не мечтания случайного человека.

В литературе Пушкин утвердил стиль реализма, для которого значимыми являются и каждая подробность действительности, и каждое слово.

Уже было написано “Послание к вельможе”, где поэт провозгласил:

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь.

“Медный всадник” резко отличается от других поэм Пушкина. В них преобладает текучесть: вольный рассказ, который может с любого момента начаться и в любом месте прерваться. Сюжет там служит основой, соединительной нитью, на которую нанизаны лирические стихотворения. “Медный всадник” же – это жесткий каркас, в котором нет плавающих узлов, а все поставлено на глухие заклепки. И основа такого каркаса – то, что в других произведениях мы привыкли называть “лирическими отступлениями”. Здесь как раз наоборот: отступлением является сюжетный рассказ.

Если мы проведем опрос среди любого круга читателей, то окажется, что из “Евгения Онегина” большинство помнит сюжетную основу, письмо Татьяны к Онегину, письмо Онегина к Татьяне, гибель на дуэли Ленского и т.п. Содержание же лирических отступлений будет ими запомнено. В “Медном всаднике”, наоборот, все помнят хрестоматийное “На берегу

пустынных волн”, “Люблю тебя, Петра творенье” и т.п., а трагическую историю Евгения забывают.

Каркас “Медного всадника” отличается и чеканным, выдержанным стихом, и строгостью строфических форм. По сути это торжественные оды.

Не можем мы и не принять во внимание название поэмы. Медный всадник – это памятник Петру Первому. Но и сама поэма – это тоже памятник. Ода-памятник самой *истории*, в которую оказалась вкрапленной история-судьба *бедного Евгения*.

“Руслан и Людмила”, “Бахчисарайский фонтан”, “Цыганы”, “Полтава”, “Евгений Онегин” – таковы названия поэм Пушкина. Очевидно, легко подменить эти названия другими. Скажем, “Черномор”, “Черномор и Людмила”, “Алеко”, “Мазепа”, “Мария” и т.д.

Выбор названия определялся, конечно, двумя моментами: авторским *опытом* и авторским *умыслом*.

Почему же Пушкин, имея уже в своем опыте названия “Руслан и Людмила”, “Евгений Онегин”, назвал свою поэму “Медный всадник”? Мог бы назвать или именем героя, или каким-нибудь наименованием, имеющим к нему прямое отношение. Скажем, “Бедный чиновник” или еще как-нибудь. И “Всаднику” дал не какое-то аллегорическое определение, вроде “роко-вой”, или, скажем, “Всадник без головы”, а названием своей поэмы сделал “поэтическое обозначение памятнику Петру I” (Советский Энциклопедический Словарь, М., 1983). И, думается, нет никаких оснований уклоняться нам от пушкинской *воли*.

Пушкин не раз обращался к образу Петра I. Стихи, поэмы, проза. И всегда поэт отдает дань признания величия как его дел, так и его личности. И однозначно прочтение поэмы “Медный всадник” как той же *дани* Петру I. Это ода возвеличения русской истории, возвеличения того момента в ней, когда Россия из страны азиатской повернула в стан европейских держав.

Так понимал “Медного всадника” и “певец обездоленных” Некрасов. В поэме “Несчастные” он писал:

О город, город роковой!
С певцом твоих громад красивых
.....
Пленный лирой сладкострунной,
Не спорю я: прекрасен ты.

И, развивая тему “бедных Евгениев”, тем не менее самому Петру вслед за Пушкиным Некрасов провозглашает славу.

Опыт самодержца Петра Пушкин всегда ставил в пример другим самодержцам. Но в оценке истории у него были совсем другие мерилы, чем в оценке судьбы одинокого человека.

Алеко, Евгений Онегин, Дубровский, Германн и ряд других пушкинских героев являются у него не только носителями участи отдельной личности. Герои этого плана – всегда личности одинокие. И этого своеобразия пушкинских характеров мы не вправе забывать, когда анализируем взгляд поэта на судьбу личности.

Исходя из формулы “для жизни ты живешь”, Пушкин не мог не считать главной проблемой для себя – как для мыслителя и как для поэта – проблему человеческого счастья. “Жить для жизни” – означает обязанность человека быть счастливым. Иначе никакого смысла сама жизнь не будет иметь. Счастливым назвал Пушкин Юсупова не только потому, что тот *понял* цель жизни, но и *сумел* это понятие – как мы видим из дальнейшего содержания “Послания” – *воплотить* в свою жизнь.

Пушкин все время испытывает своих героев на возможность счастья, поэтому он всячески оберегает их от случайностей. Наделяет их молодостью, красотой, умом, здоровьем, дворянством, богатством и т.п. И все же его герои остаются несчастливыми.

Конечно, его герои – не однотипны. Например, Германн у Пушкина лишен богатства. Как раз того, в чем он видит главное счастье.

Своеобразен и герой “Медного всадника”. Он не знатен, не богат. Бедный чиновник. Это его положение дало основание исследователям посчитать его предтечей тех “маленьких людей”, которых в после-пушкинской литературе душила бездушная среда. Но это явное насилие над пушкинским произведением, в котором наличие такой среды никак не отражено.

Видеть конфликт между маленьким человеком и деспотической властью (в виде ли памятника Петру – Медного всадника, или его подмены – живого самодержца) – конструкция весьма искусственная. Петра Пушкин прямо прославляет, а живой властелин в поэме принимает все надлежащие меры по борьбе со стихией. Предполагать, что в этой скупой словами поэме Пушкин уделит восемнадцать стихотворных строчек, где он описывает действия царя, каким-то внешнеэстетическим соображениям, было бы нелепо. Да и вообще говорить о каком-то конфликте как о противоборстве двух сил или двух сторон оснований нет, так как нет и самого противоборства. Разве только между стихией и людьми.

Другая тенденция, которая стала преобладающей в самое последнее время, – это возвышение героя “Медного всадника”. Статья М.Гордина так и называется: “Величие “ничтожного героя”. Евгений представляется обедневшим потомком благородных родов, который, несмотря на свою

мизерабельность, остается человеком “с сильно развитым чувством собственного достоинства”.

По линии своих достоинств он отождествляется с идеалами Карамзина, с Евгением Онегиным и даже с самим Пушкиным. И он в противоборствующий конфликт с “мощным властелином судьбы” вступает как равно-великая сила, чье “ужо тебе” звучит грозным предупреждением возмездия со стороны будущего.

У непосредственного читателя поэмы такое толкование вызовет, по моему, только растерянность.

Последуем за этим читателем, чтобы уяснить, как раскрывается характеристика героя и отношение к нему автора в самом тексте поэмы.

Ввод в повествование своего героя Пушкин специально оговаривает:

Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.

Это дало основание исследователям устанавливать родство между Евгением Онегиным и героем “Медного всадника”. Более того, обнаруживая зависимость “бедного Евгения” от “Езерского”, отождествление доказывалось еще и одинаковой этимологией фамилий “Онегин” и “Езерский” (Озерский!), происходящих от “воды”, а не от “земли”, как принято было в русских фамилиях.

Безусловно, Онегин и Евгений в чем-то типологичны. Но в чем? В том, что они дворяне-интеллигенты? Или в чем-то другом?

Неплохо было бы тут вспомнить этимологию имени “Евгений” как имени литературного героя. Само имя “Евгений” по-гречески означает “благородный”. Но, как указывает в своем комментарии к “Евгению Онегину” Ю.М.Лотман, в литературе XVIII в. имя “Евгений” олицетворяло сатирические отрицательные персонажи. У А.Е.Измайлова герой назывался даже “Евгений Негодяев”.

Как известно, к характеру Евгения Онегина Пушкин обращал очень серьезные упреки. Не вправе ли мы сказать, что он находил общность двух Евгениев не в их благородстве, а в отрицательных свойствах их характеров?

Счел нужным Пушкин, несмотря на всю сжатость и краткость своих характеристик, остановиться на родословной Евгения. Поэт умышленно не сообщает нам фамилии героя:

Прозванья нам его не нужно.

Но тут же разъясняет:

Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто.

В неоконченной поэме “Езерский”, которую соотносят и с замыслом “Медного всадника”, Пушкин много занимается родословной героя, из которой в саму поэму “Медный всадник” попало всего лишь несколько строчек. Но их хватило, чтобы делать далеко идущие выводы.

Опираясь на эти строчки, на “Езерского” и на черновые материалы, исследователи утверждают потомственное дворянство Евгения (*кадры декабристов*). Думается, что они это истолковывают, находясь под впечатлением “Чайльд Гарольда” Байрона, где сказано: “Зачем называть, из какой он был семьи? Достаточно знать, что его предки были славны и прожили свой век, окруженные почестями”.

В известной степени пушкинские строки дают основание для такого отождествления. Но вот другие строки из черновика “Медного всадника”:

Он был чиновник небогатый,
Безродный, круглый сирота,
Собою бледный, рябоватый,
Без роду, племени, связей [...]

Эта характеристика, полагаю, более соответствует Евгению “Медного всадника”, чем байроновская. В черновых материалах Пушкин пробовал оба варианта, то есть родовитость Евгения и его безродность. Что же попало в окончательный текст поэмы? В поэме отражены как возможность любого из этих вариантов, так и безразличие к тому, на каком варианте читатель остановится.

Странно, что многие исследователи, которые изыскивают, что можно извлечь из какой-нибудь точки или запятой в черновиках, не думают о такой возможности самого текста. Ведь у такого автора, как Пушкин, ничто, безусловно, не является случайным.

“Евгений Онегин” заслуживает наименования “энциклопедии” еще одним качеством, о котором говорят редко. Целые явления и области жизни у Пушкина описываются в кратких, сжатых, предельно концентрированных строчках стиха, прямо *по-энциклопедически*. Традицию вот такого

энциклопедического стиля Пушкин продолжает развивать и в “Медном всаднике”, в котором каждое слово, каждая запятая получают свою предельную нагрузку.

Исследователи проходят мимо незначительного, на первый взгляд, пушкинского словечка “быть может”:

Оно, быть может, и блистало [...]

Следовательно, быть может – и не блистало. Шансы равны. Происхождение героя значения для пушкинского замысла не имеет. Для него имеет значение *положение* героя – положение маленького чиновника. Предположением о его знатности поэт показывает понимание, что рекрутироваться подобная группа людей могла из любого общественного слоя. Но не эта информация – цель Пушкина.

Для чего же понадобились ему эти несколько строк возможной родословной? Для усиления характеристики Евгения, которая, видимо, имеет для автора первостепенную важность:

Дичится знатных и не тужит
Ни о почюющей родне,
Ни о забытой старине.

Для Пушкина очень важна характеристика Евгения как человека одинокого, равнодушного к миру других людей, равнодушного к историческому развитию своей страны. Недаром в уже упомянутом отрывке из черновика Пушкин подчеркивает его обезличенность:

А впрочем гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму,
От вас нимало не отличный
Ни по лицу, ни по уму.

Равнодушие к своему роду для безродного – дело естественное. В наше время интерес к своему роду вряд ли распространяется дальше третьего поколения. Во времена Пушкина для обедневших потомков знатность их рода становилась предметом их особенной, можно сказать, болезненной, гордости.² Сам Пушкин, между прочим, с большим вниманием относился к своей родословной. И то, что Евгений одинаково равнодушно мог относиться как к незнатному своему роду, так и в случае его знатности, – выразительно обозначает степень его равнодушия, глубину этого равнодушия. Евгений равнодушен к славе рода, и вообще к славе. Он хочет только

тихости, по принципу “не тронь меня”. Евгений не просто герой отчуждения человеческой личности, произвольной одинокости. Этой одинокости он активно добивается сам.

Пушкин дважды называет его “мой Евгений”, дважды – “наш герой”. Вот и все признаки, которые дают основание говорить о каком-то интимном отношении автора к своему герою. То, что Пушкин поселяет Евгения в Коломне, где когда-то сам поселялся после Лицея, не может служить свидетельством близости поэта к своему герою (Пушкин нам об этом ничего не говорит, это нам известно из его биографии). Коломна – это не только место проживания Пушкина, но и окраинная часть Петербурга. Район бедняков. Гораздо существенней сходство или несходство жизненных позиций.

В 1830 г. Пушкин написал неоконченный отрывок:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

И эти чувства для Пушкина первостепенны:

На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Этого залога, как видим, Пушкин лишил своего героя.

“Итак, домой пришед, Евгений”, – продолжается повествование, – “в волненье разных размышлений” долго не мог заснуть. Таким образом, Евгений предстает перед нами человеком, способным на неординарные эмоциональные переживания. Бессонница – это уже примета нервического характера. В другом месте для характеристики Евгения дважды употреблен глагол “мечтать”: “Так он мечтал” и “размечтался как поэт”. Безусловно, Пушкин имеет в виду не мечты поэта, а саму способность мечтать как свойство поэтического характера. Если человек мечтает, тем самым он уже приближается к поэту. Представление о мечтателе как о поэте – это психологическая черта народной жизни, выраженная у Пушкина энциклопедически сжато.³ Тяготы жизни, ее повседневные, минутные заботы (“довлеет дневи злоба его”), постоянное физическое напряжение – все это неизмеримо в жизни народа, однако это не приводило к массовой бессоннице. Народ спал как убитый. Воображение, мечтате-

льность даже среди праздных слоев – черта редкая, исключительная, используемая Пушкиным для противопоставительной характеристики своих героев (см. тот же “Евгений Онегин”).

Исследователи придают большое значение авторским словам:

[...] размечтался как поэт [...]

Находят строки, что после исчезновения Евгения хозяин отдал внаймы “его пустынный уголок” “бедному поэту”. Евгений тоже “бедный” – и вот уже перед нами два поэта. Вспоминают, что Пушкин тоже был поэт (в черновиках находят следы того, что Пушкин хотел сделать героя повествования поэтом). И таким образом прочерчивается их общность, их родство.

Действительно ли Пушкин в отношении Евгения употребляет слово “поэт” в его прямом значении? Согласиться с этим мешает нам наличие еще одного поэта – четвертого поэта (вернее, пятого, так как Карамзин – тоже поэт):

[...] граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами [...]

Вот этот злополучный “граф Хвостов” заставляет нас усомниться в том, что Пушкин в “Медном всаднике” “отказывается от шутливой, иронической интонации” (М.Гордин).

Или же мы должны поверить, что граф Хвостов действительно “любимый небесами” поэт, который поет “бессмертными стихами” (Пушкина не останавливает здесь даже то, что речь идет о “несчастье невских берегов”), или же допустить наше право воспринимать пушкинское “размечтался как поэт” как иронию.

Весьма важно разобраться, о чем думал Евгений, о чем он мечтал. (*Разные* размышления, думается, тоже характерологическое определение. Не без умысла Пушкин назвал размышления Евгения *разными*. Ср. хотя бы разные размышления Онегина, Ленского, самого Пушкина как поэта.)

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, мимо которого исследователи почему-то проходят. Характеристика героя поэмы дается и от авторского лица, и от лица самого Евгения.

Изложив от своего лица очень важную характеристику жизненной позиции героя – прямо противоположную позиции самого Пушкина – дальнейшую характеристику Евгения он передает самому Евгению. Сперва в косвенном изложении, а затем и в прямой речи. И это все не случайно. Не

случайна и передача характеристики герою, и не случайно деление ее на прямую и косвенную речь.

То, что раскрывается нам в косвенной и прямой речи Евгения, Пушкин вполне мог бы рассказать и от себя, легко продолжив свое описание. Достаточно было бы сделать чуточку стилистических поправок за счет союзов и местоимений.

Пушкин меняет субъект повествования для более углубленной характеристики героя, выдерживая в то же время лаконичность своего энциклопедического стиля. Кстати, сам такой лаконичный стиль тоже является моментом углубления характеристики. Чем короче повествование, чем короче каждая фраза – тем весомее, значительней, *содержательней* каждое отдельное слово. Таким образом, рассказ-описание внешности героя, его социального, семейного положения является одновременно и показом, о чем герой *думает* и *как* он думает.

Описание “разных размышлений” Пушкин начинает с констатации Евгением давно известного его жизненного положения:

Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалежного ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года [...]

Тематика этой части размышлений вряд ли могла вызвать волнение, повлекшее за собой бессонницу.

Далее размышления Евгения коснулись факта непогоды, что действительно могло вызвать у него беспокойство и привести его в волнение:

[...] с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.

(Вправе напомнить, как подобное переживание разворачивается в романе Гончарова “Обломов”.)

И лишь сконцентрировав наше внимание на сентиментальной размягченности влюбленного, Пушкин прерывает косвенную речь героя авторским повествованием:

Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт.

И затем предоставляет место монологу самого “поэта”.
В “Евгении Онегине” Пушкин писал:

Замечу кстати: все поэты –
Любви мечтательной друзья.

Мы вправе сказать: мечты – творения поэта. Пушкин дает здесь место прямым мечтам Евгения – его “творениям”. Вспомним, что в “Евгении Онегине” Пушкин тоже один раз дает место прямым творениям поэта Ленского – его стихам. Это было в ответственный момент, когда Ленский, можно сказать, подводил итоги всей своей жизни. В стихах Ленского Пушкин резко меняет стилистику всей поэмы, углубляя характеристику одной из главных черт Ленского: “всегда восторженную речь”.

Монолог Евгения – тоже, можно сказать, подведение итогов – увы, далеко не “восторженная” речь. И совсем не выдает речь дворянина-интеллектуала, каким хотят видеть Евгения некоторые исследователи.

Считается установленным, что стихи Ленского – это осмеяние отцветшего романтизма как бесперспективного пути развития личности поэта, и, наверное, вообще личности. Соблазнительно представить монолог Евгения как освещение пути, избранного им для развития его личности.

И тут, конечно, весомо выяснить эмоциональную значимость слова “поэт”. Пушкин предваряет монолог Евгения словами “И размечтался как поэт” и заключает его словами “Так он мечтал”. Непонятно, зачем, излагая “мечты” своего героя, автору понадобилось дважды подчеркнуть, что это не какие-то там “обыденные” мысли, – именно “мечты” – мечты поэта.⁴

Откроем “Евгения Онегина”:

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они [...]

– так предваряет Пушкин сами стихи. И сразу же после стихов заключает:

Так он писал *темно и вяло* [...]

Конструкция аналогичная. Ясно, что Пушкин в “Евгении Онегине” указывает, что представляемый им стихотворный материал отнюдь не

беспорного поэтического уровня, материал этот требует размышлений. И размышления, разумеется, были. Волна их катится и до сего времени.

Такого же размышления требуют и мечты “поэта” Евгения. “Так он мечтал” – я бы ударение здесь поставил на “так”.

Выдают ли эти мечты “молодого дворянина-интеллигента, человека с сильно развитым чувством собственного достоинства”, мечтателя “чувствительного” – или это так называемые “пустые мечты” человека, чуждого хоть какого-нибудь поэтического воображения?

Может, нам и такой персонаж позволительно будет назвать “чувствительным мечтателем”:

– Да... какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?” (А.П.Чехов, “Дачники”)

В отрывках из “Путешествия Онегина” Пушкин говорил от имени автора:

Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Тождество этих строк со строками, оставшимися за бортом “Медного всадника”:

Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой; чего мне боле?

– дало основание воспринимать мечты Евгения как “мечты поэта”.

Уж если сам Пушкин, то, как говорится, “чего ж вам боле”.

Но дело в том, что лирические отступления “Евгения Онегина” насыщены шуточной, иронической интонацией, то есть насыщены *самоиронией*. Пушкин зачастую посмеивается над своим небожительством, снижает свой образ поэта до простого смертного, разоблачается от своего поэтического мундира (вспомним знаменитое пушкинское описание посетившего Лицей Державина, его вопрос: “Где тут нужник?”). Он мог шуточно и “низко” говорить о высоком, но никогда не отказывался от самих идеалов высокого.

Заметим также, что монологи пушкинских героев “Евгения Онегина” такой самоиронии не содержат.

Никакой самоиронии не содержится и в монологе Евгения. Сопоставляя тождественность высказываний Пушкина и Евгения, как же можно не заметить, что сравниваются сказанное всерьез и самоирония?

Сходство между Пушкиным и Евгением такое же, как между романтизмом Печорина и Грушницкого: кривое зеркало.

Но ирония, связанная с монологом Евгения, конечно, имеется. Это ирония самого Пушкина: бедные мысли назвавшего мечтаниями поэта.

Стихи Ленского, сочиненные Пушкиным, – это не просто пародия; они показывают, что настоящего поэтического таланта у Ленского проявлено еще не было.

Так же и в “Медном всаднике” Пушкин дает место прямому слову Евгения, чтобы показать отсутствие у него поэтического воображения. “Мечты” Евгения – это по сути житейский расклад, выраженный, причем, довольно косноязычно: “оно и тяжело, конечно”; “уж кое-как себе устрою” и т.п.⁵

Во второй части поэмы есть такой эпизод:

[...] он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил.

Это подчеркивает степень одиночества Евгения: за целый год никто даже не пришел о нем справиться. Про него можно сказать словами из характеристики Онегина: “живет анахоретом”.

Но зачем Пушкину понадобилось определять нового жильца как “бедного поэта”? Исследователи видят в этом еще одно указание на то, что Евгений является “поэтом”, то есть интеллигентом-мечтателем, и на характерность его судьбы. Один поэт-мечтатель погиб под ударами жизненного рока – на смену ему пришел другой. Судьба его будет, видимо, не лучше. А “пустынный уголок” – это не просто жилище, а символ – место пребывания в многослойном пироге жизни для таких вот чувствительных бедняг-мечтателей, стремящихся уйти в себя, растворить целиком свою личность в далеком от жизни, выстроенном в воображении мирке, то есть “приют смиренный и простой” и “его пустынный уголок” полностью отождествляются, а “бедный поэт” обозначает “бедняга”, “несчастный”. Так Пушкин в поэме называет самого Евгения: “несчастный”, “бедный, бедный мой Евгений”.

Но с этим согласиться нельзя. Ясно, что “приют смиренный и простой” – это его мечтанное будущее, в котором воплотились все его идеалы, а “пустынный уголок” – это его жалкое настоящее. И “пустынный” говорит не о уединенности, о приюте, а о пустоте, одинокости, заброшенности. И слово “поэт” означает вовсе не то, что хозяин избрал себе стезю благодете-

тельствовать поэтам, а то, что Евгений как раз *не* поэт. Хозяин сдал уголок, очевидно, случайному жильцу, ну, а для случайности два поэта подряд – многовато. Думается, что Пушкин сумел бы найти способ более точно выразить, что речь идет о *другом* “бедном поэте”. Евгений хоть и относится к разряду мечтателей, но мечтать-то, собственно, он и не умеет. Понятна поэтому пушкинская ирония: “размечтался как поэт”.

В контексте поэмы “бедный поэт”, безусловно, от слова “бедность”. Социальное положение Евгения Пушкин уточняет через характеристику его жилища. Настолько оно неприглядно, неустроенно, что сдать его можно разве только бедному поэту – найдется ли кто обездоленнее его.

Еще Брюсов заметил,⁶ что все сокращения первоначальных характеристик Евгения направлены на то, чтобы “совершенно обезличить [...] героя”, сделать его “ничтожнейшим из ничтожных”. Думается, что это вполне справедливо, ибо тем исследователям, которые хотят видеть в Евгении героя иного, противоположного, приходится идти обратным путем: обращаться к черновым вариантам и другим материалам, так как из самого окончательного текста извлечь что-либо для возвеличения героя весьма трудно.

Тем не менее исследователей заманило размышление Евгения (напомним, переданное Пушкиным косвенной речью):

[...] о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И *независимость* и *честь*...
(Курсив мой. – Г.Г.)

Именно эти слова – “независимость и честь” – дали повод перебрать катехизис дворянского благородства, увидеть в них карамзинский идеал и характеризовать Евгения как “человека с сильно развитым чувством собственного достоинства”, отождествить их с онегинским “гордость и прямая честь”.

Но эти слова имеют только внешнее сходство с лексиконом высокого благородства. Небезызвестно, что каждое словарное слово обладает многозначностью. Откроем словарь Пушкина на слове “независимость”. Вслед за примером из “Медного всадника” в словаре идут другие примеры:

“[...] Усемерит мой капитал, и доставит мне покой и *независимость*”.
 (“Пиковая дама”; курсив мой. – Г.Г.)

“Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей, и выше всего ценил свою себялюбивую *независимость*”. (“На углу маленькой площади”; курсив мой. – Г.Г.)

Пример из “Медного всадника” в словаре повторяется и в составе слова “честь” в значении почета, уважения. Вспомним “соблазнительную честь” из “Евгения Онегина” или же формулу счастья из “Кому на Руси жить хорошо”: “Покой, богатство, честь”. В 1833 г. Пушкин набрасывает неоконченную сатиру “Французских рифмачей суровый судия”, где он советует “рифмачам”:

Заняться службою [...]
[...] табачный торг завести
И снискивать в труде себе барыш и честь [...]

Пушкин знал силу денег, он писал:

[...] в сей век железный
Без денег и свободы нет.
 (“Разговор книгопродавца с поэтом”)

Или же в эпиграмме “Старик и юноша”:⁷

[...] деньги что? – от денег, милый мой,
И независимость зависит.

Или в письме к жене от 14 июля 1834 г.: “Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости”.

Казалось бы, можно смело утверждать, что Евгений мыслит так же, как и поэт, и даже не вообще поэт, а как поэт Пушкин. Однако ведь подобные мысли насчет денег, чести, независимости у Пушкина высказывают разные герои. И в “Пиковой даме”, и в “Скупом рыцаре”, и в “Сценах из рыцарских времен” и т.д. Неужели всех этих героев мы будем отождествлять с Пушкиным?!

Перечитаем еще раз косвенную и прямую речь Евгения:

[...] о том,
Что был он *беден*, что *трудом*
Он должен был себе доставить
И *независимость* и *честь*;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и *денег*. Что ведь есть
Такие праздные *счастливицы*,
Ума недалежного *ленивцы*,
Которым жизнь *куда легка!*

[...]
[...] я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют *смиранный* и *простой*
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой –
Местечко получу [...]
(Курсив мой. – Г.Г.)

Мы видим ясно, что идеалы Евгения абсолютно тождественны формуле Германна из “Пиковой дамы”, только еще в меньшем масштабе: “Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость”.⁸

И как на самом деле эти мечты глубоко и принципиально отличны от идеалов “жизни сердца” Карамзина, изложенных в “Послании к Александру Алексеичу Плещееву”. Ведь именно это “Послание” и цитируется в статье М.Гордина в доказательство карамзинского характера героя “Медного всадника”.

Добра немного на земле,
Но есть оно – и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец.

Евгений же хочет себе устроить “приют смиренный”, завидует богатым “праздным ленивцам недалёкого ума”.

Душою так же прям, как станом.

У Карамзина, видим, эта формула однозначна, и это действительно формула высокого благородства. Не думается, что если Пушкин хотел идти вслед за Карамзиным, он это сделал бы, прибегнув к столь невыразительной, двусмысленной форме: “И независимость и честь”.

Кому работа не трудна [...]

И это опять звучит совсем иначе: одно дело – готовность “трудиться

день и ночь” (все равно – где: “где-то служит”); добиваться *местечка* (все равно – какого); и все это ради денег, хотя труд чуть ли не в наказание (*легка* праздная жизнь), – и совсем другое, когда сам труд, как и у Карамзина, и у Пушкина, составляет содержание, смысл, суть жизни.

И, наконец, у Карамзина, может быть, как самое главное:

Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом [...]

Ничего похожего у Евгения и в помине нет. На уме у него только – успокоить свою Парашу. Карамзин под “ближним” не имеет в виду семью. О семье у него сказано дальше:

Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом [...]

И слово “иногда” употреблено не в том смысле, что идиллический герой Карамзина иногда выйдет из своего уединения и подаст милостыню полезной услуги. Оно скорее означает скромную надежду, что труды этого героя окажутся небесплодными.

Как видим, идеал “жизни сердца” Карамзина совпадает со смыслом того, о чем Пушкин писал Юсупову: “счастливый человек”, “ты понял жизни цель”.

Период жизни Пушкина после Михайловского в его биографиях вполне справедливо называют годами странствий. Пушкин, собственно, никогда не знал *дома*. Холодный родительский дом, казенный распорядок Лицея, да и дальнейшая жизнь то под опекою,⁹ то во временных пристанищах. Мечта о собственном доме, где он *сам большой*, отразилась как в письмах Пушкина, так и в его прозаических и стихотворных произведениях. В ряде стихотворений 1830 г. мы находим строки о “домашней тишине”, о жизни “в простом углу моем среди медленных трудов”, о “домике малом”, где “свободный труд и сладкий мир”, и т.д. Позже, в 1834-м, он высказывал желание удалиться “в обитель дальнюю трудов и чистых нег”.

“Домик малый” – уединение, независимость – Пушкину нужен был не для *праздной* жизни, а для такой, когда “жаль” расставаться с *трудом* – другом “пенатов святых”,¹⁰ когда “вдохновенный досуг” эквивалентен “вдохновенному труду”.¹¹

И он тоже “о деньгах думал много”, ибо бился всю жизнь из-за них, знал тяжесть их отсутствия, но лишь потому, что не хотел менять своего *труда* ни на какие выгодные *местечки*.

С идеалами Карамзина и Пушкина сходны только внешние контуры жизненной программы Евгения. В действительных его целях труд – деньги – независимость – честь сливаются в одно. Недаром Л.Толстой говорил: “Труд так же мало может быть добродетелью, как питание”. Евгения “домик” – “приют смиренный” – замкнут в самом себе, не имеет никуда выхода.

Сей малый жизненный расклад потому еще назван в поэме мечтой, чтобы прочертить еще один мотив характеристики Евгения – его крайнюю пассивность.

Слово “мечта” еще раз встречается в тексте “Медного всадника”: “его Параша”, “его мечта”. Причем крушение этой мечты, как мы видим, явилось крушением всей жизни Евгения. По этому поводу небезынтересно привести рассуждение Владимира Соловьева: “Ромео убивает себя, потому что он не может обладать Джульеттой. Для него смысл жизни в том, чтобы обладать этой женщиной. Но если бы действительно смысл жизни заключался в этом, то чем бы он отличался от бессмыслицы? Кроме Ромео, сорок тысяч дворян могли находить смысл своей жизни в обладании той же Джульеттой, так что этот мнимый смысл сорок тысяч раз отрицал бы самого себя” (“Оправдание добра”).

М.Гордин считает Евгения цельной личностью, основу которой составляют возвышенные свойства, а Н.В.Измайлов видит в нем первоначально ничтожную личность, которая затем под влиянием событий распрямляется, становится способной на героические свершения и, наконец, возвышается до уровня мощного властелина.

Мы уже рассмотрели жизненную программу Евгения. Теперь проследим за его поведением в тревожных ситуациях.

Страдая от мысли о возможной разлуке, Евгений ни разу не подумал, что непогода может угрожать самой Параше, чей домик стоял на берегу залива и следовательно, неоднократно подвергался угрозе наводнений. Эгоцентричность его переживаний хорошо передана такими строками:

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Тут выражена обычная меланхолия, которую вызывает непогода, но отнюдь не тревога. Характерно, что Пушкин ставит рядом “так он мечтал” и “грустно было”. Это подчеркивает пассивность, отвлеченность его мечтаний. Если бы они означали принятое решение, скажем, под влиянием

последнего объяснения с Парашей (он пришел домой из гостей), то у него должно было быть приподнятое настроение, которое не мог бы приглушить никакой стук дождя.

Мало понятны и дальнейшие действия Евгения. Прошла тяжелая ночь, наступило еще более тяжелое утро. Мы ничего не знаем, что за это время делал Евгений, но вдруг видим его сидящим в отчаянии верхом на мраморном льве, окруженном подступающими волнами. Оказался ли он в этом положении в результате того, что стихия захватила его по пути к Параше, или же он был одним из тех любопытных, кто “теснился кучами [...] любуясь брызгами”, а затем, когда Нева “вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась”, бросился бежать?¹² Может быть, топография поэмы: Коломна – площадь Петра – залив – уточняет это обстоятельство, но в тексте прямого ответа на это не дано.

Хотя в поэме говорится, что Евгений боялся не за себя, на что обращают внимание исследователи, как на черту альтруизма, но семантический ряд, обозначающий переживания героя, говорит о характере пассивном, нервическом, неспособном к активному противостоянию, сосредоточенном на себе: “страшился”, “в страхе и тоске”, “отчаянные взоры”, “недвижно были”, “как будто околдован”, “сидел недвижимый”, “взоры дикие”, “не помня ничего”, “изнемогая от мучений”, “с боязнью дикой на лице” и т.п.

Евгений относится к такому эмоциональному типу людей, которые при виде страданий или несчастий близких предаются отчаянию сильнее, чем сами несчастные.

Что же касается оценки переправы Евгения “в утлой лодке “чрез волны страшные”, грозящие дерзким пловцам гибелью” как “героического поступка, какого, казалось бы, нельзя было и ожидать от него”,¹³ то тут остается только развести руками, ибо один из “дерзких пловцов” – это сам Евгений, который является просто пассажиром, а другой – перевозчик, про которого Пушкин пишет так:

И перевозчик *беззаботный*
Его за *гривенник охотно*
Чрез волны страшные везет.
(Курсив мой. – Г.Г.)

Этот “героический” поступок, как и все последующие его действия, в действительности является нервическим, импульсивным поступком, совершенным в полубезумии, лишенным всякой целесообразности: бросаться *сейчас* спасти Парашу – все равно, что рыться в горящих углях, оставшихся от пожара.

И, наконец, реакция Евгения на исчезновение домика – он внезапно сходит с ума – убедительно подтверждает его характеристику. Он даже не попытался выяснить судьбу своей Параши, которая вместе с матерью могла заблаговременно перебраться из своего ненадежного жилища и сейчас сидела у какой-нибудь кумы и пила там чай. То, что на пути Евгения встречались обломки хижин и тела погибших, не могло служить доказательством безысходности судьбы Параши. Жители более удаленных от воды мест как раз скорее могли быть захвачены врасплох, чем жители районов, находящихся в постоянной опасности.

Если обратиться к подлинным событиям происшествия, случившегося в Петербурге в 1824 г., то мы знаем, что всю ночь перед наводнением на Адмиралтействе горели огни предупреждения.

Но имя Параши в поэме больше и не всплывает, все вопросы сконцентрированы только на одном: “Где же дом?”

Такой же вспышкой безумия является и так называемый бунт Евгения против “мощного властелина судьбы”. Не успел он, “злобно задрожав”, шепнуть свою угрозу, как “вдруг стремглав бежать пустился”. Что заставило “бедного Евгения” броситься бежать в испуге? Всего-навсего лишь то, что на его “дикие взоры” “грозный царь” ответил гневным взором.¹⁴ И единственным результатом “равновеликого” противостояния Евгения кумиру было с той поры его постоянное “смятенье”, “смиренье”, “смущенье”. При каждой встрече он “картуз изношенный снимал” и “шел сторонкой”.

Исследователи считают, что пушкинская поэма насыщена “игрою смыслами”, видят в ней аллюзивное отражение и мощи самодержавия, и слабости декабристского движения, и того, как нянька стянула картуз с Пушкина-малыша перед императором Павлом, и того, как Пушкин сам “вструхнул” (выражение его собственное) перед императором Николаем. Но естественнее в поведении Евгения видеть реакцию слабодушного, робкого, неспособного на смелые поступки человека. Ведь если аллюзивно опрокидывать содержание “Медного всадника” в контекст истории, то надо было бы вспомнить и Лунина, и Сухинова, и других декабристов, которые даже в каторжных условиях не только не снимали картуза, но и продолжали свой “бунт”.¹⁵

М.Гордин выдвинул, по-моему, вполне плодотворную идею рассматривать судьбу Евгения как трагедию экзистенциальную, трагедию существования. Можно согласиться с тем, что Евгений являет собой героя, “стремящегося уйти в себя”, “не желающего противопоставлять себя жизненным обстоятельствам”. Но абсолютно нельзя заметить в нем никаких признаков возвышенного, доблестного характера. Ведь в экстремальных

ситуациях, в состоянии ли затемнения разума или его “прояснения”, рефлексы такого характера должны были как-то сказаться.

“Медный всадник” – петербургская повесть – безусловно, произведение сугубо реалистическое, в котором нерентабельно изыскивать какие-то элементы аллегорические, символические или фантастические (например, пытаться воспринимать скачку бронзового кумира как нечто вроде явления статуи Командора). Все эпизоды, вплоть до drobных деталей в них, имеют реалистическую основу, обусловлены психологической достоверностью.

С этой точки зрения поведение “безумного” Евгения в его конфликте с памятником Петру I – реальная клиническая картина.

Фетишизация великой личности – в пределах “слабого” сознания, присутствующего “маленькому человеку”, который никогда не мыслит себя участником общего процесса жизни, творцом истории.

Высшие силы – будь то боги или великие мира сего – они призваны обеспечить человеку его маленькое счастье на земле, охранить его покой при условии его преклонения перед этими силами. Потому памятник Петру I для Евгения – кумир. Нарушение “договора” со стороны верховной силы может вызвать ожесточенное отношение к ней. Кумир для Евгения превращается в “горделивого истукана”. Недаром Пушкин такими словами характеризует его бунтарскую вспышку (проклятие *богам*): “как обуйанный силой черной” и “злобно задрожав”. Это не сознательный протест, а, скорее, идолопоклоннический атавизм: неугодившего идола швыряют в угол. Обожествление “камня” и злоба против него – это и психологическая характеристика, и клиника безумия. Недаром поэт Твардовский в стихотворении о монументах мудро заметил:

Но дело в том,
Что сам собою камень –
Он не бывает ни добром, ни злом.

Дальнейшее тоже вполне имеет реалистическое объяснение. Высветить бронзу могла прорезавшаяся из-за туч луна – и вот откуда лицо “грозного царя” “мгновенно гневом” возгорелось.¹⁶

Конечно, ни на какой “бунт” Евгений не способен. Сразу сработал рефлекс личности, привыкшей к смирению и к самоуничижению. От страха он бросился бежать. Кому, может, и угодно видеть в этом эпизоде символизацию мощи (пока еще!) самодержавной власти, перед которой бунт одиночек, оторванных от народа (и такие есть истолкования) бессилён, но разве мало мы знаем таких “храбрецов”, которые, кинув камень или громко закричав, тотчас бросаются со всех ног, испуганные собственным дер-

занием? Собственный топот породил в помраченной голове иллюзию преследования.¹⁷ Безумие Евгения лишь в одном – в смешении “мертвого” камня с живым существом.

Если читать этот эпизод как символизацию выступления декабристов, то его надо тогда читать как горький упрек Пушкина декабристам за их растерянность и нерешительность, проявленные ими на Сенатской площади, но отнюдь не как прославление “высокого безумия”.

Только забвением самого текста можно объяснить появление малообоснованных оценок. Так, Б.Мейлах пишет: “Евгений становится здесь грозно прекрасным”. Подтверждением служат слова: “По сердцу пламень пробежал”. Но попробуем прочитать эти слова в их контексте.

И взоры *дикие* навел [...]
Стеснилась грудь его [...]
Глаза подернулись *туманом*,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он *мрачен* стал [...]
И, *зубы стиснув*, пальцы сжав,
Как *обуянный силой черной*, [...]
Шепнул он, *злобно задрожав* [...]

“Дикие”, “туманом”, “мрачен”, “зубы стиснув”, “силой черной”, “шепнул”, “злобно задрожав” – этот контекст, плотно окружающий “пламень”, совершенно снимает возможность видеть в этой картине образ Евгения “грозно прекрасным”.

В безумии Евгения видят и Чацкого, и Чаадаева, и даже Радищева, о котором Пушкин писал, что его “преступление” “покажется нам действием сумасшедшего”, то есть образ безумия символизирует реакцию эпохи на тех, кто осмеливался бросать ей вызов. Но ведь Пушкин часто изображает ситуацию нервного шока: одни от него умирают (Скупой Рыцарь, графиня из “Пиковой дамы”), другие сходят с ума: Германн, Мария в “Полтаве”, старый Мельник, старик Дубровский – тот даже грозит, как Евгений: “Я вас ужю проучу”. Чем же ситуация “Медного всадника” отличается от этих ситуаций?

Г.Макогоненко пишет: “Оттого безрезультатный сейчас бунт – не бессмыслен и не бесполезен, – он спасает человека от нравственной гибели, *воскрешает и выпрямляет личность*”.¹⁸ (Курсив мой. – Г.Г.)

При всем желании найти в тексте поэмы хоть какого намека на “воскрешение” и “выпрямление” невозможно. Может, было такое “просветление” у Евгения в минуту перед смертью, как у Дон-Кихота, но этого мы не узнаем никогда.

Поэма Пушкина насыщена социальностью. И прежде всего социальность эта сказывается в том, что в ней создана потрясающая обстановка всеобщего равнодушия вокруг такого тяжелого бедствия. Сопоставьте патетически-взволнованный стиль описания бушующей стихии и бесстрастно-летописное описание последствий наводнения, где тела погибших перечисляются наряду с обломками. Ничто не предвещает ни утешения, ни помощи пострадавшим не только в момент бедствия, но и после. Царь хоть и отправляет генералов

Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ,

– но надежды на успешность этого мероприятия не чувствуется. Ведь “с божией стихией царям не совладать”.

Народ страшится и последующего положения:

[...] народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! Все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

Этот грозный вопрос повисает в воздухе.¹⁹

Но более всего потрясают в поэме картины *равнодушия* самого народа:

И перевозчик беззаботный
Его за *гривенник* охотно
Чрез волны страшные везет.
[...]
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ [...]

Лишь для одного торгошанина Пушкин давно ожидаемый эпитет “*отважный*”. Он

Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На *ближнем* выместить [...]

К этим же картинам надо причислить, конечно, и графа Хвостова, который

*Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.
(Курсив везде мой. – Г.Г.)*

В эту атмосферу всеобщего равнодушия вписывается, конечно, со своим равнодушием и Евгений. Мы нигде не обнаружим и следа реакции на всеобщее бедствие, естественной для человека “внутренне свободного”, наделенного благородными достоинствами, делающего шаги “на пути от безличного чиновника к Человеку”.²⁰

Александр Блок в своем очерке “Горький о Мессине” – о бедствии еще более тяжелом, чем наводнение в Петербурге, – говорит, что это бедствие явило нам такое лицо “обыкновенного человека”, от которого “мы успели [...] отвыкнуть”: “Написано на нем было одновременно, как жалок человек и как живуч, силен и благороден человек”.

Ничего похожего в картине петербургского бедствия нет.

Блок писал: “В минуту катастрофы и несколько часов после нее люди были охвачены паникой, безумием, совершенно растеряны, несчастнее зверей. Но какие чудеса человеческого духа и человеческой силы были явлены потом”.

На долю Евгения Пушкин оставляет только одну сторону этого лица: “несчастнее зверей”:

[...] ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Думается, что гораздо плодотворнее для разгадывания “загадок” поэмы “Медный всадник” видеть в ней отображение диалектики исторической жизни.

Для этого важно понимание образа Петра.

Брюсов, которому известны были все рукописные варианты поэмы, а не только ее искаженный текст, считал, однако, что Пушкин заменил противоречивую историческую фигуру Петра “его изваянием, его идеальным образом”.

Современные же исследователи, наоборот, именно в памятнике Петра видят снижение, отражение второго лица исторического Петра – “нетерпеливого самовластного помещика”.

Б.Мейлах делает такой вывод: “И в образе действий “ожившего” Медного всадника после того, как ему осмелился грозить Евгений, выразилось тираническое начало деспота-самодержца”.

Следуя за цензурой Николая I, снижение образа Петра исследователи видят в словах “кумир”, “горделивый истукан” и даже в том, что “кумир”, который в первой части поэмы “стоит”, во второй ее части уже “сидел на бронзовом коне” (Ю.Борев).

В одическом стиле Ю.Борев видит “эзопов язык”. Он пишет: “Одический слог позволил Пушкину предстать перед высочайшим цензурующим взором Николая I, не вызывая у него гнева”.

Снова откроем “Словарь языка Пушкина”. Одно из объяснений к слову “кумир”: “Статуя, изваяние, монумент (изображающие богов, властителей, героев)”.

[...] Но меж тем в толпе молчаливых кумиров –
Грустен гуляю [...]
 (“Художнику”, о статуях Баркляя, Кутузова и других)

Или:

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры [...]
 (“В начале жизни школу помню я”)

Другой раздел: “о лице, превознесенном в общем мнении благодаря своему положению, власти, деятельности”.

Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
 (“Евгений Онегин”)

Еще раздел: “о громкой известности, авторитете, достоинстве, ценности кого-нибудь”.

“Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый доныне еще не оценен”.
(Из письма Бестужеву, май 1825)

Также слово “истукан” имеет значение “статуя”:

Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы [...]
 (“Руслан и Людмила”)

Встречаем мы у Пушкина даже такие выражения: “идол Европы” в отношении Вольтера, “сей идол северных дружин” в адрес Кутузова, “Помпея мрамор горделивый” и т.п.

Таким образом, следует сделать вывод, что прочтение подобных слов у Пушкина в их уничижительном значении излишне осовременено. Такого однозначного звучания пушкинский лексикон не знал.

Еще одно соображение.

В отношении образа Петра в поэме “Полтава” мы не встретим снижающих оценок. Пушкину даже бросается упрек, что в “Стансах” и в “Полтаве” он “сделал уступку политике” (Г.Макогоненко). Но ведь образы Петра в “Полтаве” и “Медном всаднике” – тождественны.

В “Полтаве” Петр: “[...] прекрасен / Он весь, как божия гроза”, “могущий седок”, “могущ и радостен, как бой”, “самодержавный великан”, “лик его ужасен”, “царь суровый”, “царь, вспыхнув”, “с угрозой ухватил”, “негодование, гнев царя”.

В “Медном всаднике”: “кумир на бронзовом коне”, “мощный властелин судьбы”, “какая дума на челе! / Какая сила в нем сокрыта!”, “державец полумира”, “ужасен он в окрестной мгле”, “грозный царь”, “мгновенно гневом возгоря”.

И даже такая параллель. В “Полтаве”:

И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал.

А в “Медном всаднике”: в ответ на “злобно задрожав” – “шум наказанья”:

Как будто грома грохотанье, –
Тяжело-звонкое скаканье [...]

В “Полтаве” на первом плане оценка деятельности Петра в историческом масштабе: “Россия молодая” “мужала с гением Петра”; “Прошло сто лет”; “Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, / Огромный памятник себе”.

В “Медном всаднике” тоже “прошло сто лет” и тот же итог:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.

Любопытно, что у Пушкина одной и той же краскою изображены мятежники: Мазепа в “Полтаве”, водная стихия и Евгений – в “Медном всаднике”:

Мазепа: “злой старик”, “враждебный взор”, “коварная душа”, “воля злая”, “стесненная злоба”, “преступный жар”.

Волны: “тщетная злоба”, “как зверь остервенясь”, “злые волны”, “наглое буйство”, “Еще кипели злобны волны / Как бы под ними тлел огонь”.

Евгений: “взоры дикие”, “стеснилась грудь”, “злбно задрожав”, “пламень пробежал”.

Метод аллюзивных наложений далеко не безоговорочен. Поэма “Медный всадник” насыщена многими ассоциативными планами. Но это не означает, что мы вправе произвольно “вынимать” эти ассоциации в угоду отвлеченным конструктивным идеям. Такой метод должен быть всесторонним и объективным.

Можно увидеть в поэме ассоциации с мятежной стихией народных бунтов, декабристского восстания, будущей ее победы, но вот сам Пушкин подсказывает еще один вариант противостояния Петра и водной стихии. В черновиках “Езерского” читаем:

[...] государство
Шаталось, будто под грозой,
И усмиренное боярство
Его железною рукой
Мятежной предалось надежде:
“Пусть будет вновь, что было прежде”,
[...]
Не тут-то было. Тень Петрова
Стояла грозно средь бояр.
Бессилен немощный удар,
Что было, не восстало снова,
Россию двинули вперед
Ветрила те ж, средь тех же вод.

Если избрать этот вариант – а право выбора его не менее обоснованно, – то правота Петра в “Медном всаднике” прозвучит с не меньшей силой, чем в “Полтаве”:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра.

Если рассматривать “Медный всадник” как единство двух разномастных параллелей, то, безусловно, Петр не является антагонистом Евгения, он к нему никак не относится, в поэме он целиком остается в *исто-*

рии, Евгений же – вне истории, и для него наводнение, памятник Петра, исторический Петр, “строитель чудотворный” и “насмешливое небо” – все едино – безликая судьба, которую он, естественно, меряет лишь собственным уделом, как писал О.Мандельштам: “Чудак Евгений, бедности стыдится, / [...] и судьбу клянет” (“Петербургские строфы”).

Пушкина всегда интересовала связь человека с окружающим его миром. И он понимал, что судьба человека имеет прямую зависимость от этого мира. В 30-е годы он стал пристальней интересоваться проблемой существования в жизни человечества двух параллелей, двух дорог, цели которых, однако, далеко не всегда совпадали.

Была жизнь отдельного человека, целью которой было счастье. Цель эта была разумной, но, увы, почему-то недостижимой, натыкающейся на какие-то преграды. Поскольку неблагополучие исходило от окружающего мира, естественно было стремиться поскорее что-то в этом мире исправить. Но подправить скорее – оказывалось, не получается.

Между тем шла жизнь и по другой параллели. Самостоятельная. Это жизнь рода, народа, государств. Цель этой жизни тоже была по-своему *разумной*. Большая жизнь зависела от вклада в нее тысяч маленьких жизней.

Феномен несовпадения двух разумных целей становился для Пушкина мучительной проблемой, которую он и пытался решать в своем творчестве.

Французский просветитель XVIII в. Кондорсе в своей работе “Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума” писал: “Мы видим, что труды этих последних лет много сделали для прогресса человеческого разума, но мало для совершенства человеческого рода; много для славы человека, кое-что для его свободы, почти ничего еще для его счастья”.

Пушкин это глубоко понимал. В “Медном всаднике” разворачивается картина жизни, соответствующая этим двум параллелям. Можно вполне представить структуру поэмы, как состоящую из двух самостоятельных “параллельных” произведений, имеющих свое развитие, свою кульминацию, свою развязку. В первой показано движение самой истории. Разворачивается величавая картина человеческих дел, связанных с прогрессом человеческого разума и со славой человека:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн [...]

Пушкин умышленно не называет здесь имени Петра. Он не занят его частной биографией. Дело Петра выступает здесь просто как пример. “Он” – это олицетворение той силы, той величины, которая собирает, концентрирует в себе усилия тысяч отдельных волей, которыми великие думы превращаются в великие дела. Пушкин не мог не оценить их значения, их величия. Поэтому он пишет оду. Сила эта – властная и грандиозная, ее масштабы перешагивают через масштабы отдельной личности. Имя этой силе – власть. Власть истории. И если ее волю определяет в конечном счете народ, то воля Петра в рамках истории оказывалась волей народа. И она достигала своих положительных и разумных целей.

Сходная проблема власти разрабатывалась Пушкиным и в таких произведениях, как стихотворение “Анчар” и поэма “Анджело”.

Ср.:

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.

И:

И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

А также:

О мощный властелин судьбы!

И:

Непобедимого владыки.

Дело Петра, особенно в контексте всех произведений о нем Пушкина, конечно, отличается от дел князя, о котором нам только то известно, что он рассылает “гибель [...] в чуждые пределы”. Но в самом “Медном всаднике” историческая правота угрозы “надменному соседу” не очень обоснована. Но нас интересует здесь другое сходство: необходимость для успеха “мощности” и “непобедимости”.

В “Анджело” дан целый трактат в пользу твердой власти:

Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.
[...]
[...] Сам ясно видел он,
Что хуже дедушек с дня на день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал,

Что правосудие сидело сложа руки
И по носу его ленивый не шелкал.

Пушкин понимал, что спорить с историей – смешно и бессмысленно, все равно, что биться головой о каменную стену. Ее не вернешь и по-другому не повернешь: *история уже случилась*. Поэтому нелепо было бы рассматривать “Медный всадник” как поэму о конфликте между счастьем “маленького человека” и злой силой деспотической власти, которая в лице Петра I или его преемников топит его счастье в волнах наводнения. От такой грубой “социологической” трактовки давно вроде бы отказались. Но следы ее висят еще в иных исследованиях.²¹

Этак мы и в наше время за все катастрофы с самолетами, с мостами, за все землетрясения и наводнения могли бы винить архитекторов, конструкторов и т.д.

У исследователей получается: Петр I виноват в том, что не там город заложил, а Александр I – в том, что царям со стихией не совладать. По этой схеме “Медный всадник” – это поэма о разоблачении коррупции городских властей. Совладать со всеми стихиями человечество и до сих пор не научилось.

Если в бедствии, обрушившемся на голову Евгения, виноваты власти, то виновность с ними, безусловно, должен разделять и Пушкин, провозглашающий:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия [...]

И тогда строчки:

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия [...]

– это призыв к декабристам смириться перед царем и снять перед ним “картуз изношенный”, то есть изношенные идеи вольнолюбия.

Пушкин с историей не спорит. У него другое дело – ее освещать. И триумф победителей он отравляет тем, что у него в истории у “ног владыки” умирает “бедный раб” (или “бедный Евгений”). Факт с точки зрения “горделивого” победителя, может быть, незначительный, но не с высоты философа, который и на историю смотрит с иного уровня.

В “Сцене из Фауста” Фауст говорит: “Мирская честь [читай: и слава. – Г.Г.] бессмысленна, как сон”.

Отдавая дань прогрессу истории и деяниям сильных людей во имя его,

Пушкин не мог не останавливать своего внимания и на том, что для великих “сильных” было всего лишь издержками истории. “Во зло соседу” – одновременно сопровождалось и во зло “рабу”.

Сильная власть Анджело временно замещает “слабые руки” Дука. Но обладание высшей властью не гарантирует ее носителю свободу от человеческих слабостей. Сочетание этих слабостей с силою власти превращает ее в *само-власти*. Поэт в стихотворении Пушкина “Герой” говорит:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него?

Ответ известен. Но мы можем подставить Анджело и других. Пушкин выбирает сердце. Всегда сердце. Коллизию между слабой и сильной властью в поэме “Анджело” Пушкин не решает в пользу ни одной стороны, но переводит ее в совсем иную плоскость. Поэма заканчивается словами:

И Дук его простил.

Не разрешив этой коллизии, Пушкин, может быть, допускает некоторую алогичность, но для него бесспорной истиной звучат слова:

Земных властителей ничто не украшает
Как милосердие. Оно их возвышает.
(“Анджело”)

Кульминация поэмы о всаднике медном – в вопросе, остающемся без ответа:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Ответ уже давала сама история. Видеть главный смысл всей поэмы в угрозе со стороны Евгения медному кумиру – угрозе-намеке на восстание ли декабристов (Евгений на Сенатской площади), или на народные бунты (бунтующие волны), или, наконец, на грядущее возмездие (“Ужо тебе!”) – не значит ли воспринимать поэму только глазами цензуры Николая I, который эти намеки и искал? Как гласит зачеркнутая строчка в стихотворении “Андрей Шенья”:

Неужели Пушкин писал свою поэму для одного Николая I, для того, чтобы зашифрованно выразить ему свое недовольство? Или же зашифровал для немногих своих друзей (ведь только им одним и могло быть это понятным) сообщение о том, что он верен прежним своим лозунгам: “Долой самодержавие! Да здравствует свобода!” Неужели только для этого Пушкин писал свою поэму? А ведь эта мысль проходит красной чертой через всю историю исследования поэмы.²²

Когда-то эти лозунги Пушкин так прямо и выкрикивал. Но зрелый Пушкин прекрасно понимал, что невозможность делать такие высказывания не освобождает его от обязанности трудов, возложенных на него его талантом. Как писал Баратынский: “Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия”.

Конфликтом Евгения с медным истуканом Пушкин изъяснял невероятную трудность, а может, и бессмысленность противостоять “необъятной силе правительства, основанной на силе вещей” (“О народном воспитании”). В этом плане правительство Николая могло бы брать Пушкина в союзники себе, если бы оно было поумнее. Ибо гораздо более взрывчатой силой оказывалась незашифрованная поэтическая деятельность Пушкина, которая следовала его мысли, “что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений” (“Капитанская дочка”).

История показывала Пушкину, что люди еще не готовы ни бороться за свободу, ни ею пользоваться. Таких людей надо было воспитывать. Эту задачу и решал Пушкин. Решал он ее и в “Медном всаднике”.

Характер Евгения, безусловно, типологически соответствует “бедному рабу” из “Анчара”, который был только способен послушно выполнить волю властелина и умереть у его ног. “Хладный труп” Евгения находят “у порога”. А в черновиках еще “ближе”: “У порога лежал умерший наш герой”. Независимо от первоначальных замыслов, отражавшихся в черновиках, – в окончательном тексте “Медного всадника” Пушкину понадобился именно такой герой, главные черты которого – “безликость” и “ничтожность”. Для обоснования двух важных проблем, которые волновали Пушкина всегда, а особенно в пору его зрелости.

Пушкин считал непригодным для отдельной личности не только с наску взламывать “силу вещей” (тем более, что в них была и своя разумность), но и путь отказа от участия в истории. В судьбе Евгения отразилось и то, и другое. Но главным в образе Евгения для Пушкина было раз-

венчивание его жизненной программы. И тут, повторяю, можно согласиться с М.Гординым – программы экзистенциалистской.

Почему гибнет Евгений? Почему Пушкин нигде прямо не говорит о гибели Параша? Почему Пушкин не сообщает никаких подробностей ни о Параше, ни о роде занятий Евгения?

На то у него есть свои причины.

Жизненный идеал Евгения у Пушкина обозначен, и только обозначен, совершенно не раскрыт, в соответствии с формулой Гегеля: “Сколько бы тот или иной человек в свое время ни ссорился с миром, сколько бы его ни бросало из стороны в сторону, он в конце концов все же по большей части получает свою девушку и какую-нибудь службу, женится и делается таким филистером, как все другие”.²³

Но только пушкинский Евгений этим идеалом вооружается изначально, без каких-то метаний. По его логике, счастье ему должна принести сама *малость* его целей. Но это как раз и приводит его к гибели. А вовсе не настойчивость в осуществлении своих целей, как истолковано у М.Гордина, который, видимо, “настойчивость” спутал с “невменяемостью”.

Пушкин понимал, что осуществлению счастья мешает не только несовершенство жизни, но и несовершенство самого человека. Из жизни отдельных людей для примера он выбирает жизнь самой маленькой единицы. В параллель великим думам Петра он противопоставляет думы Евгения: “О чем же думал он?” Поначалу жизнь еще полна обещаний, и думы его приятны и наполнены мечтами. Ведь ему надо такого маленького, такого легко исполнимого счастья! Но вот колесо истории чуть сдвинулось – и все раздавлено, погублено безнадежно.²⁴

Другие думы овладевают Евгением. Он “ужасных дум безмолвно полон”. “Ужасное” – это слово Пушкин повторяет несколько раз: “ужасный день”, “ужасная пора”.

С точки зрения существования отдельного человека история представляется ужасной. “Нас всех подстерегает случай”, – писал Блок. Летопись истории – это бесконечная летопись ужасов.

[...] иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

– звучит в поэме этот роковой вопрос.

Проба на счастье – этим объединяются многие произведения Пушкина разного жанра, с разными героями, относящиеся к разным историческим временам, к разным народам (“Цыганы”, “Евгений Онегин”, “Каменный

гость”, “Пир во время чумы”, “Пиковая дама”, “Капитанская дочка и т.д. и т.п.). И везде Пушкин говорит не только о противоборстве человеческой судьбы с обстоятельствами, но также и о роли вины самого человека, о внутренних противоборствах. Испытанию подвергаются такие понятия, как честь, гордость, отвага, доброта – и себялюбие, равнодушие, зависть, корыстолюбие и т.д. И хотя картин несчастий и страданий у Пушкина сверхдостаточно, мы не можем сказать, что в торжестве злых начал человека и его добродетелей поэт соблюдает истинные пропорции самой действительности. Пушкин, можно сказать, не дает злу окончательно торжествовать, но и крушение доброго начала не обходится без его собственной вины. Например, бедность – это, безусловно, несчастье, но, как писал Гнедич: “Бедность – превосходное училище людей... На сем пути человек узнает человека и научается любить его, ибо видит, что большая часть людей – несчастны; на сем пути, привыкая ожидать всего единственно от себя, убогий приобретает мужество и силу души”.

Этого испытания не выдерживает и Евгений.

Потому Пушкин не говорит о гибели Парашы, потому Евгений у него разыскивает не ее, а только домик, что гибель Парашы или гибель домика в судьбе Евгения равнозначны. Не так уж важно, что захлестнуло бы счастье Евгения: водная пучина или пучина нищеты.

Тютчев писал Жуковскому: “Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного *и кроме счастья*”. А счастье же, хоть и малое, но когда оно сосредоточено в *одном*, – слишком ненадежная опора в жизни человека.

В “Пиковой даме” Пушкин писал: “Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место”.

Подобно Германну, у которого представление о счастье сконцентрировалось в “неподвижной идее” трех карт, у Евгения все воплотилось в домике с Парашей.

Пушкин не уделяет внимания самой Параше, как и “службе” Евгения, потому, что те или другие подробности для его замысла не существенны. Формула Гегеля взята им в самом общем виде, большего ему не нужно.

Евгений, как и Германн, сходит с ума, и это объясняется как слабостью его духовной природы и крайне нервического характера, так и точечной нацеленностью всех его жизненных устремлений. Отчуждение от всего, отказ от участия в истории, отъединенность от мира людей, отъединенность от многосторонности жизни, а главное, бескрылость духа – все это свелось у Евгения к подмене жизненных идеалов символическим ничтожным идеалом, каким-то карточным домиком.

Ситуация Евгения – то, что судьба отнимает у него “его мечту, его Парашу”, – присуща многим героям Пушкина. Руслан, корольевич Елисей,

Алеко, Ленский, Дубровский, Германн, Гринев и т.д. И для всех, для кого представления о жизни сосредоточиваются на этой единственности, ситуация разрешается катастрофой. Германн сходит с ума, а Лиза выходит замуж (без карты Лиза ему не нужна); Ленский “сходит с ума” – стреляется на дуэли и гибнет, а Ольга выходит замуж; Алеко “сходит с ума” – совершает убийство, гибнет Земфира, и гибнет его душа; Евгений сходит с ума, а Параша гибнет ли или тоже выйдет замуж – без домика она ему не нужна.

Каково же истинное отношение Пушкина к своему герою? Он не лишает его своего сострадания, как ни мал был бы человек. Какая бы причина ни делала его несчастным – несчастный всегда имеет право на сострадание. “И милость к падшим” – с этим призывом Пушкин обращался на всех социальных уровнях. На что Анджело не заслуживал никакого снисхождения, но Пушкину для Гармонии нужно было, чтобы “Дук его простил”. Если разумная “сила вещей” жестока, то Пушкин готов остаться не с ней. В “Бахчисарайском фонтане” он писал:

Какая б ни была вина,
Ужасно было наказание.

Всякая истина без сердца обречена в конце концов быть бесплодной. Таков высший смысл всех творений Пушкина. Но, сострадая своему герою, он отнюдь не гордится им. Это не его *герой*. Пушкин многого ждал от человека. Всякая “самость”, по мысли Пушкина, тоже *бесплодна*.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь.

Для Пушкина это было истиной на всех уровнях человеческой жизни.

В круговороте жизни: жизнь-смерть – всегда есть место делам и чувствам, радостям и страданиям, ненависти и любви, заботам и подвигам. Когда цель жизни подменяется “самостью”, то из жизни исчезает все живое. Остается только злобный эгоизм или страх, отчаяние, тоска. И довести “самость” до мизера, то есть чтобы избежать утрат, ограничить себя приобретениями, то это тоже не будет спасением, а наоборот, еще неизбежнее приведет к гибели.

Самость губила многих героев Пушкина. Она же погубила и героя “Медного всадника”.

Евгений – крайне пассивная личность. Это человек пассивных действий, пассивных чувств, робкой души. Он не только робок в своих мечтаниях, ставя им самый низший предел, но и с робостью относится к их

осуществлению. Но, несмотря на малость желаний, он остается целиком сосредоточенным на себе.

[...] Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги

– говорит Пушкин о состоянии Евгения в безумии. Но и при здоровом рас- судке Евгений поглощен размышлениями по поводу своих переживаний. Даже страшась не за себя, он все равно полностью поглощен собственным страхом.

Все переживания Евгения, как мы уже отмечали, носят меланхоличе- скую окрашенность.

Чужих бедствий Евгений не замечает.

Старый цыган в “Цыганах” говорит: “Здесь люди вольны, небо ясно”. Это не значит, что у них не может быть горя, страданий, лишений, но вольность людей предполагает, что они вольны смирять как и свои стра- сти, так и свои страдания. Он же говорит Алеко:

Не плачь: тоска тебя погубит.

Пушкин писал в 1831 г. Плетневу: “Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу”.

Мы знаем, какой приговор Алеко вынесло вольное племя:

Ты для себя лишь хочешь воли.

Так и Евгений: для себя лишь хочет чувств. Он для себя страшится, отчаивается, тоскует, и в конце концов именно тоска и страх губят его.

Как бесстрастный летописец, Пушкин описывает смерть Евгения, по- тому что она в его положении уже не ужасный конец, а облегчение. Князь в “Русалке” говорит:

[...] Страшно
Ума лишиться. Легче умереть.
[...] Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
[...] в нем брата своего
Зверь узнает, он людям в посмеянье,
Над ним всяк волен.

Таков и Евгений. Состояние Евгения – это логическое завершение все-

го его “жизненного пути”, который ведет только к отпадению из великой цепи человечества.

Пушкин с пониманием относится к тому, что истории противостоит “человек маленький, частный, не претендующий на самозначность и самоценность” (Ю.Борев).

Но это право не дается само по себе, как дыхание живому существу.

Одно из главных достоинств человеческой личности, указывает Пушкин, “особенность характера, самобытность (*individualité*) без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия” (“Барышня-крестьянка”). Рождаясь на свет, человек – это покамест только пустой сосуд; чтобы стать личностью, он должен быть наполнен выработанными всей историей человеческими ценностями.

По убеждению Пушкина, как пишет Ю.М.Лотман: “Только тот – часть истории, кто одновременно и яркое человеческое целое”.

Пустая “самость” – это болезнь, которая зловеще распространилась в более поздние времена. Но Пушкин успел в нее глубоко заглянуть.

Примечания

¹ Г.Макогоненко, “Медный всадник” и “Записки сумасшедшего”, *Вопросы литературы*, 1979, № 6; Ю.Борев, *Искусство интерпретации и оценки (Опыт прочтения “Медного всадника”)*, М., 1981; М.Гордин, “Величие “ничтожного героя”. *Вопросы литературы*, 1984, № 1; Б.Мейлах, “Судьба и загадки шедевра русской поэзии”, *Дружба народов*, 1984, № 3 и др.

² См., например, “Роман в письмах” (1829): “Я без прискорбья никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат”.

³ Ср. его ироническое:

И всяк, кто только не поэт,
Морфею сладко предавался.
 (“Тень Фонвизина”)

⁴ В свое время дискутировалась семантика глагола “мечтать”. Предлагалось понимать его в значении “думать”, “размышлять”. Но это было справедливо отброшено. См. Н.В.Измайлов, “Медный всадник” А.С.Пушкина”, в кн.: А.С.Пушкин, *Медный всадник*, Ленинград, 1978.

⁵ Имеется и другой вариант монолога Евгения, где его первая половина

передана косвенной речью. Какой из вариантов считать окончательным, исследователями еще не выбрано.

⁶ В. Брюсов, “Медный всадник”, в его кн.: *Ремесло поэта. Статьи о русской поэзии*, М., 1981.

⁷ Пушкинское авторство этой эпиграммы вполне убедительно доказано А. Лацисом (*Вопросы литературы*, 1983, № 4).

⁸ Ср. также слова Мартына: “Слава богу, нажил я себе и дом, и деньги, и честное имя, – а чем? – бережливостью, терпением, трудолюбием”. (“Сцены из рыцарских времен”)

⁹ От опеки Пушкин так никогда и не освободился.

¹⁰ “Труд”, 1830 г.

¹¹ “Рифма, звучная подруга”, 1828 г.

¹² Как тот Яковлев, который послужил прототипом в данном эпизоде.

¹³ Н. В. Измайлов, указ. соч., с. 262.

¹⁴ Удивляет частая непоследовательность в методике интерпретаций, проводимых исследователями. Например, фраза “прояснились в нем страшно мысли” относится к моменту, когда он узнает то место, а ее распространяют и на столкновение Евгения с кумиром. Но не замечают того, что фразу “показалось ему” с тем же основанием можно отнести ко всему эпизоду погони Медного всадника за Евгением.

¹⁵ Известны многочисленные столкновения Пушкина как с отдельными “частными” людьми, так и с представителями порядка, но вряд ли отыщется хоть какой-нибудь конфликт, в котором по отношению к поэту можно употребить слово “испуг”.

¹⁶ В начале эпизода: “Мрачно было: Дождь капал [...] во тьме ночной [...] в темной вышине [...] во мраке”, а когда всадник медный скачет, то он “озарен луною бледной”.

¹⁷ Подобный эффект использовала Марина Цветаева в описании погони бычка во время их прогулки с Мандельштамом и детьми (см. “Историю одного посвящения”).

¹⁸ Г. Макогоненко, *Вопросы литературы*, 1979, № 6, с. 114.

¹⁹ Если картины самого наводнения у Пушкина соответствуют описаниям в печати, то в отношении помощи пострадавшим он уклоняется от этих описаний. Правительством был выделен миллион рублей, были и пожертвования. Сам Пушкин писал брату Льву из Михайловского: “Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег”.

Но Пушкину важно было подчеркнуть неумолимость и беспощадность рока, что выражено и необычной конструкцией фразы: “Где будет взять?” вместо “Где нам будет взять?”

²⁰ Н.В.Измайлов, указ. соч., с. 262.

²¹ См. хотя бы С.М.Бонди, "Медный всадник", комментарий в кн.: А.С.Пушкин, Поэмы, М., 1975.

²² См., например, статью М.Харлапа "О "Медном всаднике" Пушкина", Вопросы литературы, 1961, № 1. У М.Харлапа получается, что Пушкин написал своего "Медного всадника" для того, чтобы в сверхзашифрованном виде сообщить читателям, что смысл поэмы содержится вовсе не в ней самой, а в стихотворении Мицкевича "Памятник Петра Великого".

²³ См. подобную формулу в эпилоге "Пиковой дамы": "Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние".

²⁴ Вспомним знаменитую сказку Анатоля Франса о рубашке. Нужно было найти рубашку счастливого человека, и вот он как будто найден, счастливый человек... не имеющий рубашки. Человек, счастье которого ограничено малыми требованиями. Но взмах враждебных стихий – и от счастья не остается и следа. Тут явно переключка с "Медным всадником".

Моше Гохлернер

“Русский роман”

“Иерусалим, январь 1960. Я пишу потому, что люди, которых я любила, уже умерли. Я пишу потому, что когда я была девочкой, я могла сильно любить, а теперь моя способность любить исчезает, я замужем, мне тридцать лет, мой муж доктор Михаэль Гонен, геолог, хороший человек, я его любила”.

Так начинается роман “Мой Михаэль”. Почему способность любить ослабевает и иссякает со временем у тридцатилетней женщины в замужестве за хорошим человеком, которого она любила? На этот вопрос попытается ответить один из известнейших израильских писателей, лауреат государственной премии Израиля по литературе Амос Оз в романе “Мой Михаэль”, опубликованном на иврите в 1968 году.

Самое большое в мире книгоиздательство – немецкое издательство “Бертельсман” выбрало именно этот роман для включения в серию ста лучших романов XX века. Имя Амоса Оза поставлено в один ряд с именами таких известнейших писателей, внесших значительный вклад в мировую литературу, как Джеймс Джойс, Франц Кафка, Томас Манн, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Альбер Камю, Джером Дэвид Сэлинджер и др.

Писатель реагирует на это событие так: “Надо помнить, в каком положении была ивритская литература в начале столетия и каковы ее достижения к концу века. Сто лет назад почти не было человека, который бы разговаривал на иврите, а сейчас мы в одном ряду с большой литературой мира. Ивритская литература, может быть, самое большое достижение еврейского народа в этом столетии” (“24 часа”, 22.7.99, перевод мой. – М.Г.).

В XIX-XX веках сформировались три центра ивритской культуры: Европа, США, Палестина, затем Государство Израиль. Авторы монументального труда “История еврейского ишува в Эрец Исраэль. Строительство ивритской культуры в Эрец Исраэль” (гл. редактор Зоар Шавит) подробно исследуют процесс перемещения европейского, преимущественно русского и восточноевропейского центра ивритской культуры, особенно ивритской литературы, в Эрец Исраэль, ставшую в середине 30-х годов главным центром ивритской культуры, а Государство Израиль становится

духовным центром еврейского народа, как в свое время мечтал один из идеологических вождей сионизма Ахад ха-Ам.

Иллюстрацией этого процесса может служить зарождение и расцвет литературного таланта самого Амоса Оза, хотя он является уроженцем страны (Оз родился в Иерусалиме в 1939 году). О своих европейско-русских истоках он пишет: “О моих отношениях с Россией – а они, я полагаю, характерны для большинства людей моего поколения и, пожалуй, для всей нашей культуры – об этих отношениях можно сказать так: “Мы обожжены!” И невозможно стереть признаки, стереть следы этой “обоженности”, связанные со становлением и переживанием нашего несчастного, трагического “русского романа”, – мы мечены, клеймены, опалены...” И дальше: “Связь наша с Россией – фундаментальная, глубокая, духовная, культурно-литературная...”

Русские и европейские истоки Амоса Оза, или, как звучала фамилия его отца, Клаузнера, обнаруживаются в литературном салоне его деда в Одессе. О своем отце Иегуде Ари Клаузнере, библиотекаре Еврейской национальной библиотеки в Иерусалиме, выпускнике Иерусалимского еврейского университета по специальности “литература”, Оз пишет, что у него иврит был семейным языком, идиш – языком улицы, а русский – языком города. Дом Клаузнеров в Одессе был цитаделью иврита и сионизма, а бабушка его Шломит царствовала в ивритском литературном салоне. Временами заглядывали в этот салон Х.Н.Бялик, Ш.Черниховский, а недалеко, через несколько улиц, жил “дедушка” современной идишской и ивритской литературы Менделе Мойхер Сфорим; в Одессе жили Ахад ха-Ам, Равницкий, Усышкин. Много юношей-поэтов с горящими глазами приезжали из разных местечек и городов России в Одессу, чтобы блеснуть своими литературными талантами на иврите.

В статье о себе, помещенной в словаре “Писатели мира”, Оз пишет, что дедушка его воспитал своих детей в духе сионизма и европеизма. “В эти годы (1922-1930) никто в Европе, кроме моего дедушки и других подобных евреев, не были “европейцами”: каждый был или панславистом, или коммунистом, пангерманистом, или просто болгарским патриотом”. Когда дедушка Оза Александр Клаузнер переехал в 1933 году из Вильно (куда семья переехала из Одессы после Октябрьской революции) в Иерусалим, он не перестал сочинять стихи на русском языке о красоте иврита и Иерусалима. В родительском доме, вспоминает Амос, родители видели сны на идиш, между собой разговаривали на русском и польском, книги читали главным образом на немецком и английском, но ребенка своего учили языку иврит. Писатель Амос Оз считает иврит не средством культурного творчества, а самой культурой.

“Если писатель пишет на иврите, даже если он переписывает заново Дос-

товского или будет писать о вторжении татарских племен в Южную Америку, у него в рассказе будет что-то еврейское... В иврите даже предметы неживой природы должны установить между собой половые отношения на иврите: мужской род и женский, отношения близости (смихут) и т.д.”

Оз принадлежит к группе писателей так называемой “новой волны”, которые начали печататься в 60-70-х годах; для них характерен отход от идеологически ангажированной литературы поколения ПАЛЬМАХа. Эти писатели уделяют большое внимание частной жизни, чисто человеческим отношениям в семье, между соседями, однако все это происходит на фоне общенациональных событий этих лет.

В творчестве Оза довольно широко представлена русская тематика или “опаленность” героев Россией. В романе “Коснуться ветра, коснуться воды” (1975), являющемся сюрреалистической сказкой, героиня Стефа, прежде чем прибывает в Израиль, успевает выйти замуж за агента КГБ в СССР. В рассказе “Запоздалая любовь” (1973) герой, уроженец России, лектор кибуцного движения, читает лекции на одну и ту же тему – русская опасность. Он, Шога Унгер, бывший революционер и активный деятель большевистской партии в России, в Израиле стал заклятым врагом России и на этой почве почти заболел паранойей. Оз описывает истоки этой паранойи, сводящиеся фактически к затаенной тоске героя по холодным просторам и снегам России. “Обожженность большевистской тотальностью идеологии, личная неустроенность приводят к раздвоению личности, которое наступает в результате амбивалентности любви и ненависти как в личной жизни, так и в его социальной активности. В романе “Познать женщину” водитель грузовика играет на гитаре грустные русские мелодии и сыплет цитатами из ТАНАХа.

Русский мотив мы находим и в романе “Черный ящик”, опубликованном в 1986 году. Отец главного героя, профессора Алекса Гидеона, сумасбродный старик Володя Гудонский, кличка его “Иван Грозный”. Ему приписывают сверхъестественную физическую силу, он славится экстравагантными выходками. Когда сын в первый раз приводит свою невесту Елену, старик элегантно ухаживает за ней, показывая свое поместье в Зихроне и “глубоким русским голосом” выражает восхищение ее красотой. За столом их обслуживают слуги во фраках, а на столе – водка, икра и прочие русские блюда, кипит самовар. Старик острит, рассказывает анекдоты, обращаясь к “красавице”. Молодые уходят, а старик велит адвокату купить им квартиру к свадьбе, хотя о свадьбе речи еще не было. На свадьбу, состоявшуюся через три месяца, старик не приехал, а укатил с очередной любовницей к норвежским фиордам. Когда родился внук Боаз, дед через какую-то итальянскую фирму добивается, чтобы одну из вершин в Гималаях назвали именем Боаза Гидеона. Через несколько лет этот сумасброд бросает всех своих любовниц, разгоняет слуг, остается

один в своем замке, изучает фарси и играет в бильярд со старым армянином. При вторичном посещении сына старик обращается к нему на русском языке, называя его “подкидышем”, невестку называет Нюсей, именем своей рано умершей жены: “Нюся моя, Нюсенька моя”.

Кстати, несмотря на все эти русские элементы в книгах Оза, он ни разу не пользуется известным матерным ругательством, очень популярным среди ивритоязычного населения, в том числе в ивритской литературе.

На творчество Оза повлияло его европейское и сионистское образование, полученное в интеллектуальной атмосфере родительского дома. Учился он в национально-религиозной школе, затем в гимназии “Мерхавия”. В автобиографических очерках писатель рассказывает, как в раннем детстве на него воздействовали русские военные и американские ковбойские фильмы. В этих фильмах всегда побеждает справедливый, добрый и обязательно сильный и красивый герой, подвергавшийся нападению. Он вспоминает детские драки между ним, росшим в семье, где господствовала правая национальная идеология, с другом Йоси, отец которого был революционером и членом левой партии МАПАМ. Йоси изображал красноармейца, а Амос – американца. Пятнадцатилетним юношей Амос оставил отчий дом и перешел жить и работать в кибуц Хульда. Затем – служба в армии, участие в Шестидневной войне и Войне Судного дня на Голанах, учеба на литературном факультете Иерусалимского университета, уход из кибуца, переезд в Арад (по медицинским соображениям), преподавание литературы в Беэр-Шевском университете.

Жизненный опыт Оза и его активное участие в общественной жизни нашли свое выражение в художественном творчестве. В романе “Другое место” (1966) Оз описывает, не идеализируя ее, жизнь в кибуце. Роман вызвал оживленную реакцию в политических кругах и в кибуцном движении. Та же тема отражена во многих других произведениях писателя.

Свою идеологическую позицию, политические взгляды и литературные симпатии Оз излагает в многочисленных эссе, публицистических статьях, литературно-критических заметках. Сошлемся на сборники “На склонах Ливана” (1988), “Под ярким светом” (1990). В вопросах культуры Оз за плюрализм. В лекции, прочитанной при открытии кафедры демократии и толерантности в университете Бар-Илан в ноябре 1996 года, он утверждает:

“Демократия и толерантность связаны с гуманизмом, а гуманизм предполагает плюрализм, то есть признание равных прав людей быть разными... У евреев нет папы римского, а если бы был, каждый еврей хлопал бы его по плечу, приговаривая: поди-ка сюда, послушай, ты меня не знаешь, и я тебя не знаю, но у твоего дедушки и моего дяди было когда-то общее дело в Житомире или в Маракеше. Дай мне две минутки, и я тебе раз и навсегда объясню, что, собственно, Бог хочет от нас”.

Касаясь современных споров и политических дискуссий об иудаизме и демократии, Оз продолжает:

“Еврейская культура носит глубокий и явно демократический характер; это стоит помнить как раз в эти дни, когда появляются у нас всякого рода умники, которым не хватает реального противопоставления законов Галахи демократически избранной власти. Они рассматривают демократию как угрозу иудаизму и иудаизм – как угрозу демократии”.

Свою лекцию Оз завершает цитатой из молитвы “Возобнови наши дни, как прежде”: нельзя возобновлять настоящее без памяти о прошлом, но и прошлое не может продолжать существовать без обновления.

Такой примиренческий подход и отказ от абсолютизации одной из двух сталкивающихся сторон как в области идеологии, так и в личной и духовной жизни отдельного человека, где сталкиваются глубокие чувства и бушующие страсти с холодными рассуждениями разума, характерен и для художественного творчества Оза. В интервью с журналисткой Галит Иешурун Оз говорит: “В романе “Мой Михаэль” мне приходилось постоянно бороться с главной героиней, Ханой, от лица которой ведется рассказ... Она все время хотела, чтобы ее жалели, описывали, как ей плохо живется, а я не давал ей это делать. В результате получился компромисс”.

Роман “Мой Михаэль” переведен на двадцать языков, в том числе на английский, французский, немецкий, испанский и др. Перевод романа на русский язык был опубликован в одном из томов “Библиотеки Алия”, а в 1996 году вышел и в Москве. В 1974 году роман был экранизирован (режиссер Дан Вольман).

Судьба свела романтическую, поэтическую Хану, студентку литературного факультета, с ученым геологом Михаэлем. Писатель стремится в случайном столкновении этих двух людей, в их поступках, размышлениях и сомнениях показать два различных отношения к жизни: женщина-мечтательница, художница по натуре, с одной стороны, – и рационально мыслящий ученый, этакий израильский Базаров, с другой.

Смогут ли ужиться под одной крышей и образовать счастливую семью два человека со столь явно противоположными характерами?

Полемизируя с известным утверждением Толстого о том, что все счастливые семьи похожи, Елена, другая героиня Оза из романа “Черный ящик”, доказывает своему бывшему мужу, что счастье одной семьи непохоже на счастье другой, что надо уметь увидеть счастливые минуты и переживать их так, чтобы они остались в памяти на всю жизнь.

Геолог Михаэль руководствуется в жизни здравым смыслом и разумом, он ищет и объясняет не только явления природы, находя в них причинные связи, он пытается также объяснить причинную связь человеческих поступков. Он не ищет в человеческой жизни смысла. На вопрос Ханы:

“Михаэль, ради чего ты вообще живешь?” – он отвечает, что сам этот вопрос не имеет смысла. “Большинство людей не живут ради чего-то. Они живут и точка”. Смысл жизни – это литературный вопрос, не научный, “нас должен интересовать вопрос “как”, а не “для чего”. Этот взвешенный сухой подход Михаэля чужд Хане, она видит в нем признак “посредственности”, в своем рассказе она одевает Михаэля в серое: серый галстук, серый плащ-дождевик, серый халат... Она не слишком хорошо разбирается в причинной связи явлений внешнего мира, зато обладает богатой фантазией и глубокой интуицией в понимании внутренних душевных переживаний, которых не способен понять ее ученый, разумный муж. Михаэль занимается подземными силами, бушующими в недрах земной коры, но не замечает страсти, бушующие в душе его жены.

В жизни Михаэль шагает прямо к намеченной цели: вначале первая ученая степень, затем – вторая, дальше – более высокая степень и продвижение в академической жизни. Заметим, что дальше должности помощника преподавателя он все же не добирается. А Хана не может примириться с обыденностью быта, сравнивая ее с “писаньем черновиков, которые переписывают начисто, выбрасывают, опять переписывают, вносят мелкие поправки и снова выбрасывают”, – и так бесконечно.

Для Михаэля настоящее – “бесформенное мягкое сырье, из которого надо вылепить путем ответственной и усердной работы желаемое будущее”; “прошлое же – это шелуха, которую надо выбросить... чтобы быть свободным и налегке устремиться к намеченной цели”. “Время и настойчивость, – говорит он Хане, – дают нам все: квартиру, машину, поездки в Европу”.

Семья Гонен живет в Иерусалиме. В романе изображена жизнь Иерусалима после Войны за Независимость. Для многих ивритских писателей, и особенно для Бренера, Бердичевского и Агнона, влияние которых чувствуется в творчестве Оза, о чем он сам говорит, Иерусалим имел символическое значение. Физическое разделение между двумя народами – это также и символическое разделение между “сознанием”, “разумом”, господствующим в еврейском мировоззрении, и необузданными чувствами, низменными инстинктами, культом силы, характерными для другой, нееврейской стороны. Но это разделение является также основой “нормального” порядка, и потому попытка силой сломать его чревата опасностью.

“Мой покойный отец Иосиф говорил мне при разных обстоятельствах: сильные люди вольны делать почти все, что им заблагорассудится, но даже самые сильные люди не свободны хотеть все, чего им хотелось бы. Я не особенно сильна”. Так рассуждает Хана. Иерусалим разделен и окружен враждебными арабскими поселениями, стремящимися поглотить его. “Деревни и арабские пригороды замыкают Иерусалим в тесное кольцо, как между пальцами сжатого кулака.... угроза ощуща-

ется всюду. Коварный враг прячется в толще горы... поджидает в засаде, в полутьме, тумане, дожде и буре, в черных лесах, находится под землей, таится за стенами монастырей, в деревне Эйн Керем... везде мерещится враг...”

На фоне этой тяжелой атмосферы и вопреки им в разделенном Иерусалиме ведется обширное строительство, появляются новые кварталы. Постепенно в меру улучшения своего материального положения жильцы старых кварталов перебираются в более благоустроенные дома. И хотя даже в новых кварталах слышно дыхание ближайших арабских деревень, при этом ощущается одновременно твердость и устойчивость тяжелого иерусалимского камня, вечность Кóтеля и пульсирующая жизнь города, разделенного, впрочем, и в еврейской части на анклавов представителей различных культур, стран исхода, религиозных верований. Хана пишет: “Я родилась в Иерусалиме. Но сказать, что Иерусалим мой город, не могу”. На вопрос журналистки Галит Иешурун, согласен ли он с этим утверждением своей героини, Оз отвечает утвердительно. “Когда я был ребенком, Иерусалим был слабой федерацией анклавов, большинство из них мне были чужими. Что я знал о богатых арабах из Бака? Я вырос в анклаве чиновников Сохнута, немного Керен Кайемет и библиотекарей-интеллектуалов... через три улицы ты попадаешь в чужой мир...”

Героиня романа Хана дружила в детстве с мальчишками-арабами. “Их дом стоял напротив нашего, по ту сторону заброшенного участка на границе Кирьят-Шмуэль и Катамон. Был у них дворик, отгороженный от всех ветров. Дом окружал этот внутренний дворик. Виноградные лозы вились по стенам виллы. Стены были сложены из розового камня, столь любимого богатыми арабами, селившимися на южных окраинах Иерусалима”.

Этот дом и арабские мальчишки сняты Хане и после замужества. Она мечтает о необычном, далеком. И, как сказал Новалис, “сны защищают нас от монотонности жизни”. В ее снах всегда появляются пространства, пейзажи и образы героев прочитанных ею книг Жюль Верна, Киплинга, Диккенса, снежные просторы России и герои русских книг и ивритских писателей первого поколения, выходцев из России.

Хана, как и большинство героинь Оза, вся соткана из тоски. Оз как-то сказал, что он все время вспоминает женщину из кибуца Хульда: как она под вечер сидит на скамейке и поет польскую песню, вспоминая молодость, а пятьдесят лет назад она так же сидела на берегу какой-то польской речки и пела ивритскую песню об Эрец Исраэль. “Женщины у меня больны тоской... это не современные женщины”.

В романе играет особую символическую роль голубой цвет. Яркая голубизна неба, голубой воздух и дождь, даже голубая Суббота символизируют поэтическую возвышенность, небесность атмосферы Иерусалима.

Этот же небесный голубой цвет любим героиней, мечтательной Ханой. Голубое вязаное платье, голубые занавески, голубые глаза сына Лира. Все это отражает фантастические устремления и мечтательность Ханы, ее неприятие обыденности, поиск необычного, далекого, что противопоставлено серому цвету ее мужа.

Противоречия между двумя натурами находят свое выражение в их супружеской жизни. Острым женским чутьем Хана ощущает, что Михаэль не особенно силен в своей страсти и чувствах. Он нравится ей своей деликатностью, прямоотой, широким диапазоном знаний, и вместе с тем она чувствует его слабость и недостаточную темпераментность. “Я хочу здесь написать, что до нашей брачной ночи не отдавала Михаэлю свое тело. За несколько месяцев до смерти позвал меня отец к себе в комнату, закрыл за мной дверь и запер ее... Он смотрел не на меня, а на коврик, что лежал у ножек кресла, будто на этом коврике читал слова, которые собирался сказать. Слова о том, что существуют гнусные мужчины, совращающие женщин, а затем бросающие их на произвол судьбы. Мне было около тринадцати лет... Он... сформулировал свои мысли так, будто существование двух различных полов – это отсутствие гармонии, увеличивающее мировое страдание, и люди обязаны из всех сил стараться сгладить эту дисгармонию. И в заключение отец сказал, что если я вспомню о его словах в трудную минуту, может, это уберезет меня от неверного шага”. Она пишет: “не думаю, что это подлинная причина”: она просто не чувствовала “его домоганий”, настойчивости Михаэля, его агрессивности...

Еще до свадьбы ей снился страшный сон. “Я с Михаэлем была в городе Иерихоне... Базар... был пестрым и шумным. Люди кричали, словно дикари... Внезапно рядом с нами остановился армейский джип. Британский офицер, коротышка, весь начищенный до блеска, выпрыгнул из него и тронул Михаэля за плечо. Михаэль вдруг развернулся, вырвался, затопал, как бык, и пустился наутек... Я осталась одна. Вопили женщины. Появились два парня, потянули меня за руку. Были укутаны они в одежды бедуинов, видны только горящие глаза... меня втащили в подвал...

Сейчас, во сне, я боялась близнецов. Они орали на меня. Зубы у обоих – белые-пребелые. А сами они гибки и смуглы. Два сильных серых волка. Я закричала: Михаэль! Михаэль! Но у меня пропал голос. Я онемела. Тьма объела меня. Тьме этой хотелось, чтобы Михаэль явился и вырвал меня из рук братьев только в конце, когда испытаю я и боль, и наслаждение”.

Волчий образ арабских мальчишек, близнецов Халили и Азиза, с которыми она играла в детстве, их сила и проворность, бушующая, переливающая через край энергия, блеснувший в руке Азиза нож, который он выхватил из-под полы бедуинской накидки, – все это явные сексуальные символы, мечта о насилии.

После замужества перед Ханой предстают во сне и другие сексуальные видения, героями которых являются литературные персонажи. Даже известный ивритский поэт Шауль Черниховский с его мужественными усами, который однажды зашел в магазин электротоваров ее отца, явился ей во сне. Все это проявления неисполненных ожиданий-желаний.

В романе есть еще ряд сцен, символизирующих неосуществленные желания. Михаэль и Хана выбивают ковер во дворе, затем складывают его. Хана описывает это так: “Михаэль приближается ко мне с расprostертыми руками, как будто хочет обнять меня, он подает мне два угла, удаляется, подхватывает два новых угла, образовавшихся после первой складки, простирает руки свои, приближается, удаляется, приближается, подает”. Это символическое описание их отношений: он прилагает усилия и пытается сдержанно, осторожно сблизиться, но настоящая близость не всегда получается.

В романе описывается жизнь средней, внешне благополучной семьи, протекающая без особых потрясений и неурядиц. Тем не менее за этой обыденностью мы видим женщину, страдающую из-за разрыва между желаниями, мечтами и действительностью. Мы видим, как она внутренне борется с собой, чтобы сдерживать свои инстинкты и страсти. Она добирается до глубин подсознания, туда, где решается судьба человека, где кипят страсти, хаотические инстинкты, стремящиеся вырваться наружу и разрушить “нормальную” жизнь.

Не напрасно муж Ханы – геолог, исследующий глубинные процессы земной коры, совершенно беспомощен перед нервными срывами жены, ее частыми заболеваниями. Он чувствует, как она отдаляется от него, но не понимает причин. Она же возмещает свою неудовлетворенность тем, что во сне ей видятся путешествия в сказочные страны, где она переживает сексуальное насилие со стороны больших, сильных и грубых людей.

В романе есть несколько сцен эротических переживаний Ханы с мужем, которые удовлетворяют ее, что отвергает упрощенное предположение, которое могло возникнуть у читателя, что основная причина исчезновения любви – в сексуальной неудовлетворенности героини.

Хана, от лица которой ведется рассказ, не занимается психологическим самокопанием – простым, но поэтичным языком, полным метафор и ассоциаций, она рассказывает о будничных событиях, что позволяет нам понять тонкость человеческих отношений.

Хана и Михаэль после свадьбы живут в Иерусалиме, его родственники – отец и четыре тети живут в Холоне, Тель-Авиве, ее мама, вдова, живет с сыном, братом Ханы, в киббуце. Отношения с ними у молодых равные, родственные, не очень часты встречи и взаимные посещения. Но те несколько встреч, о которых Хана рассказывает, позволяют высветить причины, способствующие возникновению у нее чувства отчужденности. Ми-

хаэль – кумир для родственников, восходящая звезда. И они дают советы, помогают деньгами, деликатно намекают Хане, чтобы она не мешала карьере мужа. Тетя Женя, врач по профессии, властная натура, даже рекомендует Хане сделать аборт, чтобы будущий ребенок не помешал Михаэлю заниматься научной работой. Хана и ее муж не принимают этого совета, но осадок в ее душе и ощущение своей “вторичности” остаются. Хана жертвует учебой в университете ради семьи. Ее мама, говорящая на плохом иврите с русским акцентом и по вечерам читающая Тургенева, живет в кибуце на севере. Эпизодически появляется у Ханы брат – кибуцник Эмануэль с ящиком яблок в подарок, но она не ощущает постоянной поддержки этих близких людей. Даже когда у молодых супругов рождается сын и мать на время переезжает к ним, чтобы помочь, Хана больше поддается советам властной тети мужа Жени, и ее мать отступает. Имя сыну они выбирают по совету отца Михаэля в честь его бабушки Залмана, хотя это имя Хане не нравится. Они только прибавляют еще одно имя Яир, которым пользуются повседневно. Ребенок растет и становится все больше похож на Михаэля, да и душой тянется к отцу, который умеет логично, по-мужски отвечать на его многочисленные вопросы, что вызывает у Ханы некоторую зависть и толкает ее к компенсаторным грезам во сне, представляющим собой форму бегства от действительности.

На отношения между супругами оказывают влияние личности отцов – умершего в молодом возрасте отца Ханы и отца Михаэля, главная цель жизни которого заключается в том, чтобы Михаэль наконец выучился и стал профессором. Многие психологические коллизии отношений Ханы с Михаэлем связаны с двойственностью ее отношения к покойному отцу, с которым она невольно сравнивает мужа. С одной стороны, любовь и чувство опоры, а с другой – неуважение и даже стыд за то, что он обычный лавочник, который должен угождать покупателям, выполнять их капризы. К этому прибавляется неосознаваемая обида за то, что отец оставил ее, Хану, беззащитной сиротой.

Хана ищет и находит в Михаэле многие черты своего отца. Михаэль деликатен, мягок, услужлив, пунктуален, осторожен, от него не приходится ожидать ничего необыкновенного. “Правильность” серого Михаэля почти сводит ее с ума. Даже комплименты он сопровождает замечанием: “Это звучит банально”. С другой стороны, его настойчивость и работоспособность дают ощущение опоры и внушают уверенность.

Физически и метафорически Михаэль входит в образ ее отца, когда ее мать при первой же встрече с ним со слезами на глазах рассказывает о своем муже, не дожившем до свадьбы Ханы, и тут же предлагает перешить ему к свадьбе черный костюм покойного Иосифа.

В поведении Михаэля Хана видит также черты его отца Иехезкиэля,

давно вдовствующего старика, который, когда молодые приезжают к нему в Холон, надевает фартук и начинает хлопотать на кухне. Точно так же вел себя ее муж, когда она болела: и посуду мыл, и пеленки стирал, и другие “женские” работы выполнял.

В Хане борются два противоположных чувства – чувство благодарности и любви наряду с ироническим чувством презрения к его “женственности”, “правильности”. Это, быть может, и служит психологическим объяснением ее неудовлетворенности, постепенного угасания любви и компенсаторного вытеснения “низменных желаний” в мир грез и снов о сильных, смелых, даже диких людях, совершающих необычные поступки, что дает Хане возможность наяву оставаться с мужем. “Я не сильная”, – говорит она о себе.

Писатель требует от нас понимания самого факта существования таких ситуаций в семейной жизни, которые могут привести к нервным срывам без видимой причины, а иногда и довести до отчаяния. Но всегда есть шанс прийти к компромиссу.

Следует заметить, что вся эта частная жизнь молодой семьи происходит на фоне общественных событий того времени, которые отражены в романе как бы между прочим, косвенно, в отдельных репликах героев за шахматной доской или за стаканом кофе. Идейные дискуссии между левыми и правыми, даже война 1956 года, в которой участвует и брат Ханы Эмануэль в боевой части на фронте и муж ее Михаэль во вспомогательной части, описываются в романе как повседневные, обычные для израильского общества явления. Даже возвращение Михаэля по окончании войны происходит прозаически просто.

Только яркий член партии “Херут” старик Кадишман патетически восклицает: “Государство Израиль сейчас изменит свой облик. Пришла очередь гоев плакаться... Еврейский народ больше не овечка среди семидесяти волков, с волками жить – по-волчьи выть. Все это как предвидел Жаботинский в своем пророческом романе “Самсон назорей”.

Может быть, образ великана Самсона из ГИНАХА с его сверхъестественной физической силой, дикими выходками, страстной любовью к женщине-блуднице и героическими поступками витал в подсознании окутанной голубой дымкой фантазий молодой романтической Ханы – героини романа Амоса Оза.

Вильям Баткин

Арон Копштейн

К 85-летию поэта

Так сложились обстоятельства – на излете алии девяностых чудом случилось мне с семьей очутиться на Земле Обетованной. Налегке отправились мы в дорогу, прихватив лишь несколько цветастых брезентовых баулов, да и то изрядно попотрошенных таможенниками в Бориспольском аэропорту. Но, не подначальные заслонам таможенных турникетов, не внесенные в пространности деклараций, не дрогнувшие на штормовых ветрах репатриации, в потаенных и тесных уголках памяти сбереглись сокровенные строки, и, словно звенья якорной цепи, ухватившись друг за друга, вместе со мной вживаются в Эрец Исраэль любимые поэты.

И вот уже среди древних, вечно зеленых, полных величавого достоинства Иудейских гор настойчиво, неудержимо возникают в памяти, и уста мои повторяют то в полный голос, то шепотом стихи кумиров, выдохнутые на вольном и великом, неискоренимом русском или молвленные на певучей и печальной украинской мове. Поэты – кто в одиночку, кто в антологиях – бесповоротно возвращаются на землю предков, и среди них – Арон Копштейн.

4 марта 1940 года на Петрозаводском направлении – у озера Суо-Ярви, затерянного среди обледенелых валунов карельской тундры, в самый разгар финской кампании, бездарной, кровавой, полностью проигранной, погиб Арон Копштейн – двадцатипятилетний поэт, студент Московского литературного института: прицельный выстрел финского снайпера лишил поэзию яркого лирика.

А незадолго до этой трагедии, в 1938 году – в боях у озера Хасан – Арон Копштейн, стрелок-водитель танка, словно пророчески предугадывая свою смерть, печально и лаконично выдохнул:

...Може, я не приїду до дому,
Може, долю я маю таку,

Що звалитись моєму шолому
На чужому сухому піску.

(Вынужден привести эти обугленные строки в оригинале – на украинском: многим переводчикам, и мне в том числе, точный, достоверный поэтический перевод на русский пока не удался.) Лишь в одном ошибся поэт – шлем его, пропахший потом, порохом, кровью, свалился не в сухих азиатских песках, а на снег – глубокий, карельский...

Позже Николай Асеев напишет: “...Если бы Литературный институт за всю историю своего существования выпустил одного Арона Копштейна – он оправдал бы свое существование...”

Не в моем обыкновении вести дневниковые записи – если угодно, опрометчиво рассчитываю на память. Об Ароне Копштейне за долгие годы в ней накопились рассказы людей, знавших Поэта живым: это и такие разные поэты – Михаил Луконин и Василь Мысык, и Константин Симоненко, Леонид Вышеславский, Микола Нагнибеда, Игорь Муратов и Абрам Кацнельсон; на харьковских литературных вечерах памяти талантливого земляка я вслушивался в воспоминания двух милых пожилых женщин – огромные и глубокие, печальные черные глаза выдавали в них с безошибочной болью родных сестер Арона, а однажды подружился я с архитектором Яковом Исааковичем Щакотой: в одной из моих неопубликованных повестей – история его встречи с поэтом на финском фронте...

Арон Копштейн родился 18 марта 1915 года в городе Очакове – в бедной еврейской семье, наполовину вырубленной в гражданскую: его старший брат погиб на фронте, а отец Иосиф и мама (к сожалению, из памяти выветрилось ее красивое библейское имя) умерли – то ли от голода, то ли от тифа, а по некоторым данным – от сабель махновцев, банды которых мотались тогда по неоглядным украинским степям, напоенным и днепровскими водами, и солеными ветрами лиманов. По настойчивым выводам наших исследователей-историков именно в эти степи 2500 лет назад пришли первые евреи, вырвавшиеся из вавилонского плена.

Трудная судьба еврейского сироты – неутихающий голод, скитания по чужим семьям, долгие годы в Херсонском детдоме, обучение токарному ремеслу – могла запросто обратить впечатлительного мальчика в незадачливого нытика. Но уже юношеские строки убеждали, что в поэзию уверенно и решительно пришел мужественный, влюбленный в жизнь поэт с чутким детским сердцем – “с сердцем ребячьим, с отвагой бойца”.

Начинал поэт в заводской многотиражке Херсонского судоремонтного, с любовью и гордостью называли его рабочие “наш поэт”, “Арончик”, “Ароша”, но первые лучи славы не вскружили голову ученика токаря.

Однажды на завод совершенно случайно приехал Павло Тычина – в начале тридцатых годов уже известный поэт (можно по-разному относиться к поэзии Тычины: я знал многих ценителей, напрочь не воспринимавших политические эксперименты советско-украинского классика, но его философская и любовная лирика, глубокая и оригинальная, оказалась невостребованной, едва ли услышанной). Эта встреча резко, на сто восемьдесят градусов изменила судьбу молодого Копштейна: восхищенный стихами юноши, мэтр разглядел в нем самобытную личность и тотчас предложил литературную работу – так в 1933 году в Харькове, тогда столице Украины, в одной из республиканских газет появился восемнадцатилетний заведующий отделом поэзии.

Украинский Харьков – живой, трудовой, железобетонный, каштановый, интеллигентный – стартовая площадка, с которой неробко и дерзко взлетел Арон Копштейн в высокое небо Поэзии и рухнул, не дожив и до трагического лермонтовского срока, на окровавленный карельский снег.

Почти ежегодно, с удивительной настойчивостью Арон Копштейн издает в Харькове одну за другой книги новых стихов, всех не перечислишь, упомяну лишь стихотворение “Элегия”, едва ли не лучшее в творчестве поэта. Разумеется, это не элегия в привычном значении – лирическое стихотворение, проникнутое грустью, – это сосредоточенные и чуткие раздумья двадцатилетнего человека над жизнью окружающей, как правило, тревожной и трагической, над своим местом в ней.

Позволю себе привести отрывки из копштейновской “Элегии” в своем переводе:

Снайперы пульей врезаются в пулю.
Ветер порошу торопит с полей.
– Гули-голубоньки, гуленьки-гули! –
Манит мальчишка своих голубей.

Солнце заходит. Зари позолота
Красит каштаны, озера, кусты.
Юность зовет голубиной охотой!
Так отчего же тревожишься ты?

...Как закольцованы голуби?
 Детством,
Гнездышком, кормом, звенящим кольцом.

Как закольцована юность?
 Всем сердцем,
Жадным желаньем быть первым бойцом.

Как породнить нам
 – к сраженьям далеким! –
Преданность, преданность до конца,
Снайпера зоркость
 и голубя легкость,
Сердце ребячье с отвагой бойца?!

Снайперы пулей врезаются в пулю –
Снайпером буду!
Гули-голубоньки! Гуленьки-гули!
Голубем буду!

...Где-то шагает на стрельбище рота.
В небе высоком – песня над ней...
Юность зовет голубиной охотой.
Сколько же в наших руках голубей!

... Прошло более полувека со дня гибели поэта, почти тридцать лет моему посильному переводу “Элегии”, но и в ту пору, и прежде всего теперь – на нашей крохотной и израненной израильской земле, по-прежнему ощущаю трагическую неоправданность оптимизма поэта – и голубей, и лет в жизни Арона Копштейна оказалось беспощадно в обрез.

Вспоминает украинский поэт, бывший узник “Соловков” Василь Мысык:

“...Приходил – вплоть до моего ареста в ноябре 1934 года – Арон Копштейн – высокий, густобровый, черноглазый, словно в каждом зрачке – по сливе-угорке, двадцатилетний, но уже автор трех поэтических сборников, вечно и ненасытно голодный и куда-то торопящийся. По обыкновению, стоя, облакачиваясь на косяк двери, читал новые стихи, изредка отламывая от буханки ржаного хлеба, которую покупал

себе на ужин. Стихи писал равно талантливо – на украинском и русском, грузинском и еврейском, на идиш. Не только глубоко разбирался в мировой и многоязыковой советской поэзии, но и читал на память восхитившие его строки. Из нынешних могу сравнить его лишь, пожалуй, с Иосифом Бродским. Однажды в Тбилиси Арона принимали грузинские поэты, попивая терпкое кахетинское, по кругу читали стихи; вызвался читать и украинско-советский поэт Арон Копштейн, но тоже – по-грузински.

– Слушай, Арончик, я кое-что знаю из грузинской поэзии, но такие прекрасные стихи и мне в новинку. Где ты их раскопал? – удивился Галлактион Табидзе.

– Сам написал! – расхохотался довольный розыгрышем Арон...

В двадцатые годы я закончил Харьковский техникум восточных языков и много, увлеченно переводил с персидского и таджикского... Копштейн грозился:

– Василек, вот овладею фарси и твоей монополии на Рудаки, Хафиза, Саади – положу конец или сам буду слагать газели...

А в сороковом, когда я вернулся из Соловков в Харьков, с горечью узнал о гибели Арона в боях с белофиннами..."

Тогда, в середине тридцатых, почти каждую ночь в Харькове, как и во всем Союзе, бесследно исчезали друзья Копштейна – поэты украинские, русские, еврейские, транзитом через сумрачное здание на Совнаркомовской, с выпуклым коршунным профилем Дзержинского на фасаде, – в неисчислимы лагеря, и наивно безбоязненный Арон, словно в омут, словно в горящий дом, безоглядно бросается на поиски испарившихся друзей, пишет письма в различные инстанции, толкается в тюремных очередях. Но однажды ему из Киева позвонил Тычина, выдохнув лишь одно слово: "Приезжай!" Мне неведомы подробности разговора двух поэтов – опечаленного Павла Тычины и взбудораженного Арона Копштейна – до первых солнечных лучей, вспыхнувших на белых каштановых свечах, они бродили по притихшему Крещатику. Павел Григорьевич, изредка оглядываясь, о чем-то шепотом и бережно уговаривал, в чем-то убеждал, уламывал норовистого Арона...

И он на время исчезает из Харькова, ставшего для него вторым родным домом, – и вольный воздух странствий надиктовывает в записные книжки поэта новые неожиданные и яркие строки, щедро наполняет его поэзию – и о садах Колхиды, и о нефтяных скважинах Батума, его восхищают нежнейшие грузинские слова "генацвале" и "Сакартвело", он проходит, словно вслед за Тихоновым, над Алазанью, разглядел наяву Армению и прекрасные картины Сарьяна, на берегах молдавского Днестра его пьянил медовый запах яблок – поэт и влюбленно, и пе-

чально вглядывается в солнечные краски юга, словно прощается с ними безвозвратно, навечно...

И Арон Копштейн – уходит на действительную службу. Армейский эшелон увозит его, стриженного наголо, долговязого еврейского паренька, на Дальний Восток, где стрелком-водителем в танковом экипаже он служит на границе и участвует в коротких жестоких боях у озера Ханко.

Сегодня, когда с восторгом и гордостью, а вероятно, и с объяснимой завистью я всматриваюсь в открытые спокойные лица наших еврейских мальчиков-солдат – горбоносых и загорелых, сабр и “русских”, и эфиопских, и марокканских, уверенных, затянутых в плотные армейские одежды, с неизменными, переброшенными через плечо на ремнях автоматами, – я отчего-то вспоминаю не отца, благословенна его память, мобилизованного в августе сорок второго, не десятерых своих дядьев, павших смертью храбрых на фронтах Отечественной, не себя – на кратких офицерских сборах, а Арона Копштейна, рослого, крепко сложенного, в танкистском шлеме – на Дальнем Востоке, и в застегнутом наглухо армейском бушлате, в шерстяном подшлемнике – на последней его войне, на финской...

Вспоминает Константин Симонов:

“...Когда я узнал о гибели Арона Копштейна – трагической, нелепой, бессмысленной, – я ужаснулся и, кажется, заплакал, хотя к тому времени отвык от слез. Если многие из нас, выпускников Литературного института, пришли в литературу в подростковых брючках, хотя я к тому времени побывал в пустынных песках Халхин-Гола, а Женя Долматовский – в проходческих кессонных бригадах на строительстве московского метро, Арон, наш ровесник, шагнул в поэзию в грубых кирзовых солдатских сапогах, в темном военном кителе, из коротких рукавов которого неуклюже высывались его большие и сильные руки... Слова Николая Асеева об Ароне – возможно, и поэтическая гипербола, но в основном прав наш мэтр: Арон Копштейн – первый военный поэт, он – предтеча фронтового поколения поэтов, талантливого, мужественного, неповторимого, – прежде всего имею в виду Михаила Луконина и Семена Гудзенко, Бориса Слуцкого и Юлию Друнину...

Разумеется, мы не подражали Арону Копштейну, но и мое “Жди меня, и я вернусь...”, которым горжусь по сей день, седой и славой насыщенный, и стихи Иосифа Уткина “Если я не вернусь, дорогая, / Нежным письма твоим не внемля, / Не подумай, что это другая, / Это значит... сырая земля”. Да, у военной лирики советской поэзии – есть истоки, увы, напрочь вычеркнутые из памяти: это и дальневосточные украинские стихи Арона Копштейна, и строки русские из карельской “Последней тетради” поэта: “...Мы с тобой простились на перроне, / Я уехал в дальние края, / У меня в

“смертельном медальоне” / Значится фамилия твоя...” (меня тогда поразило – Константин Михайлович все стихи цитировал по памяти...)

Если уж Симонов вспомнил о Михаиле Луконине – мне грех не упомянуть о его предельно откровенном рассказе об Ароне Копштейне.

Познакомился я с Михаилом Лукониным в Харькове, куда, словно солдат на побывку, был отпущен на несколько дней с шахты. Однажды под вечер обнаружил афишу: “Клуб пищевиков. Литературный вечер. Василий Ажаев. Михаил Луконин” – и внизу размашисто: “После окончания – танцы”. Зал полон, но невнимателен, шумно щелкает семечки, как орехи. На сцене за столом – приземистый Ажаев подслеповато всматривается в зал. Михаил Луконин на трибуне – плечистый, элегантный, в темном костюме, раздражен, нервничает, его явно беспокоит безучастие зала.

– Какие стихи прочесть напоследок? – спрашивает внезапно, и из глубины зала я выкрикиваю: – “Коле Отраде”!

Как преобразился Луконин, обрадовался, да и народ в зале попритих, вслушивается...

“...Я жалею девушку Полю. Жалею / за любовь осторожную: “Чтоб не в плену б, / за “мы мало знакомы”, “не знаю”, “не смею”... / За ладонь, отделившую губы от губ...” Эти стихи я и тогда, и сейчас, спустя десятилетия, помню наизусть и потрясен разговором поэта со своим погибшим в карельских снегах другом: “...А если бы в марте, тогда, мы поменялись местами, / он сейчас обо мне написал бы вот это”.

Едва закончив читать, Луконин попросил меня подойти, и мы долго бродили по ночным харьковским улицам, говорили, читали стихи, вначале вымокнув под морозящим дождем, затем, когда к полночи дождь перешел в густой снег, настойчиво протаптывали тропинку вокруг площади Дзержинского.

То ли разглядев мой выразительный иудейский профиль, то ли по иной причине – Луконин вдруг заговорил об Ароне Копштейне, возбужденно, но вполголоса:

“...Когда в 1939 году Арон пришел в Литературный институт, там уже высвечивалось свое созвездие поэтов, разной величины, но достаточно ярких – Константин Симонов и Маргарита Алигер готовили дипломы, а на семинарах Николая Николаевича Асеева, Владимира Александровича Луговского, Ильи Львовича Сельвинского бушевали Павел Коган и Николай Майоров, Михаил Кульчицкий и Семен Гудзенко, Александр Межиров и Давид Самойлов, большинство – вчерашние школьники, а Арон – автор пяти книг, отслужил в армии, воевал на Дальнем Востоке – тотчас был принят в наши шеренги, точнее – он утвердился прочно среди нас, покориw безоговорочно. Его неожидан-

ные тогда военные стихи, не о гражданской, а современные, дальневосточные, его добродушие, общительность, веселость – естественная, открытая, его неиссякаемые тысячи строк, которые он в любой час дня и ночи читал по памяти, поражали воображение слушателей: Блок, Щербина, Сумароков, Тычина и Маяковский, Лермонтов и Багрицкий, Пастернак и Пушкин – звучали в его устах так вдохновенно и просто, словно это были его стихи, собственные...

В Сталинграде, откуда я приехал в Москву, – продолжал Луконин, – у меня остался друг Коля Турочкин, одновременно поэт даровитый и шептун, неровный, человек настроения – на первой полосе “Сталинградской правды” под псевдонимом печатали его стихи, а на последней – репортаж о его пьяном дебоше...

Очень я тревожился о его судьбе, добился – приняли Колю в Литературный... Приехали – вожу его по аудиториям, знакомлю, вдруг навстречу – Арон Копштейн, как всегда, в окружении восхищенных юных сокурсников, шумно и увлеченно что-то рассказывает... Тут мой друг Коля Турочкин всматривается в Арона и, обращаясь гневно ко мне, роняет громко:

– Мишка, отчего не предупредил – да у вас здесь морды жидовские понатыканы! (Я грязно и сочно выругался, спросил Луконина: обломал ли Арон рога этому туру, бандиту волжскому, антисемиту?)

...Нет, Арон прошел далее, словно мимо места пустого... Самое удивительное, Вильям, и для меня непостижимое: несколько месяцев спустя они подружились – Арон Копштейн и Николай Отрада (к тому времени у Турочкина был псевдоним, оставшийся навсегда... Да, тот самый Николай Отрада!..) Началась финская война – мы бегом, словно наперегонки, – в военкомат, записываемся в добровольцы – Сергей Наровчатов и Иван Бауков, Арон Копштейн и Николай Отрада, и я, и еще ребята: формировался лыжный батальон из студентов Литературного института. Война – наша первая, для Арона – вторая, оказалась бездарной, изматывающей, не столько от боев, сколько от морозов сорокаградусных, а мы полураздеты, не приспособлены... У Арона о тех днях есть стихотворение “Поэты”, помните? (Я – помнил.) “...Да, каждый стал расчетливым и горьким: / Встречаемся мы редко, второпях, / И спорим о портянках и махорке, / Как прежде о лирических стихах. / Но дружбы, может быть, другой не надо, / Чем эта, возникавшая в пургу, / Когда усталый Николай Отрада / Читал мне Пастернака на бегу”.

Однажды, когда мы сдерживали позиции, зыбкие и неразличимые, у Суо-Ярви, кто-то вбегает в блиндаж:

– Николая ранили!..

В сотне метров, на занесенной снегом поляне – едва приметно непо-

движное тело Коли... Не успели опомниться – Арон ползком, по-пластунски, ловко разгребая снег, быстро, отчаянно отталкиваясь локтями – выручать Отраду... Добрался, прижался ухом к груди товарища, машет рукой, мол, жив Коля!.. Тут финские снайперы и добили обоих – и Колю, и Арона, так они рядышком и лежали до ночи, пока не ушла луна и мы выволокли их, уже мертвых, окоченевших... Вернувшись в Москву, я написал: “...и хотя я сам видел, как вьюжный ветер, воя, / волосы рыжие на кулак наматывал, / невозможно отвыкнуть от товарища и провожатого. / как нельзя отказаться от движения вместе с землею...” А весной прошлого года, в Хельсинки, на очередной встрече ветеранов той войны – русских и финнов, один малоизвестный финский поэт, обняв меня, сказал заикаясь, едва слова из себя выталкивая:

– Михаил, а ведь я воевал тогда на Суо-Ярви, снайпером...”

Луконин надолго умолк, мы закурили, я глянул на часы: второй час ночи, пора мне убегать, а у входа в гостиницу “Харьков” вдруг спросил, словно тот финн, едва слова из себя выталкивая:

– Почему именно Арон, со своей жидовской мордой, бросился выволакивать раненного Отраду?..

Хочу быть понят правильно, не роюсь в грязном белье. Но Женщина в жизни Поэта – не только мгновенная и высокая любовная лирика, но и повседневная будничность, зачастую прозаичная, в которой без женской любви и ласки выстоять порой труднее, чем в бою.

Арон Копштейн – поэт, человек волевой, безбоязненный, под пулями не кланявшийся, – в личной жизни оказался неустроенным, одиноким, его большое чувство к женщине осталось неразделенным, и если еще на Дальний Восток она изредка письма писала, то можно представить напряженное ожидание Арона, когда весь лыжный батальон – все молоденькие, влюбленные – затерявшийся в карельских обледенелых диабазх, получает письма, а ему – ни одного... Именно там, между боями, напишет он одно из своих последних стихотворений “Письмо тебе, копия наркомун связи” – поэт пытается иронизировать, но горечь, тоска прорываются сквозь строчки: “...Я нахмурил брови грозно, / но дрожу, как мелкий лист. / Это выгладит курьезно: / пулеметчик-пессимист. / ...Я вгляжусь благоговейно / в почерки различных рук. / Нет ли писем А.Копштейну / от гражданки А.Савчук...” Эта же недобрая фамилия значилась и в его “смертельном медальоне”. Так Арон и ушел из жизни – двадцатипятилетний, талантливый украинско-еврейско-русский поэт, – нынче бы сказали: русскоязычный, – не любимый, не понятый... Не оттого ли эта безрассудная храбрость на излете недолгих, оборванных снайперской пулей дней?

И в завершение полагаю непременно привести еще одно – последнее стихотворение Арона Копштейна “Поэты” – после его гибели оно было

обнаружено друзьями в его “Последней тетради” – написанное квадратными, словно печатными буквами, следовательно, подготовленное к публикации, поэтическое завещание и современникам, и нам, последующим...

Поэты

Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блески желтых искр.
Теперь мы перемалываем душу,
Мечтаем о театре и кино,
Поем в строю вполголоса “Катюшу”
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу.
Дорога шла в навалах диабаза,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путанно-восторженные фразы
Восторженной звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданье не топтали мы.
Что ранее мы видели в природе?
Степное счастье оренбургских нив,
Днепровское похмелье плодородья
И волжский нелукавящий разлив.
Не ливнем, не метелью, не пожаром
(Такой ее мы увидали тут) –
Она была для нас Тверским бульваром,
Зеленою дорогой в институт.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,

В чужую, незнакомую страну.
Нет, и сейчас я не люблю гармони
Визгливую надорванную грусть.
Я тем горжусь, что в лыжном эскадроне
Я Пушкина читаю наизусть,
Что я изведаль напряженья страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти,
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается кряду –
И вдруг забормотал, заговорил,
И ровное его сердцебиенье,
Уверенный, неторопливый шум,
Напомнит мне мое стихотворенье,
Которое еще я напишу.
И если я домой вернусь целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько выплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт. Любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски – “на часах”).
И, как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок.
“И вечный бой. Покой нам только снится
Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.

Злата Зарецкая

Театральный ренессанс в Галилее, или Полеты с Мастером...

Дорога в Нацерет, разрезая Изреэльскую долину, впивалась в летящие навстречу холмы, осыпанные красными гроздьями крыш и, огибая горб Тавора с мухами-храмами на вершине, змеилась между двумя контрастными горами, соединенными общей судьбой...

Над арабо-еврейским переездом навис еще недостроенный каменный красавец – отель “Ренессанс”: 2000-летие обязывает и обнадеживает...

Город пронизывал ветер Возрождения – свежий, сильный, спокойный. И чудилось: здесь действительно может родиться что-то святое.

...Более чем половинная “олимовская” публика (из пятидесяти – тридцать пять тысяч) бурлит идеями... Уже разошлись волны слухов о “Иерихонской блуднице” М.Бримана-Б.Эскина, о классическом балете Д.Джеботаро, о ДИКе – Детском интеллектуальном клубе Е.Измажеровой, о радиостанции “Коль рэга” и ежедневной передаче “Утро Галилеи”, об “Опьянении Перикола” – оперетте Е.Малкина, об ансамбле “мамэ-лоши” Ш.Фингерова – наследника знаменитого А.Нугера – певца, композитора, режиссера Черновицкого ГОСЕТа...

В городе издаются две полноценные (по тридцать две страницы) “репатриантские” газеты “Контраст” и “Индекс а-Эмек вэ-а-Галиль”, публикующие не только надоевшую рекламу или необработанные письма – душевные крики, но и прекрасные литературные материалы (Г.Горчакова, М.Азова, В.Когана, М.Бродского, А.Реак-Гофштейн, Э.Нисинмана...).

Вулкан творческой энергии новоприбывших только за последние пять-шесть лет лавой заливают город, сжигая его мертвый мифический образ, обновляя идеями будущего Израиля...

Среди них – амута творческой интеллигенции с гордым именем “Мишпаха – байт хазак” (“Семья – мой дом и крепость”), созданная в 1996 году, действительно по-домашнему (встречи каждую неделю) объединила

в себе и Северное отделение Союза русскоязычных писателей, и клуб фотохудожников, выпустивших совместно уже два номера свободного разнопланового альманаха “Галилея”, и центр сценических искусств с тем же названием, включающий в себя и идиш-студию, и цирк, и драматический театр!

Вот о последнем и слово...

Для меня поначалу все выглядело нереально: слишком много коллективов из нашей алии рухнули, не выдержав конкуренции и денежной войны; многие таланты поехали искать себя дальше (М.Народецкий, С.Приселков, М.Ротенштейн...) или вернулись в страну исхода (М.Козаков, Ш.Фуксман...), или пытаются *жить между*, то есть “над” двумя странами (С.Злотников).

Да и возможен ли в Израиле на фоне признанных профессиональных государственных организмов – “Габимы”, “Камерного”, “Гешера”, “Хана”, “Бейт-Лесина”, завоевавших всеобщее внимание на фестивалях альтернативного театра в Акко, на фоне достижений мирового искусства на международном форуме в Иерусалиме – новый еврейский театральный “Паневежис” – своя провинция-столица, излучающая духовный аромат того “яблоневого сада”, по которому не проходит тоска?..

Когда нет желания погружаться в напряженный политизированный воздух центра, превращающий в той или иной степени даже гениев – в мутантов...

Когда жажда чистого искусства оказывается сильнее доводов разума всезнающих критиков, деформирующих порой как чужие, так и собственные чувства...

И когда фаны сцены, словно бабочки на огонь, летят с разных сторон страны в энергетический первоисточник, обладающий независимой творческой мощью, которой Б-г награждает только избранных...

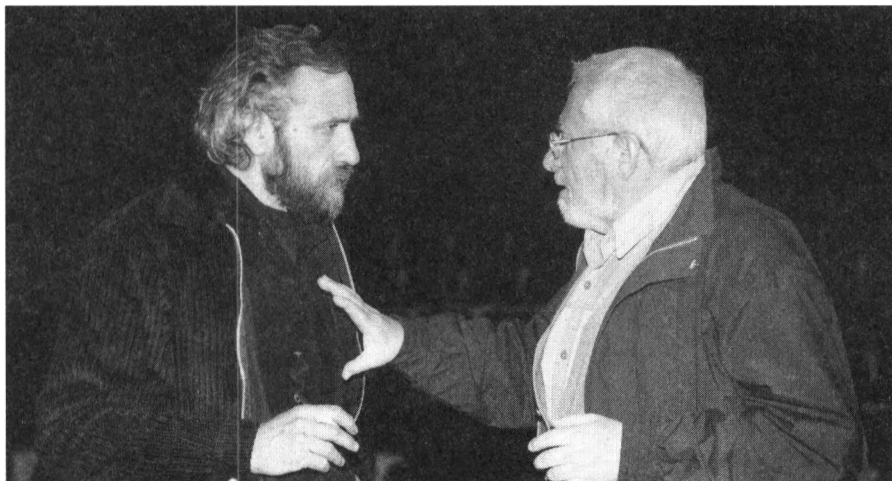
Признанная звезда израильской сцены Оded Теоми на вручении ему премии М.Маргалита в 1976 году сказал: “Актеры – это дети, которые вкушают от древа познания добра и зла и которых Б-г за это не изгоняет из рая...”

Гуляющим по райскому саду искусства в маленьком Нацрат-Илите оказался режиссер Зигмунд Белевич.

Польско-украинский еврей, он приехал в Израиль в 1996 году, подгоняемый националистической партией “Рух”, не желавшей признавать его достижения в качестве ведущего режиссера Черновицкого музыкально-драматического театра только за то, что не знал украинского языка и изъяснялся на “мове Ленина”.

После отделения Украины от России он превратился из “своего жида” в “москаля”. Не спасли ни двадцать лет успешной работы, ни марка режиссера из знаменитого Вахтанговского училища.

Борьба за свой статус-кво *там* – увенчалась творческим, но не политическим успехом! Под аккомпанемент злобного партийного “Нет!” прозвучало мощное “Да!” зрителей, интеллигенции. “Вызов серости”, “Некоронованный король театра” – это появилось в газете “Буковинско віче” в июле 1996-го, когда прозревший беглец уже два месяца как был в Израиле. И хотя *там* на телевидении факта его “отсутствия навсегда” официально признавать не хотели (“просто временно куда-то уехал!”) – Рубикон был уже позади...



Режиссер Зигмунд Белевич и драматург Марк Азов

Здесь жизнь пришлось писать, как и многим, кровью и начисто, доказывая свою причастность к столь близко-далекой родине.

В ирри Нацрат-Илита на предложенные художественные услуги нового репатрианта *по-накидски* (скотски?!) указали на дверь. Подсказать насчет профессиональных курсов, положенных подарков – было некому! Чьи-то амбиции перевесили!

И вафельная фабрика “Афифит” на два с половиной года стала “лестницей Иакова” для новорожденного израильянина. Это был тяжелейший опыт смерти в своей земле. Но зерно все-таки проросло!

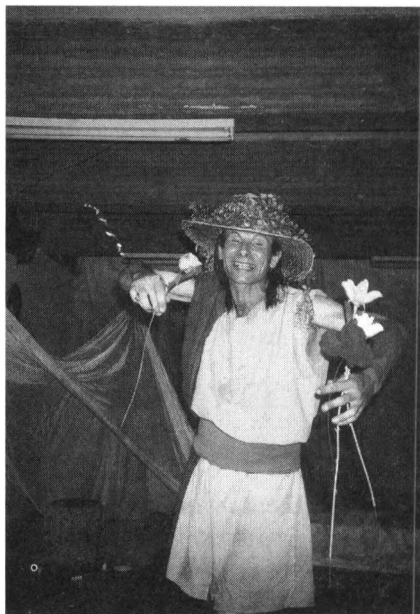
“Страна произвела сильное впечатление. Я был в Германии у друзей и не смог – стена, отчуждение – все холодное, закрытое, чужое. А здесь все дышит теплом, домом – все свое...”

Однако пришло время, когда я почувствовал, что несмотря ни на что готов возвратиться, потому что не могу жить без театра”.

И тут произошло чудо! Мастер, как и положено в Высшей Пьесе, провалился сквозь кожу вафельщика – проявился, как из отснятой кем-то пленки, светом и смыслом в Израиле.

Через ту же фабрику случайно (?!) попал в амуту “Мишпаха – байт хазак” и вместо сумасшествия, болей в сердце, ощущения тупика обрел духовную семью.

Центр сценических искусств “Галилея” Зигмунда Белевича, возникший с помощью друзей на базе местного *матнаса*, поражает бедностью исходных данных и богатством преображающей фантазии и воли создателя.



“Весенний царь черноголовых”. Михаил Никомаров – Эллильбани

Всего пять профессионалов: В.Барташник, журналист, – лицо театра общественное и административное, М.Азов – курирующий писатель и драматург, М.Славин и Т.Юдина – художники-сценографы и сам режиссер – З.Белевич.

Все остальные – интеллигенты-любители, ищущие кислорода театра, как рыбы воду. Но ведь и МХАТ начинался у купца Алексеева со студийного любительства, превратившегося позже в мировое явление. Эта ассоциация с авторитетом возникла у меня невольно на премьере по пьесе М.Задорнова “Продать мужа”, состоявшейся 10 июля 1999 года.

Первое потрясение ожидало меня у дверей матнаса “Беркович”, где собралось несколько сотен русскоязычных нацертян. Огромный неудобный, не приспособленный для театрального показа зал был на 95% заполнен – такой аншлаг сейчас увидишь только пожалуй в Камерном на спектаклях Ханоха Левина...



Ирина Склярук – Нинегалла

Те же взаимоотношения публики и актеров, их искренность до самосожжения, и во всем – рука скульптора спектакля.

Он разворачивал его в ритме легкого современного танца, где под звуки всеобщей дискотеки (текучки – ежедневности – прозы жизни?), из которой как бы вынырнули герои, так просто все потерять, ибо обесценивается главное – Человек. (“Продать Человека” – черновицкая версия З.Белевича.)

Музыка-пластика в режиссерской модели бытия сразу настраивала на смысл и суд. Анекдот о дурочке, убежденной в возможности покупки любимого у его жены, силой постановочного решения парадоксально превращался в драму прозрения, осознания мнимых ценностей, призрачности быта без чести, совести, веры.

И падали стены, и разлетались окна, и люстра раскачивалась, как жертва семейной бури. Художник М.Славин вслед за режиссером визуально взрывал по ходу действия внешне устойчивый быт героев, смело соединяя натурализм с абстракцией, напоминая об идеях фантастической реальности театра Е.Вахтангова.

Ими были наполнены и артисты, впечатавшиеся в сердце постановки настолько, что об их образовательном цензе просто забывалось – уровень игры моментами был очень высок... Бесконечно добрый педагог-постановщик, по словам М.Азова, “сумел внушить каждому, что он не струна (его гитары) – а храм” (“Индекс”, 11 декабря 1998 г.).

А.Капоровская, М.Никомаров и И.Склярук – три одухотворенных “Пигмалиона” – за смеховыми масками Жены-Мужа-Любовницы приоткрывали общечеловеческую жажду счастья, которое только снится. Как снится порой и нам, зрителям, сам Израиль и Театр в нем – источник огромной силы, помогающий преодолевать и побеждать пустое пространство, наполняя его смыслом обретенной Земли. “Я видел, как люди, не понимающие ни слова по-русски, выходили из зала, вытирая слезы” (там же).

Эти слова – из рецензии на первый спектакль “Весенний царь черно-головых”. Текст, созданный М.Азовым в атмосфере перестройки еще в 1987 году, был изначально обращен к эпохе зарождения еврейского самосознания – “после гибели Ура и до возвышения Вавилона” и основан на подлинных клинописных табличках, расшифрованных археологами. Царство шумеров Междуречья (нынешний Ирак) было представлено драматургом в соответствии с документами как высочайшая материализованная цивилизация (гипотетически – наследница знаменитой Атлантиды!), обреченная тем не менее на полное уничтожение именно за духовную слепоту. Ситуация пророческая сейчас, в конце тысячелетия, для стран, для каждого человека...

Эту трагическую коллизию грядущей смерти в момент расцвета автор вложил в историю безумца, вознесенного судьбой на пьедестал, – садовника-царя, предназначенного по языческому обычаю весной на заклятие. Режиссер преобразил ее в символическую картину цветущих холмов, напоминающих оживающую пустыню (художник Т.Юдина), из которой могут появиться не только древние, но и современные герои – каждый, кто ощутил переход от смерти к жизни и наоборот... Возникающий из подсвеченных тканей современный бард в стилизованной длиннополой одежде пророка (Я.Коган), поющий песни об алии, о боли смерти и нового рождения, о силе веры, преодолевающей все, – кредо спектакля. В нем каждый по-своему играет тему прозрения, приближения к истине.

М.Никомаров-Эллильбани – садовник по случаю, по “обычаю” – пятидневный царь, наиболее точен в раскрытии эволюции от счастливого не-

знайки, всем довольного дурачка, – до трагического мудреца, пытающегося запечатлеть свое интуитивное открытие Б-га как высшей силы, гармонирующей мир, в первых заповедях на каменных таблицах, как известно, переживших века и до нас дошедших...

Б.Рабкин-Уршага – камнерез – уже появляется на сцене с ощущением душевного покоя от понимания своей правоты и потому – готовности к самопожертвованию. В оригинальном историческом иудейском костюме (художник по костюмам Ш.Боголепова) он напоминал о тех, кто сознательно освящал своей гибелью имя Б-га.

И.Склярук-Нинегалла – царица – оправдывала героя чувством, сердцем, оставаясь до конца жрицей любви, которой – единственной – все доступно.

Спектакль заканчивается неожиданно – не красивой смертью, а прозаической жизнью – подарком прозревшему царю-”новорожденному”, унижительно поедающему из чужих рук кашу – символ младенчества и зависимости, как у любого *оле*. А в глазах, буравящих зрителя, – отчаяние и решимость!

В режиссерской концепции истины важнее драться и прорваться, нежели сдаться и не осуществиться. Слово “сражаться” – любимейшее в лексиконе З.Белевича.

Именно оно звучит в музыке эпилога, соединяясь с визуальными образами весеннего обновления. И хотя в целом действие еще далеко не совершенно: ритм не динамичный – израильский, а замедленный – российский; нет связи между отдельными мизансценами – голосового “волейбола”; господствуют не диалоги, а монологи не уверенных в себе исполнителей – простим их физическое несовершенство, ибо это был их первый театральный “ребенок”.

Но масштаб намерения – “проба пера” в поисках современного жанра на стыке времен, новых форм национальной самоидентификации и через это моральное и пространственное преодоление – создание путей раскрепощения актеров – все это было высотой, очевидной лишь Мастеру...

Достичь атмосферы сценического праздника режиссеру удалось совсем в другом жанре – цирка, созданного им как развлекательное шоу – смеховой лирический театр.

Профессиональная семья Голосарских из студии цирка Биробиджана стала эпицентром столь любимого в Израиле красочного народного зрелища, собирающего сотни разноязыких зрителей. З.Белевич из данных ему судьбой неорганизованных разбросанных талантов развернул логически стройное зрелище, где акробаты, жонглеры, клоуны, куклы, фокусники, восточные ниндзи и испепеляющие страстью танцовщицы оправдыва-

ли перед зрителем каждый свой шаг, приглашая к соучастию – создавая общий круг радости, мечты и надежды.

Несмотря на отдельные недоработки: отсутствие заряжающего юмором конферансье, несостыковку профессионалов с начинающими, некоторую устарелость музыки, – успех уличного театра З.Белевича таков, что на него уже собиралось до тысячи зрителей и даже поступили заявки из религиозных учебных заведений (о форме костюмов договоренность достигнута!)

Среди не увиденных мной спектаклей – “Идиш-шпиль”, посвященный матери, *штетлу* – миру детства автора и “Цилиндр” Эдуардо де Филиппо в память о театральных исканиях московской молодости... Знаю, что на эти его “исторические” работы рвутся двадцатилетние...

Зигмунд Белевич – режиссер от природы, по примеру кумиров (Товстоногов и Туманишвили, Эфрос и Стуруа, Любимов и Брук) сотворивший из ничего – из “*тоху ва-боху*” – этот заполненный электричеством эмоций параллельный мир, заряжающий, просветляющий и спасающий, – свое предназначение здесь в Израиле осуществил.

“Театр – единственное, что делает меня счастливым. К концу репетиции вся боль уходит – я летаю...”

Его новая аэротрасса – “Король умирает” М.Эминеску: “Румынский абсурдизм близок еврейскому. В пьесе есть мощный событийный ряд, который, чувствуя, должен вызвать энергетический отзвук...”

Да исполнится орлу полет к солнцу! Да освятится им Галилея! Да услышит о нем культурный мир!

Михаил Ронкин

Убийственный обман

Из путешествий по “белым пятнам”

Полвека назад в дождливое утро 7 октября 1948 года личный состав Ташкентского танкового училища, где я проходил воинскую службу, был поднят по боевой тревоге и спешно погружен в железнодорожный эшелон, взявший курс на столицу братской Туркмении – Ашхабад. Первую остановку поезд сделал лишь после полудня в туркменском городе Мары. Нам разрешили минут на двадцать выйти на перрон, дабы размять ноги, справить нужду и запастись куревом. Здесь из черной тарелки репродуктора, висевшей над входом в одноэтажное здание вокзала, мы и услышали опубликованное “Правдой” сообщение ТАСС, в коем говорилось, что “6 октября 1948 года в районе Ашхабада Туркменской ССР произошло землетрясение силой до 9 баллов. В городе имеются разрушения и человеческие жертвы”.

Не дойдя двух десятков километров до Ашхабада, поезд резко сбавил скорость, а затем остановился. Дальше пути не было. Не было в буквальном смысле слова, ибо железнодорожное полотно на всем протяжении, куда хватало взгляда, ушло под землю. По обе стороны исчезнувшей в преисподней стальной колеи громоздились искореженные пассажирские и товарные вагоны, рухнувшие опоры электрических и телефонных линий, скрученные в причудливые спирали провода. Синие языки пламени прожорливо сметали останки придорожных строений, над выжженной дотла степью стлался едкий, удушливый запах гари.

Оставшийся до Ашхабада путь мы проделали в ритме стремительного марш-броска. Было уже утро, когда наша курсантская колонна вошла в город. И хотя занимавшийся день обещал быть ясным и солнечным, вокруг расстилалась серая полумгла, сквозь которую с трудом пробивался, словно бы приглушенный матовым абажуром свет. Города фактически не было, о нем напоминали лишь жалкие руины административных зданий и жилых домов, среди которых бесцельно бродили обезумевшие от горя люди да очумевшие от страха собаки. Все это живо напомнило мне раз-

бомбленный фашистскими стервятниками в июле сорок первого мой родной Смоленск с той лишь разницей, что там после бомбежки высились зияющие пустыми оконными глазницами остовы многоэтажек, а здесь безжалостная стихия в одно мгновение смела все до основания, оставив лишь груды песчаного крошева и колотых кирпичей. И к каким бы обтекаемым формулировкам ни прибегала та же “Правда”, сообщая о разрушениях, истина была гораздо страшнее и трагичнее – ведь ашхабадское землетрясение явилось крупнейшей сейсмической катастрофой на территории Российской империи и затем СССР за все время их существования. О масштабах этого бедствия можно судить по тем фактам, которые стали достоянием широкой общественности лишь в последние годы. Всего в городе было разрушено 98 процентов зданий, уничтожено 200 промышленных предприятий, выведены из строя железная дорога, связь, все объекты жизнеобеспечения. Из 51 лечебного учреждения уцелело одно. Устояли лишь банк и элеватор, однако и они были повреждены так, что их пришлось взрывать и сносить. Словом, вчера еще цветущий город был начисто стерт с лица земли.

Происшедшая трагедия усугублялась еще и тем, что у спасателей, коих прибыло на огромное пепелище больше, чем требовалось, не было соответствующего опыта. Не было в их распоряжении необходимой землеройной техники, подъемных кранов, компрессоров и отбойных молотков. Доставленные в эпицентр землетрясения несколько бульдозеров и экскаваторов оказались настолько изношенными, что вышли из строя, не поработав и недели. Так что разбирать развалины и добираться до погребенных под ними людей приходилось в основном с помощью лопат и кирок, хотя и этого, как его называли в армии шанцевого инструмента, на всех не хватало. О том, что за океаном для поиска людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах, давно уже используются специально обученные собаки и высокочувствительная акустическая аппаратура, мы даже не подозревали. Поэтому многие из тех, кто еще оставался в живых и кого, обладай мы достаточным опытом и современными поисковыми средствами, можно было бы спасти, так и не дождались, когда их извлекут из-под развалин.

К чести специалистов, они довольно точно определили подлинные причины и истинные масштабы землетрясения. Специальная правительственная комиссия отметила в своем отчете, что “тотальное разрушение зданий произошло в основном из-за несоблюдения элементарных правил сеймики. Качество кладки и особенно раствора свидетельствует о плохом ведении строительных работ... Контроль за возведением зданий отсутствовал”.

Однако эти и другие заключения специалистов оставались закрытыми.

В печать, даже научную, проникали лишь скудные, обтекаемые формулировки. Лишь через двенадцать лет после трагедии “Стройиздат” выпустил книгу, анализирующую инженерные последствия ашхабадского землетрясения. Книга содержала массу фактического материала, но и в ней не были названы главные причины разрушений. Проектировщики и строители так и не получили необходимых рекомендаций. Землетрясения повторялись, а соответствующих законодательных мер, определяющих формы государственного контроля над строительством в сейсмических зонах выработано не было.

Первое сообщение о жертвах ашхабадского землетрясения появилось не в СССР, а за рубежом. 25 октября 1948 г. британский журнал “Нейчур” сообщил о 400 погибших. В феврале 49-го в немецкой научной печати называлось 10000. В 84-м появилась цифра 19800. Но и это была еще далеко не вся правда. Помнится, как оставшиеся в живых очевидцы землетрясения рассказывали нам, участвовавшим в спасательных работах курсантам, что в их семьях и у соседей погибло по семь-восемь человек из десяти. Уже тогда, даже не будучи силен в математике, я с ужасом подсчитал, что при населении в 130000 человек жертвами разрушительного стихийного бедствия стали не менее 80000. Позже выяснилось, что к этому следует прибавить еще не менее 10000 человек, погибших в окрестных селениях, и почти 20000 тяжелораненых, скончавшихся в последующие месяцы.

В итоге число погибших переваливает за 100000, что, если смотреть на происшедшее объективно, вполне закономерно. Во-первых, десятибалльное землетрясение – событие неизбежно разрушительное. Во-вторых, в эпицентре оказался крупный город. В-третьих, землетрясение произошло в ночное время и застало большую часть жителей города спящими. В-четвертых, строения в массе своей не были рассчитаны на значительные сейсмические воздействия, ибо строились с нарушением норм. И наконец, при составлении карты сейсмического районирования Туркмении Ашхабад был отнесен к семибалльной зоне.

Даже сейчас, по прошествии полувека, трудно сказать, почему даже по закрытым каналам в Москву передавались цифры жертв безжалостной стихии, заниженные в несколько раз. Может быть, по сему поводу существовала некая засекреченная директива? Возможно, действовал неписанный закон того времени – занижать потери. Вспомните, как и в каких пропорциях занижались потери, понесенные Советской Армией на кровавых полях войны, как утаивалось число жертв сталинских репрессий и гитлеровского геноцида. Скорее всего, хлещущую со страниц газет, по радио и телевидению полуправду можно объяснить боязнью умалить величие могучей державы, ослабить созидательный дух народа, строящего коммунизм.

Чаша смерти и страданий от Ашхабадского землетрясения столь тяжела, что опускается ниже пределов нормального человеческого восприятия. Однако на другой чаше – мужество, самоотверженность и героизм сотен уцелевших и тысяч пришедших им на помощь, организация мощной помощи еще не оправившегося от жестокой войны с гитлеровским фашизмом государства, быстрое восстановление города совместными усилиями народов всего Союза. Вот та правда, которая могла бы помочь людям, потерявшим опору под ногами, обрести ее вновь...

Однако эта история имеет свою давнюю предысторию, которую я услышал много лет назад в поселке узбекских газодобытчиков Газли через несколько дней после происшедшего там разрушительного землетрясения. А поведал мне ее директор Института сейсмологии Академии наук Киргизии Юдахин, с коим свели нас там командировочные дела. Намайвшись с раннего утра на жгучем солнцепеке, мы устроились на ночь в выделенной нам тамошним начальством палатке. Перед тем, как залезть в спальные мешки, было решено распить прихваченную мною из Фрунзе бутылку “Столичной”. Приличной закуски у нас не оказалось, потому Юдахина, не отличавшегося крепким здоровьем, быстро развезло, и он не в меру разоткровенничался, хотя знакомство наше к тому времени было чисто шапочным. Честно говоря, его предположение о том, что девятибалльное землетрясение в четырехбалльной газлийской зоне имело искусственную природу, поскольку произошло в течение двух недель после серии ядерных испытаний под Семипалатинском, показалось мне тогда бредом. Я бы наверняка не принял его всерьез, если бы совсем недавно не наткнулся в еженедельнике “Совершенно секретно” на журналистское расследование Сергея Плужникова и Сергея Соколова, озаглавленное “Украл бомбу”. Чтобы читателю было ясно, о чем идет речь, коротко перескажу содержание этой публикации, всколыхнувшей мою память и заставившей вернуться к событиям, участником и свидетелем которых мне довелось быть.

“В конце Второй мировой войны советское командование намеревалось забросать Фудзияму мощными авиабомбами, чтобы вызвать землетрясение на территории Японии. Тогда эта идея не была воплощена, но после успешного испытания Советским Союзом на Новой Земле в 1961 году самого мощного в мире термоядерного боезаряда, эквивалентного 50 миллионам тонн тротила, мечта о тектоническом оружии вновь приобрела актуальность.

Стараниями КГБ на глаза Никите Хрущеву попался научно-технический сборник с рапортом командира американской подлодки о том, что его субмарина подверглась разрушительному воздействию ударной волны от какого-то сверхмощного советского взрыва. Здесь же высказывалась мысль, что несколько подводных термоядерных взрывов у побе-

режья США могут привести к затоплению значительной части североамериканского континента.

Расчет был верным. Воображение Хрущева мгновенно нарисовало картину катастрофического ущерба американскому империализму от десятка гигантских цунами. И партийный вождь немедленно отдал приказ провести детальное изучение возможности проведения таких “экзотических” боевых действий.

Идея Хрущева, ненавязчиво подсказанная ему КГБ, была воспринята советскими учеными, прошедшими суровые испытания в сталинских “шарашках”, очень серьезно. Достаточно сказать, что в проработке вариантов доставки к побережью США термоядерных супербомб принимал активное участие академик Андрей Сахаров. Но после недолгих теоретических расчетов выяснилось, что большая протяженность и незначительная глубина шельфа не позволят провести водно-атомную атаку. Однако разработчики тектонического оружия, естественно, на этом не успокоились и устремились в глубь океана. С тех славных времен нам в наследство остались подводные аппараты “Поиск” военного назначения, способные погружаться хоть на дно Марианской впадины. А ГРУ до сих пор хранит в тайне имена своих офицеров, побивших все мыслимые рекорды глубины погружения на этих управляемых вручную аппаратах и получивших за это звания Героев Советского Союза”.

В 1978 году во время командировки в Баткен – небольшой райцентр на юге Киргизии журналистская судьба вновь свела меня с Юдахиным. Будучи в некотором подпитии, он затащил меня к себе в гостиницу, выставил на стол бутылку коньяку и банку шпрот, не забыв предварительно повернуть ключ в дверном замке. На вопрос, что он делает в здешней глухомани, Юдахин – где открытым текстом, а где полунамеками – рассказал, что участвует в некоем архисекретном эксперименте, связанным с разработкой оружия, способного вызывать искусственные землетрясения. Научно-исследовательские работы курируют представители Генштаба МО СССР, а непосредственное руководство осуществляет выдающийся бакинский геофизик Икрам Каримов. Эксперимент уже близился к успешному завершению, но его пришлось неожиданно прервать: помешали сделанные в ООН заявления Мексики, Перу, Чили, Кубы и Ирана, обвинивших США, СССР, Китай и Францию, то есть государства, обладающие ядерным оружием, в провоцировании землетрясений на их территориях.

О выдающемся бакинском геофизике Икраме Каримове, коего Юдахин, хоть и по пьянке, но вполне серьезно назвал отцом-основателем тектонического оружия, я вспоминал еще не раз. Вспоминал в 1988 году после разрушительного землетрясения в армянском городе Спитаке, унесшем 25000 человеческих жизней. Вспоминал в 1995 году, когда взбунто-

вавшаяся стихия стерла с лица земли сахалинский Нефтегорск. Но лишь теперь, по прочтении в еженедельнике “Совершенно секретно” очерка “Украли бомбу”, предположения о возможности применения тектонического оружия не кажутся мне такими уж абсурдными и бредовыми.

Как известно, после каждого разрушительного землетрясения создаются специальные правительственные комиссии. Раз за разом они отмечают неудачные проекты зданий, некачественность стройматериалов, отсутствие надлежащего контроля за ходом строительных работ. Заключение этих комиссий похожи друг на друга, как клонированные овцы, и запросто переносятся из одного отчета в другой. В них фактически есть все. Все, кроме правды. Кроющийся в них обман, когда он вдруг становится достоянием гласности, неуклюже объясняется высшими государственным интересами. Но за обман рано или поздно приходится платить. Сегодня платим мы. Завтра будут платить наши дети, внуки и правнуки.

Александр Шойхет

Сны о жизни или сама жизнь?

Опыт критического осмысления прозы Ефрема Бауха

(фрагменты из книги)

Возьмем за точку отправления два высказывания автора:

"Семь романов — снов о моей жизни... Текущее этим бременем (событий) и временем пространство жизни имеет свои внутренние законы, в которых элементы созидания и разрушения равно важны, и развалины Иерусалима и Рима (романы "Кин и Орман", "Камень Мория") не менее, если не более созидательны, чем размножающиеся простым делением архитектурные элементы новой жизни... Две великие конструкции затеял создать Всевышний — Вавилонскую башню и Лестницу Иакова. Первую Сам разрушил, вторую Самп остроил. В пространстве "С н о в о ж и з н и" обе они остаются высокими точками творческого отсчета, несущими конструкциями в зодческой мастерской мира.

И, вероятно, эпитафией к семилогии "Сны о жизни" можно взять слова англичанина, который въехал верхом в Колизей, увидел каменщиков и каторжан, укреплявших стену, и сказал: "Честное слово, Колизей — лучшее, что я видел в Риме. Это здание мне нравится; оно будет великолепно, когда его закончат..."

Итак, перед нами огромное здание — память ушедшего или только нарождающегося мира — философская проза, семь романов, из которых пять — "Кин и Орман", "Камень Мория", "Лестница Иакова", "Оклик", "Солнце самоубийц — увидели свет. Два романа — "Пустыня внемлет Богу" и "Завеса" — еще в работе. Будут ли изданы? Может это здание так и не будет достроено? Вспомним Сент-Экзюпери, его мысль о самом лучшем романе, который так и не будет написан.

Но уже в объеме изданных пяти романов ощутим тот пространственный и глубинный охват реальности, на уровне которого можно воисти-

ну судить автора по им же созданным законам.

Между тем сегодняшний читатель, если такой еще сохранился в век поголовной компьютеризации, жадно ловит литературные поделки русской прозы, создаваемой в России, Европе, Америке, под яркими цветными обложками, с которых глядят глянцевые мускулистые рембо, голые сексуально изогнутые красотки вкупе с космическими взрывами — фантастика, детектив, порноэротика.

Тихими шагами уходит в прошлое Ее величество Литература. Пылясь на полках серьезные книги. Не нужно. Не интересно. Сегодня, по словам героини романа Стругацких, главное, "это чтобы было весело и ни о чем не надо было думать".

Сегодня ученые не могут расшифровать язык жителей острова Пасхи. В начале века еще были живы старики, знавшие эпос своего народа, язык деревянных табличек "кохау-ронго-ронго". Верно, их детям тоже было неинтересно, язык забылся, культура исчезла. Забвение истории собственного народа — что может быть страшнее?

От древней истории евреев, начиная от ухода Авраама из Ура Халдейского до разрушения Второго храма, сохранилось, по мнению ряда историков Древнего Востока, не более 5 процентов записей.

Но это — ТАНАХ!

Что сохранит для потомков память о нас, евреях российского исхода? Что происходило в египтах и вавилонах XX-го столетия?

Евреев России называли на западе "евреями молчания". В шестидесятых на неполные десять лет приоткрылась форточка — писатели-шестидесятники торопились воссоздать картину случившегося за "железным занавесом" — с конца 20-х до начала 70-х. За редкими, вызывающими скандалы, исключениями евреи в качестве героев русской литературы не проявлялись. А литература на идиш, художественно бледная, насквозь идеологизированная, представленная литературными поделками гэбешных сексотов типа Арона Вергелиса, просто никакого отношения к Литературе не имела, за исключением, быть может, таких оставшихся чудом в живых поэтов, как Овсей Дриз.

В литературе 60-х годов Ефрем Баух известен как автор стихотворных книг, в одной из которых ("Красный вечер", 1968), сразу же после Шестидневной войны, к удивлению всех, была опубликована поэма "Моисей", по сути, положившая конец всем его публикациям. Так или иначе, Ефрем Баух — шестидесятник, прошел со своим поколением все, что вы-

пало на их долю, но... в отличие от сверстников, литераторов еврейского происхождения, не советизировался, быть может, потому, что Баух — бессарабец, уроженец тех земель, где все еще витал дух еврейской культуры, может всему "виной" дед, благодаря которому первый проблеск сознания ребенка связан с "сидением на Книге Книг" по строкам которой дед водит младенческой ручкой? Короче, в общем хоре шестидесятников, еще не утративших после XX-го съезда иллюзий построения "светлого будущего с человеческим лицом", не было слышно голоса молодого литератора. Геолог, работавший на Байкале, учившийся затем на Высших литературных курсах, живший в столице, он все же, как дышат через соломинку, погрузившись под воду, дышал духом Книги Книг, храня в памяти написанные стихи, которые даже в 60-е опасно было произносить, не то что предавать бумаге. Опять, к концу 60-х, начинало пахнуть серой. Вспомним разговор больных в психиатричке (роман "Лестница Иакова", 1987):

— ...под городом в трещинах каких-то, что ли... пустотах десятки лет что-то слабо тлеет. Вялый такой пожар...

— Сера не от пожара, — сказал Рывкин, — просто чертей развелось пруд пруди. Вот и запах. Говорят, Рим пропах кошками. Они там священные. А у нас черти... священные. Им-то все дозволено, а они неприкасаемы..."

Им слишком много дозволено: процессы Синявского-Даниэля, Якира-Красина, арест Буковского, советские танки в Праге, взрыв антисемитизма в Польше, процесс Дымшица-Кузнецова в связи с попыткой угнать самолет, антисемитская истерия в советской прессе. Евреи молчания обретают голос, начинается Исход. Шестидесятникам приходится делать выбор, трудный выбор — между сытой, упорядоченно рассчитанной на полвека жизнью и риском завтра оказаться на помойке, а послезавтра, быть может, и в лагере. Благо исторический опыт наличествует с лихвой. Автору этих строк было семь лет, когда умер Сталин. Поколение Бауха знало поголовные расстрелы, прошло Катастрофу и антисемитский шабаш конца сороковых, теперь вновь вспыхнувший на новом уровне в темах о "мировом сионизме", о диссидентах Солженицыне и Сахарове.

В этой удушливой атмосфере, по которой сегодня ностальгируют не только патриоты-почвенники, но и кое-кто из русско-еврейской интеллектуальной элиты, Ефрем Баух отдает в печать свой первый роман "Кин и Орман", точно уловив в нем настроение моего поколения, моло-

дежи начала 70-х., росшей в атмосфере "оттепели", смутно помнившей страх родителей перед всеильным идолом. Поколение Бауха было старше всего на десять лет. Оно уже действовало, творило, боролось за новое понимание жизни. Мы ждали своей очереди, разинув от восторга рты — эра всеобщей немоты заканчивалась. Дракон, похоже, издох. А он и не думал.

Когда советские танки давили Пражскую весну, мы растерялись. Но первый шаг к свободе был сделан. Наиболее умные из нас стали учить иврит в подпольных ульпанах, чтобы при первой возможности убежать из "империи зла". У оставшихся было два выхода — конформизм или немота.

Герой первого романа Ефрема Бауха, молодой Орман — конформист, вне баталий 70-х, фантазер-одиночка, закончивший факультет журналистики и попавший по распределению в провинциальный город России. Снимает комнатку и свободное время бродит по городу, заглядываясь на красивых девушек. Все нормально.

"...Орман, смуглый и худой, нос с горбинкой, глаза посажены глубоко. В разговоре — напор, решимость, даже жесткость, но при этом разводит опущенные руки ладонями вперед, и в этом движении — беспомощность, неумело скрываемая под решимостью..."

Вот он — ключ к характеру молодого еврея-семидесятника: все тот же неистребимый галут под маской энергичного советского человека. *"И всегда с ним ворох песен, шуточных, грустных, которые он любит пробарматывать, играя на гитаре... стол, грубо сколоченный... кусок доски, на двух обрывках шпата привязанной к стене и заменяющей полку для книг, которая однажды ночью уже обрушилась от перегрузки..."*

Как это узнаваемо — быт еврейского интеллектуала-бессеребренника: минимум вещей, — книги, песни, "пять блатных аккордов". Жизнь налегке, с рюкзаком за плечами. Разве не встречали мы в конце 60-х таких орманов у костров экспедиций, в турпоходах? Там они были на месте, упорно стараясь не замечать разинутой за их спиной пасти Дракона...

Уездный городок Орман выбрал не случайно. Оказывается, это город его детства. Здесь родился. Одиночка, сирота — Орман имел когда-то семью. Отца помнит смутно:

"...Он — на плечах отца, так и запомнил: голова отца сзади, черные волосы, а из них, изредка, как проблески, на повороте — смеющееся смуглое лицо, радостно-белые зубы, и красный флажок в руке..."

Ясное дело, ребенка потащили на демонстрацию: ходили после войны на демонстрации с маленькими детьми, — верили.

"...Вспоминается мама, и ее горе, непонятное мальшу, когда неожиданно исчез отец, как потом оказалось, внезапно умер... мама, молчаливая, стареющая на глазах и страх ее, что куда-то их вышлют, страх, непонятный мальчику, связанный с их фамилией — Орман".

Вот оно, мастерство писателя — несколькими штрихами — судьба поколения. У каждого третьего в моем поколении "внезапно исчезли отцы". Помним страх матерей из-за того, что "хотели выслать" из-за наших необычно звучащих фамилий. Не забудем до конца дней своих!

В романе еще одно главное действующее лицо — писатель Кин. Это он находит молодого Ормана, пишет ему анонимное письмо, рассказывая, как умер его отец и *кто* повинен в его смерти. Живущему в абсолютном одиночестве Орману сваливается неизвестно откуда это письмо, анонимка из прошлого, того самого, которое и есть анонимное письмо — архетип пыточного времени господства фиска и сыска. Как говорит молодой Орман: "Анонимка — тень отца Гамлета на современный лад."

Ныне известный писатель, Кин когда был тихим очкариком, работал на складе того самого института геодезии, где отец Ормана был главным геодезистом. И фамилия у скромного лаборанта была — Махоркин — порядочный русский человек, интеллигент, не подавленный большевиками, редкое исключение, подтверждающее правило, фантазер, обожающий мифологию греков, марающий в тиши подвала бумагу — первый свой рассказ. Он и семьей своей, любовью, семейным счастьем жертвует ради литературы.

"...Кин, писатель, выше среднего роста, с рыхлым, широким, всегда чисто выбритым лицом, с чуть вывернутыми губами, красноватыми краями век, вялым и ровным взглядом полусонных глаз из-под очков, грузный, медлительный..."

Несимпатичная внешность да и привычки — одиночка сорока шести лет. Хлебнувший лиха в войну подросток. Голод, страх смерти, шинель не по плечу. Завскладом в подвале института — "Подвальная крыса". И — тяга к необычному, жажда вырваться из постылого провинциального российского бытия. *"В звучном ореоле греческих имен собственная фамилия — Махоркин была ему мучительна. Она прочно срасталась с подвалом, и нельзя было оторвать это серое подземелье, настоящее на запахе кирзы, не оторвав от себя фамилию Махоркин..."* Так появился начинающий писатель Кин. Махоркин-Кин, подобно молодому

Орману, тоже грезит наяву, уходит в сны, в мифологи. Действительность для обоих — тоскливое существование.

В этом полусне у Кина появляется реальный враг — "Пан". Мифический зловещий бог на этот раз оказывается начальником геодезической партии, гоняющим до упаду Махоркина с рейкой, Глебом Ильичем Солодовниковым. Тяга к необычному, иному — характерная черта именно русского провинциального интеллигента, приводит Махоркина-Кина к отцу Ормана.

Для Кина старший Орман — потомок древнего народа со времен Вавилона, его башни — Эсагилы, крылатых человеко-быков. Странное почтение испытывает он к Орману-старшему: *"Нет, Орман был прост, как и все, весел, обременен теми же заботами... но что-то было у него за этим... какая-то врожденная, им самим не ощущаемая самооценка... Неужели это в крови их народа... думал очкарик, по ночам читающий именно с этой целью Библию..."*

"Пан", гонявший Кина с рейкой оказывается причиной смерти Ормана. И Кин открывает впервые горькую истину: великое достоинство испытывает столь же великое доверие к миру и потому чудовищно беззащитно. Кин мечтает о мести. Из письма: *"После похорон ребята собрались в вашей квартире... говорили о справедливости, о мщении... я смотрел в дверь... там играл мальши... И я, помнится, еще сказал: "Вот подрастает отмщение..."*

И вот отмщение выросло, прибыло в город Н. Кин в своей анонимке дает молодому Орману адрес "Пана" в миру Солодовникова, как бы наводит на месть. Орман поначалу сопротивляется, но не дает покоя гамлетово наследие: *"Прощай и помни обо мне..."* Сначала от скуки, от любопытства, от игры с жизнью, в которой он грезит себя Самсоном, он хочет увидеть "Пана": *"Как он выглядит, Глеб Ильич, дьявол, потерявший временем, нос-то ястребиный..."* Но у убийцы отца есть дочь — красивая сумасбродка Таня — *"...восемнадцать лет, длинные ноги, неожиданно и плавно заканчивающиеся туфельками на каблуках, жадность и наивность движения, бега, суматохи, светящееся течение волос... стелющееся по воздуху, потому и трудно уловить черты лица... Бедра женщины и в глазах детское сияние..."*

Одинокий Орман, грезящий любовью, увлекается. И вот он в доме врага отца своего. Ожидает увидеть дьявола с ястребиным носом, а перед ним милейший старикан, любит играть на флейте: *"...ясная тихая погода более всего подходила к его характеру..."* Где же злодей, Пан, дьявол, Клавдий? Фантазия Кина? Мстить или не мстить?

"Мамин брат, учитель математики. а в прошлом — ребе, объяснял ему, что „Ор" по-древнееврейски это "свет" или "кожа", и что Орман — это "светлый" человек или "чувствительный", всей кожей ощущает свою судьбу..."

Орман не Самсон и не Гамлет. Самсон и Гамлет жили. Орман существует. За теми двумя была их страна, их земля. Орман — чужак в этом мире. Жизнь в российском городе Н. не библейская сказка и не средневековая трагедия.. Враг — милый человек, а дочка его влюблена в Ормана. Влюблена ли? Раскрытие внутреннего антагонизма двух миров идет через тему любви. Таня увлечена не похожим на других Орманом. Никогда не называет его по имени. Для нее он "Орман". Экзотика чуждого, необычного, во все времена влекла русских женщин. Но еще она... любит русоволосого мальчика Сережу: *"...тогда на именинах увидела: странные глаза, такие только на иконах или церковных росписях... Но тут незаметно вынырнул из-за плеча Орман, смуглый, непонятный... глаза напряженные...цепкие... просто так не выпустит. В первом свет, неосязаемость, как будто летишь... начисто забыв, что есть у тебя тело... И вдруг попадаешь во второй — цепкий, жадный — и будто с разбегу в воду..."* Чужак есть чужак. Сначала неосознанно, на подкорковом уровне: *"Какой ты нудный..."* И отец с намеком: *"Нудных терпеть не может..."* Для русского человека еврей прежде всего нудный, зануда. Для Ормана эти слова — удар. Он влюбился всерьез. А героиня? На вопрос отца зачем она привела Ормана, легко отвечает: *"А куда было деться? Я почти на час раньше с занятий сбежала, думала проскочить, а он меня прямо на улице и поймал, врасплох"*. Более того, она оставляет Ормана с отцом и незаметно убегает. *"Я долго стоял в темноте, прижавшись к дереву. Два голоса вертелись в моей голове: "Господи, какой ты нудный" — это ее голос, "...она вас не желает..." — его. И в тот момент неизвестно, в ком было больше жизни: во мне, одеревеневшем, или в дереве... и вокруг как светящийся кокон весь мир, мгновенно погасший, и вместо него — такая же огромная и ничем не восполнимая пустота"...* Столкновение двух миров. Отца уничтожил "Пан". Как можно отомстить в современном мире, да еще когда нет точных доказательств? Город Н. не Верона и не Эльсинор, деликатный начальник экспедиции не пронзал шпагой главного геодезиста и яду в бокал не подсыпал. Сам скончался старший Орман: замерз в подъезде.

И все же суд свершается. План мести вспыхивает вначале в голове Киана: *"...когда Пан гонял меня с рейкой, я проклинал его и шептал про*

себя: покажи свои козлиные ноги, подыми кепку, чтобы я рожки твои увидел... ни жены, ни дочери нет, чтобы всамделишные рога тебе наставить или дочь с о в р а т и т ь, вот бы м е с т ь была..." (разрядка моя. А.Ш.)

Но Таня ничего не знает о вине отца. Она жертва, хотя ее игры с чувством Ормана отдают жестокостью. *"Вчера говорит: "Орман, вдруг ты завтра просыпаешься, а меня вообще нет, как и не было?" — "Как нет?" — "Ну, нет, уехала, испарилась, исчезла с лица земли, как будто и не было?" И такая вдруг чугунная пустота, будто из меня выпустили воздух..."*

Между ними встает ложь. Таня обманывает Ормана: пустяковый обман — пошла в ресторан с компанией своих девиц и парней, а ему наврала про "важное дело". Но для Ормана это болезненный удар по самолюбию: его, чужака, еврея, можно обмануть. *"...С Таней танцевал среднего роста брюнет, как будто секунду назад вынутый из-за витрины парикмахерской "Фасон причесок"... Я сидел в полумраке на балконе... потихоньку вместе с едой покрывался плесенью... Этот мир мог себе позволить быть избыточно-возбужденным, излишне накрашенным... потому что он чувствовал свою цепкую силу, и когда Таня на моих глазах сливалась с ним, пожалуй, давно слилась, ибо не было даже намека на шрам, я вдруг понял, что все стало на свое место... я почти по-звериному ощутил, что все враждебное мне отчетливо пряталось и вырисовывалось в этом мире, и он не просто обложил меня, как медведя в берлоге, а, обложив, не обращал никакого внимания, зная, что я никуда не денусь."*

К герою приходит потрясение этим внезапным открытием. *"...Этот мир выставил передо мной всего меня с выворотами, корчами... ничего не утаив — какое это было диковинное слабосильное растение... Нет, я не был настолько взвинчен, что слияние музыки, света, блеска бокалов с вином, еды, веселья представлялось мне этим миром — то были внешние атрибуты, но за ними... открылись и соединились такие детали, что я увидел нешуточное лицо этого враждебного мне мира почти в упор"*.

О ком все это? О нас. Кто из нас не получал в юности подобных откровений? Над кем из нас не потешался в открытую окружающий мир? Мир чужаков, гоев, хозяев земли и жизни на ней. Кем были мы для них? — Клоунами, мусором, плевками.

Но суд все же происходит, хотя молодой Орман вовсе не выступает здесь в роли Гамлета или Самсона. Все — на вульгарно-бытовом уровне. Пойманная на вранье Таня виноватой собачонкой (врать нехорошо!)

бежит за Орманом в его каморку и, как бы замаливая вину, спит с ним. Беременеет. Мечта Махоркина-Кина сбывается.. Ведь он всю эту историю прогнозировал, вынашивая месть.

Ну, а злодей-Пан, сгубивший отца Ормана, милейший Глеб Ильич? Орман, сирота, у которого он погубил отца, Орман, которого, переспав с ним, послала к чёрту Таня: *"Ты — негодяй, ты мне противен, теперь я это поняла.."*, Орман прибегает к нему, хочет убедить его, что Тане нельзя делать аборт, что он любит ее и хочет жениться. И тут проявляется момент истины. Благороден порыв Ормана: *"Глеб Ильич, простите, понимаете, я...очень люблю вашу Таню..."* " — ...выбейте из головы, зарубите себе на носу, это абсолютно. категорически невозможно. Она вас не переваривает, презирает, ненавидит, она мне сама говорила. И, наверно, есть за что. Такая вся ваша порода орманов-ворманов, альманов-вральманов, мульманов-жультманов... между вами и Таней ничего не может быть не только потому, что она вас ненавидит, а потому, что я вас ненавижу стократ больше, всю вашу орманскую... Я еще тогда хотел высказать все папаше вашему, да слишком быстро он окачурился, так я вам выскажу через двадцать пять лет, и на этом подведем черту..."

Вызов брошен, оскорбление за оскорблением — прямо в лицо, а Орман все еще пытается объясниться, деликатничает, взывает к чувствам. Знакомая нам всем картина, не правда ли? И лишь когда брали за горло... Глеб Ильич, не скрываясь, бросает Орману: *"... выдаете себя за соль земли, да втихую эту соль и пожирате. С вами бороться надо и не давать размножаться. Я ненавижу вашего папочку, потому что все, что мне ненавистно в жизни, сосредоточено было в нем. **В вас.**"*

Вот — лицо русского фашизма. Роман "Кин и Орман" был написан в начале 70-х. В те благословенные времена еще не пахло в воздухе никакой "Памятью", а ее духовные отцы Солоухин, Распутин, Астафьев и т.д. писали лирическую прозу о русской деревне, где призывали к человечности, гуманизму и любви к природе...

Когда на прямой вопрос Ормана:— *Вы убили моего отца?* философ-интеллигент Глеб Ильич отвечает: *"...Ни капли жалости, ну ни чуточки"*, только тогда Орман мстит одной фразой: *"...ваша дочь Таня беременна. Послезавтра она сделает аборт. Я ей сделал ребенка."* После чего Глеба Ильича хватил инсульт. Вроде бы и все. Месть за отца, за мать, увядшую от горя, за разрушенный очаг, сбылась.

Но Орман не Гамлет, нет в его характере холодного беспощадного арийства. Нет в нем и самсоновой твердости, библейской правоты за-

щитника своего рода-племени. Он мечется, забыв о гибели отца, вызывает врача, несчастный и виноватый, суетится вокруг Тани, умоляет простить (за что? В чем он виноват?), готов забыть — и танино вранье, и ее жестокие шутки, и презрение ее подруг, и иррациональную ненависть Глеба Ильича, его слова о "породе орманов-ворманов". Слабость характера? Недаром же деликатный Глеб Ильич издевается: *"А что вы мне сделаете? Ха-ха-ха. Ни-че-го. Что с того, что от злости вас так и распирает, вы и распорядиться-то с ней не умеете, вы ничем распорядиться не умеете, все по верхам. по верхам..."*

Да, Орман не умеет распорядиться злостью, он забывает обо всем, когда видит чужое страдание, даже если это страдание злейшего врага. Эту чисто еврейскую черту точнее всего в романе определяет Махоркин-Кин: *"Поймите, черт возьми, что именно я, разве... рассейский... а значит, гнилой интеллигент, только я и способен ощутить ту совесть и боль, что в а ш и принесли в мир. За это и ненавидят вас, как бельмо в глазу... Точно так вы способны, т о л ь к о в ы, увидеть нас во всей красоте нашей со всем безобразием. Отсюда ненависть к вам еще больше..."*

Именно **совесть и боль**. Вот что мешает Орману стать Гамлетом. Вот почему он не испытывает радости от свершившейся мести. Он тяжело переживает смерть врага. Он уговаривает Таню: *"Не делай этого... Танечка, это же человек, он или она, обернуться не успеешь, а оно топ-топ,— сделал двумя пальцами движение по скамейке"*. Он готов забыть, готов жениться на дочери отцеубийцы, на чужачке, во имя жизни будущего ребенка.

Какая знакомая картина.

Но чужой мир отвергает Ормана. Этому миру, выросшему на крови своего и сотни чужих народов, не нужен странный, суетливо-совестливый, жалкий в своей задиристости потомок библейских героев и пророков.

Но за Орманом, круглым сиротой, перекаати-поле, одиночкой в чуждом мире, стоит древняя как мир правда, е г о и у д е й с к а я правда, открывшаяся ему в прогулках по старому Тбилиси: *"Я почти физически ощущал, что где-то совсем близко текли они — Фисон, Гихон, Хиддекель и Евфрат. А южнее были не только прекрасноразличные названия — Иерусалим, Бейт-Лехем или Бейт-Эль, а там в эти мгновения моего жизнепрживания протекало бытие родственных мне по двухтысячелетнему духу людей... Как будто напрочь одинокий в этом мире, внезапно обнаружил множество родственников... Глубо-*

кой ночью, когда молчание кажется зловецим, внезапная мысль пронзила смертельной слабостью: если Христос был с болью послан отцом своим, Богом, чтобы погибнуть, взяв на себя все грехи наши, и это по силе своей одна из величайших идей Мира, то в Ветхом Завете, начиная с Иакова, борющегося с Богом, Иеремии, Иова — человек и Бог, иудей и Бог борются, как равноправные, лицом к Лицу, и в этой борьбе высочайшие взлеты человеческого Духа пытаются одолеть слепую, по сути, неодолимую силу Судьбы, почтительно и справедливо называемую Богом. И это одна из величайших корневых идей Мира. Но по самой сущности своей она т р а г и ч н а и глубоко пронизывает иудейство”.

Герой романа приходит к мысли, что Судьбы не избежать и надо платить по счетам.. Но здесь и прозрение, и осознание не оторванности, а единства с Миром, и с иудейством — прихода к своим корням. Это поможет ему выстоять, пережить все оскорбления и, главное, осознать, что мир, в котором он проживал, чужд, фантасмагоричен, лжив. И пора возвращаться к Истокам...

Роман Ефрема Бауха “Кин и Орман” так и не был издан в СССР. Что неудивительно. Удивительно другое, как избежал автор поношения в печати, травли, высылки. Правда, печатать перестали. Было множество проблем с “критиками в штатском”. Написание подобного, как и сдача романа в печать требовало мужества. За поступок надо платить. Путь в советскую литературу был заказан. Роман-истина об экзистенциальной ненависти русского интеллигента-мыслителя к еврею, вышедший в России 70-х, был бы бомбой под идеологическое здание. Что делают с бомбой? Ее засыпают песком, чтоб не взорвалась. Молчание — золото. Умолчали. И это самое страшное “Критики в штатском” рассчитали точно. Советскому (да и не только!) интеллектуалу-книгочею свойственно было бросаться на то, что отчаянно ругали критики, что вызывало общественный скандал. Солженицын, Аксенов, Войнович — обвиняли власть, т.е. в н е ш н ю ю причину. Ефрем Баух копнул глубже, в подкорку, в подсознание — неприятие на г е н е т и ч е с к о м уровне. Два мира — арийцы и семиты. Это была литература, направленная против основы основ “пролетарского интернационализма”. О книге не упомянули ни словом. Автор, вычеркнутый из списков советских писателей, как изменник, уходил в эмиграцию вместе со своими героями, возвращаясь к Истокам...

Главный герой романа "Лестница Иакова", вышедшего уже в Израиле, Эммануил Кардин вовсе не похож на одиночку Ормана. Кардин, по возрасту из "поколения зимы", ровесник Бауха, солиден, занимает хорошую должность — заведует отделением психиатрии известной в Москве клиники для душевнобольных (заметим, время действия вторая половина 70-х! Психиатрию используют для "лечения" инакомыслия), у начальства на хорошем счету, от еврейства только имя — Эммануил, да обрывки воспоминаний детства — дед учил читать Тору на иврите... Но у Кардина, в отличие от легковесного, полностью осовеченного Ормана, эта память глубже, ибо он старше, родом не москвич, а из местечковой Украины. Память об еврействе у него не так загнана в подкорку. Кардин, каким его рисует Баух в начале романа — вполне благополучен, твердо стоит на ногах, осенен благоволением высшего партийного начальства, жена, двое детей. Жена — донская казачка Лена. Кардин причастен к тому миру, который существует, не замечая суеты, слез и забот "малых мира сего".

Но равновесие, гармония с миром советского бытия нарушается.

Вначале неясная тревога раннего московского утра усиливается описанием пожара в метро. Здесь впервые у Кардина, хладнокровного психиатра, не потерявшего голову во всеобщем хаосе, возникает ассоциация: метро — вход в преисподнюю — *"...Мгновенно стало нечем дышать... В следующую секунду кричали, рыдали, били в оконные стекла, царапались по стенам, раздирали пальцы о закраины дверей... Погас свет. В долю секунды долгий вой протянулся вдоль вагонов, куда-то — в глухую преисподнюю жуть — и пресекся, истаял... Дым за стеклами высвечивался и наливался багровыми отсветами... можно было различить мертво оскаленные маски, отдаленно напоминающие лица..."* Канва повествования раскручивается, неясная тревога усиливается разговором с пациентом отделения художником Плавинским, неврастеником, который сдвигает Кардина с мертвой точки привычного бытия, рисуя знакомые Кардину с детства буквы ивритского алфавита, поясняя их непривычно для Кардина: *"Вы думаете, можно просто так... выучить эти буквы, можно так безопасно играть словами... Особенно словом "гиеном", где первая буква "гимел" поглядите... разве это не багор волокущий душу на заклятие?... Вы привыкли отно-*

ситься к древнееврейскому, как к любому другому... О, как вы ошибаетесь... вы росли в лоне русского языка... русский, поглядите, алфавит такой уютный, так и стремится скрыть острые углы... А этот... весь багры, крючья, вертела... Каждая буква — напоминание и предупреждение, за каждой — геенна..."

Отсюда начинается Ефрем Баух исследование души своего героя, вытаскивая память подкорки, возвращая на круги своя... к полузабытому еврейству. И опять первым это делает русский человек Плавинский, изломанный советской действительностью интеллеktуал, подобно тому, как в первом романе Ормана поворачивает лицом к еврейству русский Кин (Махоркин). Плавинский будит совесть Кардина: *"Вы что, не страдаете бессонницей? Вас не пугает ночь? Мы ведь живем на вулкане. Я, например, всегда сплю одетым. Надо быть всегда готовым к землетрясению или стуку в дверь..."*

Благополучный Кардин еще не готов "к стуку в дверь", но быт почему-то разваливается (описание сцен с ремонтом в квартире), он ощущает себя в собственной квартире чужим.

Здесь опять возникает тема Гамлета. Кардин с женой и другом дома патологоанатомом Германычем смотрит спектакль "Гамлет" в театре на Таганке. Кардин, отстраненно наблюдающий за действием на сцене, одновременно вспоминает визит в ЦК, на Старую площадь, в "святая святых", и внезапно осознает свое лакейство. Он, интеллигент, врач-психиатр, ученый, человек независимого мышления — лакей. Сцена с приездом Розенкранца и Гильденстерна в Эльсинор, разговор друзей с королевской четой — образец лакейства. *"Горя повиненьем..."* Горя повиненьем, желая выслужиться, бывшие друзья предадут Гамлета...

Одновременно Кардин вспоминает свой разговор с высшим партийным боссом Снежевским — *"... и охватывающее до кончиков пальцев лучезарно светящееся согласие с "августейшими", не поддакивание, а внутреннее, естественно вырастающее понимание... неожиданно открывшаяся до сих пор дремлющая сторона твоей натуры..."*

Кардин, в мыслях цинично относящийся к советской власти, лакейски теряется в коридорах ЦК. И принимает из вышестоящих цекистских рук назначение в спецлечебницу "Солнечная старость" — "санаторий для положительных жертв режима". Автор здесь доходит до гротеска. Герой, внутренне сопротивляясь, принимает высшую милость. Двоемыслие — по Оруэллу...

Но сцена в спектакле на Таганке не отпускает — мятущийся по сцене

лакей с фикусом во всеобщей панике попадает под ноги королю Клавдию и схвачен стражей: горя повиненьем, можно оказаться и виноватым.

Со спектакля начинается медленное восхождение героя по "лестнице Иакова". В Торе одиноко бредущему, сбежавшему из дома Иакову снится в пустыне сон — отверзается небо, по лестнице вниз и вверх движется вереница ангелов. Кардин возвращается к еврейству — от суетности и лживости окружающего мира.

Баух продолжает исследовать в романе экзистенциальные корни российского антисемитизма. Даже в реакции на спектакль ощущается различие на генетическом уровне между Кардиным и его женой-казачкой.

"У тебя, Эммочка, ч и с т о еврейская привычка принимать всё близко к сердцу, — сказала Лена, — ты видел, Германыч, на нем же лица не было..." Казачка Лена точно определяет эту разницу в мироощущениях. Для Лены и Германыча заесть трагедию Шекспира жирной котлетой по-киевски под ресторанный оркестр — дело нормальное. Кардин — другой. И глаза Германыча, остряка-неунываки, вдруг кажутся ему "стеклянно-мертвыми", и реплики жены отдают пошлостью. Эмма Кардин, хороший еврейский муж русской жены, семьянин и трудяга на ниве советской психиатрии, спотыкается о жизнь. Он "вдруг", как у Достоевского, начинает замечать, что раздражает жену, слышать унижительность ее реплик:

"...Не первый раз тебе говорю, брось ты эти еврейские штучки — не заставлял. Сам-то не ел? Ты же знал, что они (котлеты) не свежие, а не сказал?.. Сидел в ресторане, вся мировая скорбь на лице..."

Кому из евреев-ассимилянтов из "смешанных" советских семей не довелось выслушать хотя бы раз в жизни подобное от своих гойских родственников? Кто не получал в лицо пустых и вздорных обвинений?

Когда-то в самом конце хрущевской "оттепели" молодой и свободный предчувствием "прекрасного нового мира", доктор Кардин на совместном семинаре киношников и психиатров (!) в Болшеве, на веселом банкете-карнавале зачитал шуточную в духе времени (вспомним первые КВН) лекцию о "бодрой старости", пересыпая ее цитатами из "Города солнца" Кампанеллы и Талмуда. В те времена рискованные шутки позволялись. Но партийные боссы не забыли милых шуток еврейского доктора. И в эпоху Брежнева, в эпоху господства синильных старичков, Кардин оказался нужен власти. Полезный еврей. Прозрение Кардина начинается как раз в тот момент, когда получает новую квартиру, назна-

чение в спецсанаторий бывших столпов режима, "старых большевиков", свихнувшихся к концу жизни. Через Плавинского Кардин сталкивается с другим миром — раздавленных, полуспившихся, зажатых властью русских интеллигентов. Баух точными мазками рисует этот раздавленный, но не сдавшийся мир — Плющиха, Замоскворечье, Теплый Стан — старухи на свалке, сохранившие старомодную вежливость, неизвестные художники, тихие корректоры, неудачники-композиторы, их гневные ядовитые речи — речи "людей невроза". Они-то и лечат Кардина, вытаскивая его из массового "психоза" толпы и "власть предержажших". Но не сразу уходит Кардин от привилегированной кормушки. Трудно сие. Он, государственный человек, удостоенный стоять на гостевой трибуне у мавзолея в день Октября, на время забывает о "трясущихся художниках, облысевших корректорах, опустившихся композиторах".

"...Смотрит Кардин, и, главное, все видит с убийственной оголенностью, и ничто в нем не шевелится, и зарплата у него приличная, и совесть привычная, и врачебный глаз с профессиональным удовлетворением отмечает выставленную... на мраморной трибуне... клинику старческих психозов..."

Де-Монстры и Монстры. Монстры на трибуне, в санатории — собранные в одном месте бывшие палачи и их жертвы, трогательно соединившиеся в предчувствии персонального погребения на спецкладбище. Кардин цинично ставит диагноз всей системе: *"...Вот оно — главное в массовом психозе — стойкое за шестьдесят лет коренное изменение психического склада личности. Это уже не тот человек (вспомним Бердяева) с идеей Бога, старомодной учтивостью в споре... бесчисленными критериями и категорическим императивами. Он стал иной — новой личностью... О, Господи, боюсь, что не дано нам определить — обратимо или необратимо это поражение. Боюсь, что наступили уже деструктивные изменения. Ведь дело затягивается..."*

Еще как затягивается. Пройдет немного времени, и эти "новые личности", воспитанники и наследники сталинских палачей, пойдут крушить афганские кишлаки, рубить саперными лопатками демонстрацию в Тбилиси и Вильнюсе, громить "жидовский кагал" в ЦДЛ, убивать в Югославии, Приднестровье, Чечне... "Прекрасный новый мир"!

Ефрем Баух устами и мыслями своего героя предвидел итог изменения психического склада целого поколения.

"Что я делаю тут на этих подмостках?" — спрашивает себя герой во время всеобщего праздничного ликования. — *"Неужели это растянувшийся более чем на месяц — день подлости?"*

В пьяном хороводе "трудящихся масс" отыскивает он Плавинского, цепляясь в него, как утопающий за соломинку. С Плавинским рассекает он толпы пьяных граждан "города Солнца", возвращается в собственный дом в разгар веселья. "Веселие на Руси питье еси". Он видит свою жену-казачку в пьяных объятиях другого, слышит за радостными воплями в честь его прибытия шипящие за спиной слова: *"Жид...енький Ленкин пришел — это голос Ираиды. "Розанчик-обрезанчик" — какая пруть для тихо напивающегося Виля Ульянова. "Наши еврей" — жирное похохатывание Толи Лисицкого..."* Вот тут-то приходит к Кардину осознание, что никакие повышения и никакая многолетняя дружба с компанией Лены не спасут его от тайного презрения. Никогда не будет здесь с в о и м.

Таня в "Кине и Ормане" и Лена в "Лестнице Иакова" инстинктивно, подсознательно позволяют себе со своими мужчинами-евреями быть какими угодно, но негодуют, когда те проявляют "гойские" черты. Раб ведь не может быть господином, он должен знать свое место. Орман еще проявляет галутные комплексы (ест себя поедом, суетится, умоляет, жалеет). Кардин уже делает шаг к свободе и достоинству. Он уходит из дома с русаком Плавинским, который возвращает его к еврейскому достоинству. Один из парадоксов российской действительности. Может быть, потому, что художник, интеллигент, изгой Плавинский — сам является Вечным Жидом в собственном отечестве. Еще один парадокс: в стране, где у власти параноики — нормальные люди в психолечебницах. Плавинский ведет Кардина по Москве, как Вергилий Данте, открывая тому н о в ы й город — ад, прибежище тюрем, застенков, этапов на Колыму, безымянных могил. *"Вся архитектура, доктор, которую ненавижу, это разбойный талант маскировать проломы, пыточные бездны, колодцы, куда сбрасывают жизнь... Вот, что вам понять надо и проникнуться, доктор: это — Дантов ад, виртуозно замаскированный под город Солнца..."*

Это надобно было понять не только Кардину — целому поколению Кардиных и Орманов, понять, ужаснуться, кому, чему верили, сбросить веру в дьявола, как старую шкуру и... уходить.

Кардин в домике Плавинского в Переделкино, последнем прибежище российского Духа. Могила Пастернака "под тремя соснами". Воспоминания о погибших и оклеветанных литераторах. Деревенский дом, скрип старого дерева, запах красок.

"Слабый, но стойкий запах масляных красок пробуждает тайную

зависть к скрытой неколебимой прочности замершего среди этих стен мира...” Но прочность этого замкнутого мира призрачна. Реальны окружающие Кардина и Плавинского “стигийские болота”, в которые, по Плавинскому, засасывает всё от фресок Шагала со стен бывшего еврейского театра до полотен Кандинского.

Но русак Плавинский *может* жить в этом аду. В отличие от Кардина ему повезло в хрущевские времена, он был “там”, за чертой, в свободном мире... *”Вот, видите, работа: пристань в устье Тибра, отсюда, согласно Данте, ангел отвозил души прямо в Чистилище...”*

Свободный мир — другой, и там, ко всему, что здесь, отношение иное: *”Наша с вами ошибка, доктор...мы тени принимаем за тела. Тела были выжаты прошлой мерзостью. Остались тени. Даже властвующие. Но тени. Они, конечно могут весь мир уничтожить... А для них, там, живущих на свободе, это не более, чем еще один феномен... Но для нас это с у д ь б а”*.

Для Плавинского эти “стигийские болота” — его родина. Он, “отлученный” верит, что все наваждения пройдут, он черпает силы в людях, отсидевших всю жизнь “в мрачных пропастях земли” и не сломавшихся.

”Они видели голову Медузы-Горгоны и не окаменели. Они оказались сильнее законов Ада. Значит, есть еще, пусть малая, но надежда... Вот ответ на вопрос, как я могу жить среди всего этого. Мой лес, мой ручей, звезды, дом с древоточцами, сверчком, кладбищем, погребенной памятью... Но вы-то? У вас есть своя земля”.

Слово произнесено. Русский человек Плавинский ставит Кардина вопрос — что он здесь делает? И зачем? *”Иерусалим — вот ваша земля”*.

В диалогах Плавинского и Кардина проясняется еще одна мысль, прямо нигде Баухом не навязываемая читателю — диалог двух национальных характеров, двух культурных традиций, тесно связанных через Библию — сплав этих двух культур мог бы дать Миру очень многое. Не суждено.

Через Левшина и Плавинского Кардин знакомится с красавицей Рахилью и ее отцом. Кардин окунается в полузабытый чудом уцелевший в Москве еврейский мир. Вспыхивает страсть к “своей” женщине, которая “пугающе красива”. Он в восторге от ее отца Моисея, который водит его по старой Москве: оказывается, Зарядье, центр города — забытый, уничтоженный большевистской властью мир еврейской жизни. Моисей со вкусом вспоминает эту жизнь, цитирует Библию, Талмуд. Кардин растроган. Вернулась юношеская мечта о “еврейской девочке из

хорошей семьи”. Кардина подводит сентиментальность, еще одна черта еврейского характера. Рахиль не девочка из хорошей семьи, а женщина богемы, выдавшая виды, а мудрый Моисей, причитающий об исчезнувшем еврейском Зарядье (“...Рэбойне шел ойлэм, целый еврейский мир выжгли под корень...”) — оборотень. И опять открывает Кардину глаза гой Левшин, приводит в книжный магазин, к отделу “Научно-атеистическая литература” и спокойно демонстрирует труды отца Рахили, атеистическую книжонку “Что такое Талмуд”: “...Моисей такой-то... специалист по иудаизму... со знанием дела развенчивающий... талмудисты...книжники, мракобесы... автор, заслуженный орденносец...”

Вышли из магазина. Кардин был бледен, почти невменяем. Левшин разводил руками. Пятился...”

Левшин наносит Кардину еще один удар: в ответ на упрёки, что советская власть (т.е. русские) разрушила еврейское Зарядье. Левшин ведет его к тому месту, где когда-то возвышался Храм Христа-Спасителя:

“...Строили более восьмидесяти лет. В ясную погоду золоченный купол можно было с Кунцева видеть... Стены расписывали Репин и Васнецов. Разве такую магию можно стерпеть подручным? Решили: снести... строить дворец советов с колоссальной статуей Ленина... Вот она, топография этого города: на место храма — бассейн”.

Левшин — русский патриот, помнит о своей родословной еще от времен Ивана Грозного. Одновременно возвращает Кардину его еврейскую память, национальное достоинство, уводит от лжи оборотня Моисея. У Левшина и Кардина враг один и тот же — оборотень-интернационалист, уповающий на беспамятство. Левшин не обвиняет Кардина в гибели Храма и русской культуры. Он сочувствует. От парового катка Октябрьской революции пострадали и еврей, и русский. Они — товарищи в беде. Обвинители еврейского народа придут позже — в конце 80-х и потребуют еврейской крови кардинах, не виновных в уничтожении Храма.

Ефрем Баух не жалеет своего героя, не щадит и и отступников, предателей собственного народа, их изворотливую, змеиную подлость, скрываемую под маской сохраняемого в быту “еврейства”... Речь, пересыпаемая жаргонными словечками типа “Рэбойнэ шел ойлэм”, субботние свечи, вздохи об пропавшем “еврейском мире”. Это дома. А снаружи, на работе, с коллегами, с начальством — верность идее, красному знамени, яростный атеизм, участие в антиссионистском комитете... Двоемыслие по Оруэллу...

Для еврея предательство со стороны русских друзей, русской жены

обидно, досадно, хотя на том же генетическом уровне — вполне понятно и допустимо. Предательство с в о и х единокровных братьев — катастрофа, дальше — пропасть, бездна отчаяния... Здесь край мира: *"Огни кирпичного заводика, спасише ему, мальшиу, и отцу жизнь тридцать шесть лет назад, казались единственным достойным памяти во всей его жизни. Было безразличие, как перед замерзанием..."*

Безнадежность галутного существования в "городе Солнца". Искалеченные, проданные дьяволу души некогда цельного в своей вере народа. Затянувшаяся болезнь рабства.

Никому нельзя верить. Кардин "замерзает" душой. Даже известие о том, что за ним ведется слежка, переданное ему на вечеринке в честь вселения семейства Кардиных в новую квартиру "для начальства", не производит на него убийственного эффекта, хотя и настораживает. Кардин успокаивает сам себя. Знакомая черта галута: успокаивали себя и близких накануне погрома, при депортации в Варшавское гетто, даже по дороге в печи Аушвица... *"Откуда эта звериная загнанность? Только и всего от слов жены пожарника, сообщения, которое и до того было тебе известно? Это же неотъемлемой частью входит в общую пакетную сделку, вместе с работой, черной машиной, закрытым распределителем и новыми квартирами. Все верно. Но опасно не то, что следят, а то, что следы оставляют. Что это? Предупреждение?..."*

Затянувшаяся болезнь рабства.

Сидя у могилы Пастернака вместе с Плавинским, Левшиным и Лядовым, Кардин размышляет о предательстве: *"Кардин думал о похороненном здесь великом человеке, о трагедии еврея, ставшего христианским апостолом, о том, как искренне, гениально предают корни своего существования, предают с пылом, чтобы заглушить голос совести..."*

С этого момента герой романа уже готов к освобождению от рабства. Но отдадим должное автору романа "о лишнем человеке-еврее" — в русской прозе за последние 30 лет никто не писал таких строк о Пастернаке, заслужившем (и не зря) у русской интеллигенции славу мученика режима. Ефрем Баух осмелился. Но разве это неправда? Читайте письма Пастернака. Читайте воспоминания о нем. *"...Евреи должны бесследно раствориться в остальных, религиозные основы которых заложили..."* Еврейский интеллектуал, поэт, романист которого величали уже после его смерти "совестью русской культуры", отвернулся от собственного народа. Но к т о сказал об этом вслух?

Когда же о предательстве гения говорят Плавинский и Левшин, Кардин взрывается. В нем просыпается человеческое достоинство *равного*. Он не хочет, чтобы жалели его, сочувствовали "несчастному еврейству", не хочет их "филосемитизма", ибо даже у прядочных русских интеллигентов этот филосемитизм всего лишь антисемитизм наоборот. Напоминает заискивающую любовь к неграм у современных американских интеллектуалов. Кардин, споря с друзьями, начинает свой путь к свободе. И они, понимая это, на прощанье предупреждают об опасности: "...*Помните: Данте, идущему по Преисподней, никак нельзя действовать. Он лишь обречен погружаться, спрашивать, слушать и молчать...*"

Последний самый болезненный удар Кардин получает при деловом визите в Пермь, в спецлечебницу для "социально опасных больных". Автор дает страшное описание "психолечебницы" времен брежневщины (где вы, нынешние защитники "старого доброго застоя?"), подчиненной МВД и используемой КГБ для подавления инакомыслия. Великий психиатр и психолог Кардин, наивно полагавший (ох, уж эта старая еврейская наивность!), что делает все же доброе дело, помогая страдающим невротами и психозами, убеждается, что дело-то оказывается все-таки "пьяно-оловянным сторожевым русским делом". *"Утром за ними прикатил старый, черный и длинный "Зим" За рулем сидел солдат, рядом грудастый коротышка-майор... Увидев это существо, Кардин вовсе замкнулся. Падение было окончательным. И надо было стать камнем, чтобы не разбиться при первом ударе..."*

Но доктор Кардин не камень, поэтому увидев "врачей", "медсестер" и "санитаров" этого богоугодного заведения, а особенно пациентов, герой забывается. Он не хочет олицетворять "сторожевое дело", и потому, забыв о предупреждении Плавинского, решает помочь заключенному здесь ученому-физику, повинному лишь в "негативном синдроме, выражаемом в эйфоричном состоянии при слушании передач враждебных радиостанций и припадочном пристрастии к чтению антисоветской литературы".

Кардин потрясен стойкостью Даничева, его человечностью. *"Перед Кардиным сидит физически разрушенный человек, но сильная в самом крайнем и бесповоротном смысле слова личность, и так бледно выглядят рядом Плавинский, Левшин, Лядов, он сам — с их эйфорией и самобичеванием, называемыми их жизнью, с бестолковщиной ночных скитаний и многозначительностью изматывающих душу разговоров..."*

В этих словах — приговор всей российской интеллигенции времен застоя, молчаливым свидетелям мерзостей брежневской эпохи. При возврате в Москву Кардина ловит сокурсник Вадим, который помог ему в карьере, ибо сам обитает "в верхах", воочью видя разложение верхушки. Вадиму "нечем дышать", он должен выговориться, он предупреждает Кардина: *"Им нужны люди, относящиеся с омерзением к себе, но тем не менее специалисты своего дела..."* Перед Кардиным два пути: *"Он думал о Даничеве и Вадиме. Это были словно два варианта его собственной судьбы. Судьбу Вадима он счастливо и по возможности избежал. Несомненно, Даничев был его духовный двойник..."*. После того, что было в Перми, и после встречи с Вадимом *"Обратного пути нет"*.

Но для принятия решения Кардину нужен последний толчок. Он убегает от наступающей его действительности в далекий украинский городок — город своего детства. *"Возвращение в утробу... тихий провинциальный городок в скифо-буджакских степях"*. Воспоминания детства невеселы — война, эвакуация под бомбами, смерть отца, голод. Возвращение на разоренное пепелище — жизнь в мазанке. Сталинский террор, высылки по ночам. Нормальная летопись "поколения военного детства". Все это вспоминает ныне благополучный "айд-адоктор", лежа в номере местной гостиницы. Он не хочет идти смотреть на свой дом — там чужие люди. Он — один в мире. Что привело его сюда? Он возвращается к своему еврейскому прошлому, к памяти детства, когда *"рука деда проводила его пальчиками по буквам Торы"*. Здесь Кардина тоже ждет разочарование — встреча с сверстниками, бывшими соучениками по школе: *"...Тела всех знакомых кажутся раздувшимися, как у утопленников, захлебнувшимися кривой и грязной водой жизни... и вправду многие знакомые представляют не более, чем пустоты прежней жизни, с надеждами и мечтами, — пустоты, залитые гипсом и извлеченные из раскопок... Бродит Кардин среди мертвых руин прошлого"*.

Итог жизни целого поколения, называемого сегодня "шестидесятниками". Поколение несбывшихся надежд...

Зачем же Кардин здесь, среди дорогих ему могил? Он находит ребе Пружанского, когда-то учившего его премудростям Торы. У циника и реалиста Кардина ничего не осталось в итоге, кроме желания прикоснуться к истокам еврейства. Он находит совсем одряхлевшего старика на кладбище, где тот подрабатывает на жизнь чтением отходной молитвы "Эль малэ рахамим". Уважаемый когда-то ребе живет в пристройке у собственной дочери. Осколок ушедшего в небытие еврейского мира...

Здесь, слушая комментарий ребе к книге "Зоар", подводит Кардин черту, выносит приговор Системе, которой служил. Сначала верой-правдой, затем за спецпакет: "...Крики погибающей жертвы тонут в гомоне, шуме и ярости массовых собраний, массовых похорон...развлечений...митингов — гигантских мясорубок духа".

Ребе Пружанский говорит о семи смертных грехах по Каббале — кровопролитии, кровосмешении, разбое, идолопоклонстве, богохульстве, людоедстве, несправедном суде. Зверь из Апокалипсиса о семи головах. Точный портрет советской системы. После откровений "Зоара" уже нельзя оставаться в прежнем качестве. И Кардин, внутри ужасаясь, бросает вызов Системе. Он представляет себе последствия, мечась по гостиничному номеру. Будет, естественно, худо: "...поглядите на этого отщепенца, на этого жида пархатого, специалиста по сумасшедшим, который сам сошел с ума...сказал, что это Зверь, а не светлое будущее человечества... Более того, приподнял занавес, еврей вишивый, им же больше всех надо: и все увидели вдруг Зверя, голого, жадного, ненасытного... И, о ужас, это может сделать один-одинешенек, исчезающе малая амеба, — только хватило бы ей мужества расплатиться смертью, ибо ж и з н ь ю о н а у ж е р а с п л а т и л а с ь..."

Страх преодолевается сознанием того, что выбора-то нет — либо служи Зверю дальше, но тогда по Каббале "будешь развязан с миром", войдешь "в счет низших созданий", или сопротивляйся...

Кульминация кардинского бунта — выступление на симпозиуме в присутствии начальства и иностранцев не по бумажке... "Гром среди ясного неба... Иностранцы коллеги в восторге... Советская психиатрия самая передовая и даже демократичная..." Героя после выступления естественно изолируют в одной из "клиник-домов отдыха" под видом нервного срыва. На своей шкуре Кардин испытывает все "прелести" советской "гэбешной психиатрии". Его, вчера еще знаменитого доктора, допрашивает некий капитан Казанчик, "рыхлый человек с одутловатым лдщом...со странной одновременно наглой и виновато-гнилостной улыбкой в глазах". Допрос вызывает шок — Кардин отчетливо понимает, что "преданно предан" всеми, включая верного друга Германыча и жену-казачку. В показаниях звучат их слова... "Мы все можем, — ухмыляется Казанчик, — вот был человек, хоп... и один порошок. Или таблетка". "Они" действительно все могли. А собственно, почему "могли"? Они и сегодня, в "демократической России" могут все. Сменились лишь декорации.

Баух показывает состояние души героя. "Кардин думал о некоторой

отобранности доносов, которые читал ему Казанчик, — только друзья и близкие стояли за этими строками...Словно бы намекал Казанчик: гляди, кто тебя окружал вплотную — они тебя ни за грош продали, ты гол и беззащитен". Хотя, конечно, лукавил капитан, попугивал: известный психиатр Кардин вовсе не "гол", как запертый в пермском изоляторе Даничев, как сотни и тысячи действительно безвестных донине жертв советской психиатрии, уведенных из жизни или, что еще страшнее, из разума. О Кардине трезвонят "Голоса", он защищен от уничтожения. Но... герой боится. Боится дьявольского цинизма "серого кардинала", главного вершителя "русского сторожевого дела", удостоившего Кардина беседы.

Разговор "серого кардинала" с героем напоминает беседу Великого инквизитора с Христом у Достоевского. Но там — символы, абстракции. У Бауха вполне конкретный глава КГБ и жертва режима. "Серый кардинал" вполне способен одним мизинцем превратить Кардина в порошок. Он издевается, хихикает, юродствует: *"Да, я циничен. У меня руки в крови. А... вас ждет провинциальная глухая гильма, там, на востоке. Лестница, едрена мать, лестница, — он трясся в беззучном смехе...— Какой примитив...Уж если дадим вам от доброты нашей добраться до стены, может, не откажете, хо-хо, клочок бумаги между камешков с молитвой... за нас, ну, как там, во спасение, а?"*

И на это "высочайшее" кощунство, еврей Кардин, вспомнив ребе Пружанского, читающего Псалмы: *"Блажен м... тоторый не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути греш...ых, и не сидит в собрании развратителей..."*, еврей Кардин,, для которого теперь страшнее гнева "серого кардинала" встреча души умирающего с Шехиной (Божественным присутствием): *"ангелы проверяют дела его, и он отвечает вслух, и душа видит это..."*,превозмогая страх, отвечает: *"Вы больны. У вас нездоровый цвет глаз, — сказал Кардин, содрогнувшись от внезапной отчетливости своего голоса..."*

Бог или отчаянная смелость на пороге небытия защищают Кардина. Его выпускают на свободу. Это тоже "их" тактика — заточить в психушку такого, как Кардин, недостаточно — лишить права на любимое дело, унижить, провести по кругам допросного ада — и, внезапно, на волю, подыши, дескать, воздухом, оцени нашу милость, жалкий клоп. *"Кардин очнулся один, среди земли и зелени — как вынутый из могилы. Дикая радость, какую он, вероятно, не испытывал с детства, нахлынула, раскачивая, сшибая с ног: восстание из мертвых..."*

Его еще заставят почувствовать одиночество, создадут вакуум, атмосферу страха, будут телефонные звонки анонимов, исчезнут друзья, развалится семья. А сколько десятков, сотен, может быть, даже тысяч таких же, но безвестных кардинах, потерявших в неравном поединке с Системой, жизнь или разум, так и не дожили до свободы. После миллионов, убитых Сталиным, кто будет всерьез принимать жертвы "застоя"?

Роман "Лестница Иакова" — реквием, памятник жертвам брежневского режима, осмелившимся на сопротивление посреди стоячего болота из миллионов глухонемых.

Злоключения Кардина после освобождения из "спецдиспансера" продолжаются. Самое горькое — реакция его жены и дочери, когда он, как вор, прокравшись к своему дому, наблюдает: *"...Первыми явились из подъезда Лена с Ирой, оживленно переговариваясь.. Странно было видеть со стороны такие недавно родные... лица"*. Его уже сбросили со счета, он — труп. Правда, есть еще сын Володя, интересующийся древнееврейским алфавитом. Он ждет отца. Но Кардин уходит, живет на даче той самой Рахили, которую жестоко обидел. Кардин становится мягче, учится понимать, прощать. Рахиль открывает ему правду о "жестокости" его характера, благодаря которой только и сумел устоять перед "серым кардиналом". Более мягкие ломались, сходили с ума. Рахиль объясняет предательство Германыча просто слабостью характера. Она дает читать ему письма друга, живущего в Иерусалиме. На даче Рахили Кардин ощущает тоску *"среди этих плоских и долгих до скуки осенних земель"* в этот пять тысяч семьсот тридцать восьмой год со дня сотворения мира.

"...Ночью мальчики летают, старики чувят запах могилы, беременные женщины разговаривают с еще не родившимися детьми, а сорокалетние мужчины, переставшие кого-то играть и ставшие самими собой, смотрят в бессонную ночь сухими от ожидания глазами..."

Последние штрихи, разрывающие оставшиеся связи Кардина с бывшей родиной — анонимная записка "Жид. Убирайся, пока цел", трогательная встреча с русским интеллектуалом Левшиным под ручку с каким-то помятого вида человеком, оказавшимся писателем, редактором в издательстве "Современник" (заметим, — на дворе лишь конец семидесятых!) который употребляя заказанную Кардиным в забегаловке водку, витийствует: *"...А кто взрывал храмы, прикрывалась безбожием... Кто сегодня есть русская культура, литература, музыка! Шостакович, Растропович... А драматургия? Володин, на поверку Лившиц, Роцин*

который Гибельман... Алешин Самуил, имя которому Котляр... Как сказал наш классик, вся русская культура танцует маюфес и не вылезает из миквы..." На гневный срыв Кардина Левшин защищает антисемита, мол, "человек он неплохой". Они еще выйдут на улицы с погромными плакатами, обвинят евреев в "геноциде русского народа" и всех бедах сталинского режима. Они еще потребуют "пропорционального представительства в науке и культуре" и даже ограничений гражданских прав евреев. И левшины-лядовы покорно пойдут следом за ними, забыв о своем филосемитизме, ибо Храм Христа-Спасителя важнее идеалов гуманизма...

В "Лестнице Иакова" Ефрем Баух провидел будущее русской культуры и самой России, попавшей в руки "культуртрегеров" из "Современника" и "Молодой гвардии".

Деятели культуры, призывающие к погрому — что может быть безнадежнее для России?

Кардин прощается с Москвой, с друзьями, предавшими его, с семьей. *"...Кардин все более и более оставался один. Как некий Будда-наоборот: не он однажды ушел от всех, сбросив на берегу одежды прошлого, а все постепенно отходили от него — близкие, знакомые, жена, дети..."*

Но есть сын Володя — человек нового времени, для которого фальшь окружения очевидна и не требует горьких и извилистых путей отцов. У поколения Володи впереди "Афган", пикеты и демонстрации против режима, которому служили родители, распад державы, региональные войны. Они пойдут в эмиграцию не из-за идейных расхождений, а за "хорошей жизнью". Раскол у них пойдет не на "слуг отечества" и "диссидентов", а на бизнесменов и рэкетиров... А пока Кардин, уходя, передает сыну город.

Итак, Кардин бежит из "города Солнца". Оформляет документы, как расторгает контракт с Дьяволом. Сравнивает себя с библейским Иаковом. Бог испытывал Иакова — сможет ли, достоин ли вступить на родную землю после стольких лет чужбины. Из борьбы с Богом Иаков выходит хромым на всю жизнь. Таким же "хромым" уходит из России Кардин. Метафора автора романа — хромота, ущербность героя — дети остаются на чужой земле. Одинокий уход — наказание за двойственность души. Кардин уходит из России, каламбуря: *"В чужих землях еврей всегда вызванный" и всегда "незванный"*. Он еще не знает, насколько он прав.

Но в окнах, окружающих Колпачный переулок, столько концентри-

рованной ненависти, что ехать — надо. И мечта — Иерусалим обступает так "незыблемо и вечно", что не ехать невозможно, тем более, что кривляющиеся призраки настоящего подступают вплотную с угрозами ленивого племянника Феди, работающего в "сторожевом деле". Кардин едет в Израиль, но с грустью убеждается в ОВИРе, что большинство соплеменников, уезжающих вместе с ним, собралось в Америки-Канады.

Такова правда жизни. Психиатр и циник Кардин оказывается в душе романтиком, объясняющим сыну свое стремление увидеть Землю обетованную: *"..Вдруг как просыпаешься. Вдруг ощущаешь: из этих кажущихся пергаментно-мертвыми страниц истекает живая жизнь. Не головная, не сочиненная Кремлем, Верховным советом и неисполняемой конституцией, а самая что ни на есть живая, нескучная, с водой и хлебом, любовью и ревностью... Сколько колодцев вырыто нашими праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом... Книги эти, как те же колодцы..."*

У ограбленного Советами Кардина остается лишь эта вера. И еще страстное желание ощутить, увидеть лестницу Иакова. *"Простое существование Иакова равно простоте Бога — и в этой сомкнувшейся равновероятности, может, всего лишь миг в тысячелетиях существует лестница Иакова..."*

Может быть, лишь эта вера и все то, что довелось испытать Кардину в Совдепии, прмиряет и поддерживает его в тяжелом процессе привыкания, осваивания незнакомого и свободного от тотарлитарного давления н о в о г о мира, где нет прежних друзей, нет Рахили и даже от любимого сына за три года "никакой весточки". Дальнейшая судьба Кардина, выбравшего свободу — одиночество и разговор с Богом.

Роман "Лестница Иакова", написанный Ефремом Баухом в Израиле в начале 80-х, многое предвосхитил, многое рассказал о судьбе "евреев молчания", о первых шагах евреев российского галута к свободе, такой желанной и незнаемой. Но и не только это. Роман раскрывает и судьбу самой России, ее недалекое будущее — захлестывающую ненависть к "инородцам", духовный и физический голод, разложение власти, падение русской интеллигенции в черносотенное болото "патриотизма". Пожалуй, самое существенное, сказанное как бы вскользь, между строк, в самом конце — дальнейшая судьба кардиных, обретших свободу, но не обретших родины и успокоения. Они обречены лишь наблюдать чужую жизнь, мечтать о невесте для сына, оставшегося на чужом полюсе и разговаривать с Богом... Судьба Иова...

И вовсе не странно, что эта мудрая и печальная книга не была замечена и оценена по достоинству ни израильской, ни российской критикой. Ведь правда "по абсолюту" и сегодня весьма и весьма многим не по душе. Пожалуй, на сегодняшний день нет ни одного подобного произведения ни у нас, в "земле обетованной", ни за океаном, ни тем паче, в России. Правда, с великим опозданием роман этот вышел в конце 1997 на иврите под названием "Данте в Москве" (Издательство Змора-Бейтан) и в израильской прессе появился более или менее серьезный разбор книги. И все же это не отменяет сказанного мною выше — в нашем израильском отечестве пророка нет.

Герой романа "Камень Мория", который внутренне, а также во времени и пространстве продолжает "Лестницу Иакова", хотя и написан раньше, — это "шагаловский" человек воздуха, оторвавшийся от прежней среды, но еще не приставший к новому берегу. Житель Иерусалима, он пытается ощутить свою связь с этой жаркой, каменной землей. Отсюда и "Камень Мория"— для героя это не только библейское основание мира, но и исторический корень иудейства.

Роман построен в виде тез в ритме, напоминающем ритм библейских строк, где каждая строка — пасук (от глагола "пасак" — решил. "Псакин" — приговор, решение суда). Пасук — удар киркой по иерусалимскому камню.

Вначале герой летит над Средиземным морем в Рим. В иллюминаторе *"проплывают острова Элады... сапог Аппенинского полуострова... Несоизмеримость моего существования в эти часы равна великому необъятному пространству с колыбелью с трёх цивилизаций — Иудеи, Элады, Рима, невероятного угла мира, где сталкивались и скреплялись Восток и Запад..."*

Столкновение Востока и Запада — в душе героя. Вот он стоит в сумерках на виа Сакра, слева — чёрная глыба Колизея, справа — белая триумфальная арка императора Тита в честь победы над Иудеей. Ровно девятнадцать столетий назад двенадцать тысяч пленников, жителей Иерусалима, заканчивают грандиозное сооружение, цирк Флавиев, где их же и будут убивать в гладиаторских боях. Колизей. "Чудовищный жертвенник".

"Ровно девятнадцать столетий вынесено за скобки". Герой как бы

осознаёт себя в "треугольнике времени" — в Риме 1979 года, в Иерусалиме, осажденном войсками Тита, в Москве начала 70-х.

"Храм совсем рядом... как в оптическом приборе, прямо в хрусталике легионера, и — неприступен: отсюда страх и ярость владеют Македонским, Сокрушительным, Аполлоновым — имя им легион. Храм — соринка в глазу, бельмо. Его надо стереть, чтобы утолить ярость, выжечь страх".

В еврее, прошедшем азиатский галут в Третьем Риме, время стоит, как вода в глубоком колодце. На поверхность всплывают слова маститого советского писателя, сказанные в московском ЦДЛ: — *Ты же знаешь, я лучший писатель земли русской... Одно, сука, мешает жить...*

— *Что, Петя?*

— *Жида не дают проходу...*

Реплика из прошлой жизни соединяет в сознании героя римского легионера, поджигающего Храм, и писателя-антисемита в московском доме писателей 70-х годов. Высшие литературные курсы. Странствующая иудейская душа — в общежитии Литинститута. Описание нрава молодых литераторов дано гротескными мазками, заставляя вспомнить Гоголя и Булгакова: *"Властители дум" после бессонной ночи... топчутся всем гульбищем у входа в отхожее место и умывальню. Идёт грандиозная работа по приведению себя в надлежащий вид. Зрелище это редкостное. Обычно после субботне-воскресных запоев никто на занятия не торопится..."*

Портреты "подающих надежды литераторов:

"А вот и Богданов, поэтическое светило Челябинска, невысокий, мешковатый, грузный, с кабаньим лицом, заплывшим от непрерывного недельного запоя — планомерного превращения гонорара в блевотину".

Разговоры:

"Славяне пили до потери пульса. А заправила у них — батя, Григорий Коновалов, знаешь, лауреат Ленинских, Государственных и прочих... Заволокли меня, говорят, пей, младший брат... Это вы, говорю, младшие братья, мы, украинцы, вас породили... Ладно, говорят, разберемся, кто из нас кого породил. Ты вот лучше скажи, почему вы с жидами не покончите?..."

Скандалы:

"...— Рецидивист! — кричит у моей двери по-бабьи визгливым голосом надежда таджикской литературы Хабибулла Файзулло из Душанбе саратовскому поэту Ване Молохаткину, угрюмому мужику с угреватým лицом.

— Заткнись, черномазый,— хрипит надсадно Ваня. — Мы вас защищали, суки, мы вас учили ложку держать.

— Ты нас, персы, дивевний народ, учил держать ложку? Долго разнимают обоих”.

”Дети разных народов”. Дружная семья, творческая интеллигенция. Соль земли. Герой живёт среди этих постоянных возлияний и излияний, скандалов, драк, дремучего антисемитизма.

Но тут же рядом, в этих же пристройках, возле Литинститута, жила семья Андрея Платонова, доживает век вдова Михаила Булгакова. Александр Межиров читает на семинаре ахматовские строки ”И снова осень валит Тамерланом...”: ”В самом акте написания ахматовских строк... возникает и навек существует неотменимая формула. В ней спокойная и высокая безнадежность перед лицом бесформенного, Тамерланом валяющегося из всех глубин, со всех высот Мира”.

В сознании героя увязывается ”слякотный сентябрь Москвы” со слепыми в своем стремлении легионами Тита.

”Пьяная вакханалия писательского ресторана дома Герцена на страницах ”Мастера и Маргариты”, тайный запах предательства, глумления то и дело, как сквозняк, как мелкая бесовщина, врывается в аудитории. где патетически обсуждают очередную бездарщину ”молодого и обещающего” под бдительным присмотром того же ректора, имеющего бас и вид городского...”

Так будущий кризис российской культуры, разразившийся к началу 90-х, виделся автору (и его герою) еще в начале 70-х. Духовные лидеры русского национал-фашизма учились в одних аудиториях с героем романа. ”Иудейский нос чувствителен на всякую мертвечину, иудейский слух утончен пятью тысячелетиями...” Может, именно эта утонченность и не дает расслабиться в ностальгии, как бы продолжая тему Кардина из ”Лестницы”... в развалах старых домов на Тверской: ”Наваливаясь с Пушкинской площади, обнажает клоповники, пропахшие историей, кровью, потом, отхожим местом, обнося разворошенные тайны заборами. Но мельком, в щель, заметишь ров, провал, рваный край торчащего из земли Дантова лимба”.

У героя возникает вопрос: ”Что же я тут делаю, на лобном этом пространстве, где с одной стороны окружают меня братья-славяне, между собой по-деловому называющие меня ”жид”, а в сентиментальные моменты — ”пархатик”?”

Вопрос, рано или поздно волновавший каждого еврея. В отличие от Ормана и Кардина, долго мучавшихся вопросами, кто мы, зачем, отку-

да, герой "Камня Мория" уже оторван от Скифии. Кроме накопленной боли, презрения к угнетателям, скрываемой до поры ненависти, — нет ничего. Герой уже смотрит сверху, с высоты полёта. Отсюда его ирония, смех. Смеются только освободившиеся люди. У галутного еврея на самом деле не смех — скоморошье, клоунское кривляние.

Для героя кризис некогда великой российской культуры очевиден. В полифонии этого кризиса тема Дома литераторов начинается безмолвной фразой: *"Вестибюль беспмятно реален"*.

Звучит тема Мандельштама. Тема совести одних и бессовестного, бесовского существования других. Над поэтом измывались сначала лубянские палачи, потом уголовники Сучанской каторги. Потом его, полусумасшедшего от голода, столкнули в выгребную яму. "Отец народов" не забыл ни "тараканьи усища", ни "голенища". Поэт и власть. Поэт и тиран. Старая в общем-то тема в советской России разрешалась по-новому — выгребная яма Сучана.

Нигде прежде, во всей посмертной литературе о Мандельштаме это не выделено. Прозвучало только в "Камне Мория". Осип Мандельштам, единственный в России поэт, напрямую бросивший вызов системе:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговора —
Там припомнят кавказского горца...

"На бумаге этих слов нет. Мандельштам лишь читает их нескольким друзьям. Отзвучало последнее слово. Мандельштама арестовывают. Бухарин идет к Ягоде, и последний читает Бухарину стихотворение наизусть."

Говорят, рукописи не горят. Оказывается и звуки не исчезают. Мандельштам знает, за что его взяли, — и это естественно. Главное, чего он добивался, — услышать стихотворение в чекистском варианте. Догадаться по вариантам, кто его выдал из друзей".

В романе Ефрема Бауха Мандельштам видится не беспомощной жертвой. Здесь неумирающий дух иудейства, когда *"строки черным пламенем по белой бездне"*, на стене Валтасарова пира — смертельные для тиранов слова. "Отец народов" уничтожил всех, кто знал наизусть это стихотворение, начиная с поэта, заклеившего его, и кончая самим Ягодой. Не помогло. *"На Тверском напрочь разделённые справедливо-*

стью Божьей, связанные навек, стоят напротив два Осипа, и одному начертано летать и петь, а другому — "бабачить и тыкать", и будет это длиться вечно до скончания веков".

"Не сотвори себе кумира" — древняя иудейская заповедь, и, верный ей, герой не испытывает ни малейшего почтения и к основателю "красной Скифии" Ленину. Отметим: рассуждения героя относятся к началу 70-х (сам роман написан в 78-м) и ленинскому кумиру поклоняются вовсю даже диссидентствующие интеллектуалы. Солженицынский "Ленин в Цюрихе" еще не увидел свет. Вот посещение мавзолея героем романа "Камень Мория": *"Чучело в стеклянном гробу, вид мёртвой кожи, как бы её не напивали бальзамом, напоминает падаль — только представь на миг, и прошибает холодный пот: куда движется человечество?"*

Еще одна извечная тема: донос и допрос. *"Человек превращается в шорох бумаги и скрип пера. Сочинитель и доноситель — из одного семени. Для того, чтобы добиться результата, первому не хватает подлости второго, второму — воображения первого. Наш век породил в массовом количестве гибрид первого со вторым".* Доносители учатся на литературных курсах вместе с героем. Доносители, маститые писатели, сталкиваются друг с другом в кулуарах ЦДЛ. Уже уйдя в другое измерение, сидя с приятелями в Иерусалиме, герой не может забыть пережитое: *"Их как-то шкурой чуешь. Или запах какой... Идешь, на скамейке сидит огромный детина, руки пахаря: ему бы наше сельское хозяйство спасти от хронических провалов, а он газетку читает, а глаза — поверх... Не веришь, что можно слежку унюхать? А я говорю, запах у них какой-то, пот, что ли, запах волчий... Странно так, сидим у Яффских ворот, над головой башня Давида, за углом Сион, гора Господня, а я как с того света вернулся и рассказываю... Чем не Данте?"*

В романе "Камень Мория" автор анализирует это состояние — унижительное для всякого мыслящего существа ощущение рабской несвободы, давящее человека даже тогда, когда он оттуда вырвался: *"Какой нужно пройти внутренний путь самоосознания, чтобы внезапно обнаружить: подоплёка, последняя реальность многоликой жизни — работы, философии, литературы, развлечения, даже науки — потливый генетический страх. Оттуда, из закодированных страхом человеческих подсознаний, растут корни коллективных бичеваний, осуждений, предательства".*

И страшный по сути вывод этой главы: *"Видишь, и Россия мо-*

жет выставить альтернативу Агасферу — Вечный Арестант... Вечный Арестант, как Вечный Жид...

Достойный финал — бег вон из России: *"Скорей, скорей! — торопили таможенники, упитанные, с бегающими глазками. "Скорее, скорее!" — орал пограничники, сосунки, не менее зелёные, чем их форма. Мы бежали, роняя свёртки, подбирая, забрасывая в проём спасительной двери чемоданы, втискиваясь уже на ходу в тамбур.*

Он успел в последний миг извлечь скрижали, с которыми не расставался пятьдесят лет своей жизни: "Не оглядывайся — узнают! Не читай — засадят! Не думай — услышат! Не пиши — убьют!"

Еще один лейтмотив — судьба двух иудеев, двух великих российских поэтов, из которых один сохранил в душе "почетное звание иудея" а другой — открестился. Для себя герой делает вывод: *"Есть правда с надеждой — правда победившего христианства, и есть — правда непобежденного иудейства. Быть может, обе правды нужны человеку? Мне по генеалогии морали ближе вторая правда"*. Есть моменты в жизни людей и истории народов, когда правда победившего христианства уступает правде непобежденного иудейства. По мысли героя раскаяние пришло к Пастернаку слишком поздно, когда можно было витийствовать, ругать и оплакивать вслух, не рискуя получить пулю в затылок. И поэтому единственное стихотворение Мандельштама "Мы живем, под собою не чуя страны" перевешивает христианский пафос "Доктора Живаго".

Уже в Риме и на Капри герой романа "Камень Мория" размышляет об ответственности художника слова перед людьми и Богом, сравнивая двух гениев российской словесности. Оба жили в Италии, вдали от родины, оба ощутили кожей горячий ветер, дующий с холмов Иудеи, оба посвятили иудейству немалую часть своего творчества. Николай Гоголь и Иван Бунин. В душном, пропитанном запахом гниения, Риме, в палатце Полли Гоголь читает Волконским отрывки из "Мертвых душ".

"Гоголь родствен Риму". Почему? Странно сравнение человека с гордом. Но если вдуматься, Рим, победивший Иудею, смеялся над побеждёнными, над их "пастушескими священными атрибутами", над невидимым Богом, которому нельзя приносить человеческие жертвы, над странными запретами. Тот же смех у Гоголя в "Тарасе Бульбе": *"Так легкомысленно, по-казацки бесшабашно, захлёбываясь восторгом, описывать позром, где пух, брочки, жидкие ноги жидов, летящих в Днепр, смешны... Даже в самых глубоких прозрениях напрочь не могло*

и представиться Гоголю, что какой-то тощий смешной Янкель — стрелкж Божьих весов. Жизнь Гоголя — месьт Адонаи, задумавшего в нём праведника”.

Гоголь всю жизнь мучается, неудовлетворен написанным, его преследуют физические недуги, он вопрошает Бога, за что обрушиваются на него удары судьбы. В итоге — страшный конец, сожжение второй части “Мертвых душ”, мучительная и странная смерть: *”Надо же было так неосторожно, так бесшабашно разок повеселиться”.*

То же самое с Римом. От кровавой победы Тита, бросившего на штурм Иерусалима отборные легионы, осталась лишь полуразрушенная арка с надписью “Иудеа капта”(Иудея побеждена). Герою, только что прилетевшему из древнего Иерусалима, эта надпись смешна своей законченной напыщенностью. Древний Рим давно мертв. Израиль жив. Современный, живущий туризмом Рим — загнивающая клоака, кладбище истории.

Здесь же, в Риме и на Капри — незримое присутствие Бунина. *”Капри — зуб вечности на скрещении мировых тревог. Здесь, на Капри, Бунин пишет ”Смерть пророка” и ”Тору”...Выли ветры, ударяя в оконные стекла, Бунин выходил на веранду: на востоке мерцали звезды, и там была Иудея, забытая всеми, последний и вечный якорь перед любым разверзающимся Хаосом”.*

Перед глазами героя два примера: русский аристократ Бунин, обративший взор к иудейству, и отвернувшийся от своих корней еврей Пастернак. Гений, уступивший тирану, будет ли прощён в высших сферах? Что ждет человека после его физической смерти? Согласно Талмуду, душа тирана и палача, губившего при жизни миллионы безвинных людей, *”не проходит кару могилы, привыкание к забвению до времени Последнего суда... Просто не хватит времени для расчета с каждой загубленной душой. Поэтому сразу с переправы начинается Суд”.*

А что с героем романа? В “красной Скифии”, уничтожившей иудейскую душу Мандельштама, искорежившей душу другого иудея Пастернака, ему, сврейскому литератору, места нет. Он устремляется душой к Камню Мория. *”Уже Москва осталась в другом измерении. Некогда объёмлющий мир, Рим мелькает коротким комментарием к скале Мория... В слепящем, без теней, прямом свете полдня иногда и вдруг ощутишь весь Иерусалим, как мгновенно открывшийся ясный и главный отрывок Книги Божьей... Иерусалим — раковина, приложенная к уху Мира; и слышно в ней, как разрывается полотно мирового пространства... Знаки Зодиака — забытая геральдика Иерусалима...”*

Наверное, в современной мировой прозе нет таких точных и в то же время полных искреннего чувства строк об Иерусалиме.

Но Ефрем Баух не дает читателю однозначного ответа о судьбе героя. Не так всё просто с этой парящей душой иудейской. В отличие от древних евреев Исхода, у современного героя нет сорока лет блуждания по пустыне. Из рабства — сразу на свободу. *”Выбрасывает сразу, как рыбу на берег. Еще долго задыхаешься, привыкая к чистому, кажущемуся разреженным воздуху свободы...”*

Тут и начинаются главные трудности. Эмиграция. Вырваться, уйти из плена для Кардина и нашего безымянного героя легче, чем дышать этим разряженным воздухом. Если с Кардиным более или менее ясно — у того действительно остались, несмотря на психологический гнет, ”горшки с мясом” на прежней родине, то зрячий во всех отношениях, ненавидящий ”холодную Скифию” герой ”Камня...” все же удивляет своей внезапной ностальгией: *”Возврата больше нет, — сказал Всевышний. Мгновение стало законом и вызвало тоску. Значит, не сможем возвращаться. Хотя, если бы вернулись, всё выглядело бы опять скудным, невыносимым. Но уже не вернёмся. Уже не увидим старых стен, хотя это были стены тюрьмы, и старых знакомых, хотя в большинстве они были осведомителями. И старых друзей, хотя все они жили в мгновенной готовности предать”*. Времена меняются. Сегодня уже можно возвращаться сколько угодно, и знакомым уже не нужно быть осведомителями, и друзьям — предавать уезжающих, но у человека творчества, связанного душой с культурным наследием страны исхода, труден разрыв с этой культурой. Отсюда и ностальгия, ведь на новом месте придется многое забыть, если хочешь проникнуть в культуру новой родины.

Нашёл ли наш герой, мятущаяся иудейская душа, то, к чему готовил себя, о чем мечталось на просторах Московии?

Ведь и Рим, куда герой прилетает в начале романа, то есть старая христианская культура Европы, замешанная на античности и Библии, тоже не по душе герою. И герой, бывший столичный литератор, остается парить душой в воздухе над сухой, жаркой землей. *”Навечно простерт над знакомым с детства сапогом Аппенинского полуострова, над козьими шкурами Пелопоннеса и Крита. Не таков ли навек полёт души к камню Мория, в ожидающую за всей суетой Мира долину Суда?”*

Герой парит над Иерусалимом. Конец романа — песня любви Вечному городу. Сможет ли реальный герой жить в этом сухом, знойном, непри-

вычном мире? Ответ на вопрос "А что дальше?" тоже висит в воздухе. Сказочного конца нет. Более того, автор предлагает два варианта концовки и, как бы завершая длинную историю исхода, сам отвечает на немой вопрос читателя: *"Это рассказ о проходе, Исходе, переходе через собственную жизнь, о проходе через глухую крепь времени — к самому себе"*.

И обращается к читателю: *"И сколько еще осталось пройти? И сколько еще осталось пройти? Бейте в камень, кирка против кирка — навстречу друг другу. До дня встречи"*.

Финал обнадеживает. Это обращение к тем, кто остался там, в галуте, в холодных просторах Скифии, к тем, кто, подобно герою романа, создавая себя иудеем, стремится к Иерусалиму, к основе Мира, к тем, кто живет в стране обетованной словно бы за стеной, будь то уроженец Израиля или давно приехавший сюда. А что же с теми, кто, подобно Пастернаку, мнит себя наследниками европейской культуры? Кто постоянно задает себе вопрос: кто мы, откуда, куда мы идем?

Об этом следующий оман Ефрема Бауха "Солнце самоубийц"

Финал "Камня Мория" обращен к нам, репатриантам 90-х, хотя написан в начале 80-х. "Солнце самоубийц" — описание этого нового исхода. Повествование снова возвращает нас в Рим, но это Рим глазами беженцев. Описание знакомых улиц, античных развалин, холодные воды Тибра, вонь клоаки — Клоака Максима, и толпы русских эмигрантов, евреев, уже не убежавших в свободу, как прежде, в 70-е годы, а вышвырнутых вон, выгнанных Москвией, Великой Скифией. бегут от чернобыльской катастрофы, от улюлюканья патриотов, учеников и наследников Левинных ("Лестница Иакова"), от вспыхнувшей гражданской войны национальных окраин. Бегут от внезапно нахлынувшего голода. Бегут, куда глаза глядят. А глаза эмигрантов Ладисполи глядят в заманчиво богатую Америку, Австралию, на близкую, ухоженную, гостеприимную Германию.

Они не хотят парить над камнем Мория. Не готовы, подобно Кардину, принять, как расплату за несправедные дела, любую жизнь на исторической родине. В этой пестрой толпе бродит художник Кон, главный геой "Солнца..." Это грустная история нашего современника, еврея, ушедшего оттуда и не пришедшего никуда.

Кон не может жить в вечном полете над легендарным камнем, он не герой шагаловских катин. Внезапно нагрянувшая "нагая Свобода" вызывает у него сердцебиение. Начало эмиграции переживается как болезнь,

невроз сердца, тахикардия. Состояние героя — сон наяву. Ему бы восторгаться минутами долгожданной встречи с мировыми шедеврами живописи, архитектуры, которые он изучал в теории в Мухинке, смотреть, не отрываясь, на конную статую Марка Аврелия на Капитолийском холме. Но Кон постоянно слышит подземный гул, лишь позднее поняв, что это гул тоннеля под пансионатом, в котором он спал первую ночь в Риме. Вновь всплывает тема Гоголя, когда Кон внезапно видит на виа Систина мемориальную доску на стене дома, в котором Гоголь писал "Мертвые души". Сам же Кон рос на Украине, родился в Славути. Кон знакомится с беженкой, художницей Лилей Чугай, землячкой. Вот вам — панночка и Хома Брут. Завязывается вялый эмигрантский романчик. Не отпускают воспоминания о женщинах в прошлой жизни, натурщицах, жене Тане, с которой давно развелся. Кон подобен молодому Орману, который достиг соорокалетнего возраста, а всё тот же "человек без кожи", словно бы живущий в летаргическом сне.

Сосед по наёмной квартире в Остии бывший партийный функционер Двускин изливает Кону душу в перерывах между посещениями туалета. Не даёт покоя кожевенник Гоц, который едет к брату оптику в Чикаго. У Гоца *"поврежденный глаз — наследие ГУЛАГа, невероятная сила живучести и уйма кожевенных баек, от которых волосы встают дыбом..."*

И наконец, в вагоне метро — *"...сидящий напротив бледный и щуплый еврей с редкими прилизанными волосами, с мешочком апельсинов, суетливо перечитывающий какие-то бумажки, перекладывающий из кармана в карман скудные доллары и лиретты, и что-то просительное, униженно-горестное, что-то такое беженское светится в его лице, а поезд, все убыстряя ход, катится в глубь этой жизни, как в воронку..."*

Щуплый русский еврей в вагоне европейского метро — символ конца кровавого столетия. Вечный беженец. Вечный жид. В этом одиноком беженце из разваливающейся на части "империи зла" Кон видит своё отражение.

"Никогда не знал Кон, не понимал, что значит в жизни постоянство. Всегда понимал себя временным. Но в эту секунду он внезапно ощутил эту временность. Беженцы в Риме, в Остии, в Ладисполи только и говорят: мы здесь временные. Но он знает тайну: временность эта постоянна. исчезла, выдохлась надежда на перемену..."

Невольно хочется задать герою вопрос: как же так, при всей своей ду-

шевной тонкости, "бескожности", ты не потерял рассудка там, среди чуждых тебе холодных пространств, где ты сидел в прокуренном подвале, надеясь на чудо, что когда-нибудь твои шедевры увидят свет, завися от мнения мэтров советской живописи, от бездушных чиновников совкультуры, там, где "всеобщая проституция была одним из главных стержней жизни", что же произошло с тобой здесь, в свободном мире?

Вопрос к Кону — это вопрос прежде всего к нам самим, Что происходит с нами, равшимися к свободе столько лет и наконец получившими все ее прелести? Или мы не оказались готовыми к ее восприятию? У нас, эмигрантов 90-х, не было в душе целей исхода, как у героев "Лестницы Иакова" и "Камня Мория".

В Сикстинской капелле Кон внезапно встречает старого приятеля Майзеля. *"Да, это он, Майзель, мазила, размазня... сонлив, но талантлив, родом из того же Полесья, на два курса младше Кона по Мухинке (младших-то не замечают), однажды оказавшийся на все десять дней декады искусства рядом с Коном, два жидка в представительной русской художественной делегации"*.

Майзель, уехавший в свое время в Израиль, ровесник Кона, но в отличие от него, остро чувствующий свою национальную принадлежность. Он влюблен в Иерусалим, в котором проживает вот уже три года и, гуляя с Коном по Риму, рассказывает об истории еврейской диаспоры в Риме. Но вопреки ожиданию читателя, Кон раздражён восторженностью Майза, и тот, чувствуя скепсис бывшего приятеля по декаде русского искусства, отвечает тем же.

В этой сценке Ефрем Баух воссоздает сущность трагедии современно-го еврейского интеллектуала — противостояние в душе двух тенденций в еврейском понимании мира — тяга к национальному и через него к вере в Бога, и наоборот — отторжение всего сугубо национального, отождествление себя с европейской культурой, "общечеловеческими", а в сущности, христианскими ценностями, и через это — к идее космополитизма. Правда, последняя идея не нова, но тем не менее значительная часть уцелевшего ашкеназского еврейства жестокий урок XX столетия, Катастрофу, как бы забыла, а точнее, не хочет вспоминать...

Герой "Солнца..." относится к этой категории. Майз читает написанную на стене древней римской синагоги молитву на иврите, и это вызывает ироническую реплику Кона. Не приняв приглашения Майза, Кон убегает в свою комнату в Остии. Но там чужая толпа, вакуум одиночества. Кон пытается разобраться в себе: *"Был невыездным, покрывался*

плесенью в питерском подвале, называемым мастерской, вдыхая испарения Невы, и вдруг надолго оказался в дороге. Ни прикола, ни целей на завтра. А у Майза что — иллюзия задачи? Но она-то есть”.

Кон завидует Майзу, его “иллюзии”. Он понимает: встреча с Майзом — событие в его эмигрантской жизни. Но есть еще свод Капеллы — *”спонтанное истекание жизни из ничего, из себя самой, заливающая с головой, сжимающая горло формообразующая лава, световая лавина гения..”* Она остается с Коном, идущим все же на сближение с иудейским, точнее, с израильским миром. Майзель пытается успокоить Кона: *”Не путай, дружок, свою исчерпанность с исчерпанностью мира,* — говорит он Кону, *— в такую ошибку впадает любой оказавшийся в подвешенном состоянии: ни там, ни здесь.”* Майз пережил это состояние “подвешенности”, сумеет ли пройти его Кон?

Майзу, при всей любви к Иерусалиму, все еще снится Питер: ностальгия не выветрилась. У Кона же, как выясняется, особой ностальгии-то нет. Отношение Кона к Питеру очень похоже на отношение к этому городу Гоголя: оба южане, из Малороссии. И хотя Кон — потомок ненавидимого Гоголем жида Янкеля, но так же, как Гоголю, являлся ему в бредовых снах человек-призрак (Петромихали? Басаврюк?), так к Кону являлся в его студенческой каморке *”странный тип в лохмотьях, с моложавым лицом утопленника, и в трясущейся его ладони подрагивала мерцанием свеча...”*

Майз пытается вырвать Кона из сомнамбулического состояния, и к Кону неожиданно среди парка Боргезе приходит ощущение обретенной свободы: *”Господи, ну почему нельзя просто жить, каждый день, как пробуждение, переживая это римское небо, эти развалины, вызывающие печально-сладостное чувство бренности всего земного... Почему нельзя есть горячие каштаны, только с жаровни, на холодном ветру, влиться в веселую компанию художников, рисующих цветными мелками на асфальте мимолетные шедевры и зарабатывая весело звенящие монеты на хлеб и вино, как это, по рассказам Майза, делают художники на Монмартре, не думать о вечной славе...”* Красивая несбывшаяся мечта Кона, вырвавшегося на свободу, так и остается мечтой. Его пленяет судьба Писарро, Вламинка, Делоне, Коро. Приступ счастья, жизненной энергии. Художники Парижа и Рима — обладатели счастливых судеб — творили на своей земле, им не пришлось бежать сломя голову от голодных очередей, чернобыльской катастрофы, антисемитского воя толпы.

Майз знакомит Кона со своими друзьями из Иеруслаима. Вот они на ужине в доме руководителя Сохнута в Риме. Сам хозяин со странным именем Якоб Якоб. Отставной подполковник. Его молодая жена (вторая) Маргалит, медноволосая загадка, преподает в университете философию и литературу. Вздорный старикан с библейских именем Ноах, оказывается, живой классик ивритской литературы. Молодые люди в кипах, местные итальянские евреи, обожают Израиль, все собрались по случаю праздника Хануки. Кон окунается в мир израильского истаблишмента с его вечными спорами "справа" и "слева", шумным застольем, воспоминаниями службы — отставника Якоба Якоба о Войне за независимость. Майз живет внутри этого. Кон наблюдает со стороны.

Начинается роман с Маргалит. на расстоянии. Кон рисует Маргалит, уснувшую вечером, во время импровизированного визита в эмигрантскую квартирку Кона в Остии. Маргалит потрясена мастерством Кона. А он сражен "тициановским очерком щеки" Маргалит. *"Женщина, разговаривающая на чужом языке, и есть природа"*.

Воспоминания Маргавлит о кануне Шестидневной войны — рев арабских толп на улицах Каира, Аммана, Дамаска. И наконец *"парализованный тревогой маленький Израиль просыпается, еще сам того не зная, победителем, на ходу расширяя границы до Иордана и Суэцкого канала"*. Кон узнает историю Маргалит, гибель ее парня в войне Судного дня. Все его переживания выглядят бледно по сравнению с переживаниями Маргалит. Майз рассказывает о безрезультатных поисках двоюродного брата в Норвегии, уехавшего после службы в армии прогуляться, и исчезнувшего в этой северной вроде бы благополучной стране. А Кон, вспоминая всех своих прежних женщин, понимает, что всё было не то. Его женщина — израильтянка Маргалит — *"девочка из абсолютно иного, чужого мира, иного языка, иных предпочтений, иных страданий"*. Но она может жить только в своем мире, который чужд Кону. И снова, в галерее Уффици, наплывают мысли о самоубийстве. В ухо лезут эмигрантские истории о бросившихся с колоколен и мостов. Приходят мысли в капелле Медичи: *"Вся жизнь — это зависание над пропастью, это сны над звенящей пропастью..."*

Ощущая приближение депрессии, Кон пытается отвлечься разглядыванием картин в музеях Флоренции, слушает рассказы Майза о поисках его двоюродного брата. Его удивляют отношения израильтян друг к другу, к судьбе незнакомого человека. Низкие, недостойные мысли распирают, травят душу Кона. Например, зависть к более удачливому Май-

зу: "Во время уехал..."

Одинокий, безъязыкий человек посреди Европы, на исходе сорокалетия, потерявший всё и всех. Самый жестокий из всех приговоров тоталитарному режиму.

Кон ссорится с Майзом, столь участливо отнесшимся к нему. Умный, чуткий Майз понимает его состояние: *"Я еще не встречал за всю свою жизнь человека, который бы так жалел себя, как ты..."*

Шоры с глаз Кона снимает Маргалит, естественно через переводчика их туристской группы. Оказывается, Кон зря ревновал — они с Майзом разругались, и вот уже Кон счастлив, бродит с Маргалит по Венеции. Снова *"проступает в парной теплыни зимней Венеции темнохолодный Питер, всплывают сны Блока всей прошлой жизнью Кона. И сновидения, и тайные предчувствия, связанные с Питером, кажутся блеклыми акварельными красками рядом с истинной реальностью..."* А реальность — это Маргалит и *"Кон привыкнуть никак не может, Кон искоса поглядывает на эту легко летящую девочку, на которую все оглядываются — так без труда и просто рассекает она эту толпу, ветер, развевающий ее волосы, и при этом странные, явно мужские мысли слетают с ее губ..."*

Маргалит разрушает сны Кона, бросая ему прямо в лицо: *"Вы ведь просто хотите смыться от еврейства, и я очень рада, ибо знаю: вам это не удастся, как до сих пор не удавалось никому"*.

Рассказывая о знакомых эмигрантах из Остии, переводчик группы потрясает Кона известием об еще одном самоубийстве. Тут же известие о другом знакомце: кожевенник Гоц удрал в Германию. *"Гоц уехал в Германию? Господи, что творится. И этот тот самый Гоц, который говорил: никогда ногой не ступлю в Германию. Я смирюсь с миром, в котором кожа моей жизни шла на потребу нелюдям? Странное дело эмиграция..."*

Кон не хочет думать о собратях-эмигрантах, ныряющих в германиамерику. Наконец он остается вдвоем с Маргалит, объясняется с ней на отвратительном английском и, купив у киоскера пачку бумаги, рисует ее на фоне канала... Единственная интернациональная форма общения, в которой истинный художник может объясниться в любви. *"Он рисует эту женщину в виде водоворота, затягивающего его"*. Маргалит благодарно целует Кона, и... они расстаются. он провожает ее до гостиницы. Тонкая связь обрывается. И снова одиночество, комплексы эмигранта, обида. Ощущение "никому-не-нужности".

"Как ты мог подумать, Кон, только представить, что эта кра-

сотка, эта молодая профессорша, эта сирена аристократических кровей Израиля пленится бездомным, нищим художником-эмигрантом..."

Кон опять в Риме. И тут некий странный голос говорит: пора. *"Когда это впервые прокаркало над ухом Кона? Что пора, куда пора, о чем речь в этом самозащищающемся ядре, называемом самосознанием? Какое оно убийственно праздничное, это римское солнце над скелетом Колизея... Солнце самоубийц..."*

Кон внезапно ощущает подкрадывающееся Ничто. Какая-то неясная тень? Без лика? *"Ничто по-панибратски обнимает за плечи, щекочет горло"*. Ничто тянет куда-то. Вот он на мосту Сан-Анджело. Этот мост постоянно появляется в повествовании: *"Тотчас рядом остаенавливаются какие-то типы, тоже глядят в воду, бросая искоса, украдкой, поощрительные взгляды, вздыхая, ёрзая, наклоняясь над бездной..."* И снова что-то каркает: пора. Заколдованного этим голосом Кона вырывают из столбняка Якоб Якоб, Майз, Маргалит — они искренне рады ему, обнимают, с чего это он взял, что они обиделись? Оказывается, рисунки, наброски, сделанные Коном на набережной Венеции, потрясли какого-то итальянца, *"у которого связи с художественным миром во многих странах"*. Майз, забывший о хамской выходке Кона в Венеции, радуется за приятеля: *"Кон, по словам Майза, уже на коне, у него готовы купить все рисунки, и он прилетит в Штаты не безвестным жалким эмигрантишкой, а с именем..."* Майз и Маргалит твердо решили помогать Кону, вести его в этом новом для него мире. И странное Ничто отступает, убегает в потемки. Кон на выставке, в галерее, о чем и мечтать не мог в питерском подвале. Итальянский меценат восхищен работами Кона, щедро шелестит долларами, смеется, рассматривает линию жизни на ладони Кона, говорит, что тот будет жить долго. Полный успех на выставке. Американский миллионер обещает помочь в Штатах. Кон провожает Майза, Маргалит и старика Нуна в Париж. Все хорошо. На прощанье Кон вдруг отдает Майзелю альбом со старыми своими работами. Это все, что у него сохранилось о Питере. Он в приподнятом настроении. Маргалит целует его от всей души, нежно, как он мечтал во сне: они уже связаны, она принесла ему удачу, а он прославил ее лицо в своих картинах. Он весел. Его снова гонит это странное Ничто. Куда? зачем? Он же победитель, триумфатор. Майз и Маргалит приедут через неделю. Кон накупает дорогих сыров и колбас. Коньяк. Есть деньги. "Снимает" дешевую проститутку.

Идет с ней в ее комнату. Сцена с проституткой — здоровенной рубенсовской девкой — безобразна. Кон много ест и пьет. Справляет триумф? И снова мост Сан-Анджело. Его просто тянет сюда. Ангелы отвернулись от него, лицами к воде. "Ничто" рядом. *"Это уже не страх или, вернее, не только страх, это услышанный как бы со стороны всплеск, ледяной холод, охвативший тело... Вот оно — реальное, не дух, сон, наваждение — ничто, и нет спасения..."*

Глаз Бога? Кон — атеист, не знал, что самоубийство считается тяжким грехом в иудейской религии, как, впрочем, и в христианстве. Кона нет на земле. Остаются его рисунки, незавершенные картины, замыслы. Художник оставляет о себе память. Он кончает самоубийством, когда, казалось бы, победил, преодолел кризис первых месяцев эмиграции, получил долгожданное признание, и чувство к Маргалит получило ответ, становится чем-то реальным, появляется надежда. Что заставило Кона уйти из жизни? Только ли психическая неуравновешенность героя тому виной? Взрыв ностальгии? Но ведь ностальгии не было. Герой тонок душой, интеллектуален. Но ведь таков и Майз, и виолончелист Марк. Может быть дело в том, что Кон тоже "человек без кожи", как и его предшественник журналист Орман? Вот это ощущение "бескожности" и, главное, абсолютной **безопорности**, в сочетании с честностью души и привело героя на мост Сан-Анджело. В "Солнце самоубийц" Ефрем Баух отразил, хотел он этого или нет, суть трагедии российского (может быть, европейского?) еврейства после Катастрофы: потерявшие свои корни, забывшие о религии, уцелевшие европейские евреи не хотят помнить о еврействе, иудаизме, Израиле. Отсюда желание раствориться в европах-америках-канадах, уйти в заманчивое современное христианство. А сколько их (нас) таких, не желающих знать о своем еврействе, попало в Израиль?

Иные из нас хотят быть (и становятся) космополитами. Быть может, душевная слабость, привычка подчиняться обстоятельствам, отсутствие той самой внутренней свободы выбора заставляет жить там, куда вовсе не тянуло душой? В таком случае Кон — честный и мужественный герой "Солнца..." — прав, бросившись вслед за Ничто с моста Сан-Анджело.

Триумфатор Кон уходит из жизни, подчиняясь властному зову Ничто. Но в романе есть еще один, на наш взгляд, существенный штрих. Душа Кона встречается на небесах с душой молодого сабры Иосифа, исчез-

нувшего среди мира бывшего израильского десантника, родственника Майза, и тот, отвечая на вопросы Кона, улыбаясь, беззвучно читает молитву. Что же объединяет их судьбы? Молодые израильтяне сегодня исчезают из мира так же, как и галутные евреи.

Не есть ли в это тайный и грустный намек, прозвучавший в романе и раньше, во время спора старика Нуна с молодежью — поколение молодых сабр также разочаровывается в Израиле и, уходя из земли Обетованной в мир, — растворяется в нём.

Итак, рассмотренные выше четыре из пяти глубоких, философских романов Ефрема Бауха (роман "Оклик" не анализируется как чисто автобиографический) — цепь "снов о жизни", которые на самом деле и есть наша жизнь.

Автор принадлежит к тому счастливому поколению литераторов, еще успевшему подышать воздухом 60-х, приобщиться к останкам, осколкам российской прозы "серебрянного века". Оттуда прослеживается в его творчестве связь с прозой А.Платонова, И.Бабеля, раннего Эренбурга.

Являясь именно еврейским писателем, Ефрем Баух совершенно лишен ностальгии по галуту, его проза пронизана библейскими мотивами, что ощущается даже в стилистике. Истинное знание ТАНАХа, особенно книг великих еврейских пророков, "Книги Иова", "Книги Коэлета", использование этих сюжетов в прозе, все это требует подобного знания и у читателя.

Современному легковесному читателю (а равно и критику) насыщенность этой прозы библейскими реминисценциями, обилие метафор и метонимий может казаться сложной в понимании, зацикленной на национальном, смещивающей формы, когда прямое реалистическое повествование резко, без переходов сменяется внутренним монологом, захлестывающим потоком сознания то ли героя, то ли автора, а необузданная фантазия переходит во вполне бытовой диалог.

Начисто забывается при этом, что за подобные "грехи" ругали когда-то Лоренса Стерна, Джеймса Джойса, Альбера Камю, Андрея Платонова.

Проще всего налепить ярлык: не надо напрягаться. Войти в мир автора, распутать кажущуюся сложность, метафоричность его прозы, увидеть "дантову бездну" его глазами — гораздо сложнее.

Герои Ефрема Бауха — наши современники. Они не столько действуют, сколько переживают в душе абсурдность существования, они бесконечно одиноки в мире. Эти люди в душе романтики, поверившие в юности в лживые сказки, испытавшие крах веры и нашедшие силы для сопротивления и борьбы. Даже Кон, покончивший жизнь самоубийством, неизмеримо выше суетливого мирка регенбогенов-рагиных и двусмысленных. Трагедия героев Ефрема Бауха еще и в том, что в отличие от одиноких героев русской, европейской и американской литературы, они — евреи, кожей ощутившие беспощадность окружающего мира.

Отвергнувшие миражи "светлого будущего", но в полёте, в стремлении к своим истокам, к Земле обетованной, они, подобно героям шагаловских картин, зависают в воздухе, парят над землей, как бы вопрошая самих себя и Всевышнего — а не летят ли они к новым миражам, и есть ли для них вообще место на этой планете? Не есть ли абсолютное приятие сегодняшних национально-религиозных ценностей Израиля — самоизоляция от мировой культуры? Может ли современный галугный еврей, отбросивший мифологию социализма, полностью принять мифологию сионизма, создавшую "нового еврея"?

Ефрем Баух в своих романах и не дает окончательного ответа.

Каждый волен решать сам.

И, подобно библейскому Иову, может лишь задавать Богу свои извечные вопросы .

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Азов Марк (Айзенштадт) – писатель-сатирик, автор стихов, рассказов, повестей, пьес и киносценариев, а также эстрадных произведений для театра Аркадия Райкина. Участник второй мировой войны. В Израиле с 1994 г.

Член Союза писателей России и Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ). В 1996 г. выпустил книгу "Галактика в брикетах". Главный редактор журнала "Галилея". Живет в Нацрат-Илите.

Баткин Вильям – по образованию горный инженер. Репатриировался из Харькова в 1996 г. Автор стихотворных сборников "Надежда" и "Пойте песни о верности". Последняя книга – сборник сонетов – вышла в Израиле. Член СРПИ. Живет в Бейтар-Илите.

Бен-Натан Фредди (Зорин) – поэт, автор двух поэтических сборников. Член СРПИ. В Израиле с 1990 г. Живет в Ашдоде.

Боголюбов Ицхак родился в гор. Чечерске. Жил в Белоруссии. В Израиле с 1972 г. Автор двух книг, печатается в периодике. Живет в Афуле.

Бриман Михаил – журналист, драматург, поэт. Закончил филфак Харьковского университета. Работал собкором газеты "Советская культура" по Сибири и Дальнему Востоку. В Израиле с 1995 г. Сотрудничает в русскоязычной прессе. Живет в Нацрат-Илите.

Воловик Александр – поэт, прозаик, автор более десяти стихотворных сборников на русском языке и иврите, сборников рассказов, книги переводов стихов Иегуды Амихая, двух антологий ивритской поэзии в переводе на русский язык и др. Член СРПИ. В Израиле с 1976 г. Живет в Иерусалиме.

Геллер Михаил – поэт. Родился в Одессе, закончил Брестский педагогический институт, филолог. Работал в школе, затем заведовал

литотделом белорусской республиканской газеты "Зорька". Автор одиннадцати книг для детей. Член СРПИ. В Израиле с 1990 г. Живет в Нацрат-Илите.

Горчаков Генрих (Эльштейн) – прозаик, литературовед, автор книг "О Марине Цветаевой. Глазами современника". В Израиле выпустил книги "Л-1-105" и "Судьбой наложенные цепи". Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израила (1996). Член СРПИ. Живет в Афуле.

Гохлернер Моше – профессор, автор более двухсот печатных работ и нескольких монографий, изданных Харьковским и Московским университетами. Родился в гор. Ровно, окончил Харьковский университет, заведовал кафедрой иностранных языков и психологии Харьковского сельскохозяйственного института. В настоящее время руководит семинаром культуры при библиотеке Нацрат-Илита, преподает в ульпане.

Дибнер Фанна – киевлянка, печаталась в журнале "Юность", в израильской периодике, в альманахе "Роза ветров". Выпустила сборник рассказов "Цыганочка с выходом". В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

Дмитриева Света приехала в Израиль из Одессы в пятнадцатилетнем возрасте, служила в ЦАХАЛе. Ныне студентка архитектурного колледжа в Нацрат-Илите. Печаталась в периодике, выпустила книгу "Благодать".

Добин Владимир – поэт, журналист, автор пяти книг. Член Союза журналистов СССР и Союза журналистов Израила. Член международного ПЕН-клуба. Член СРПИ. Лауреат премии Союза журналистов СССР. В Израиле с 1992 г. Живет в Ришон ле-Ционе.

Ечмаева Нина родилась в Москве. Закончила Горьковский институт иностранных языков. Репатриировалась в 1993 г. Печатается в периодике, в 1998 г. выпустила сборник стихов "Поминальная свеча". Живет в Нацрат-Илите.

Зарецкая Злата – театровед, доктор искусствоведения, автор книги "Феномен израильского театра" (1997) и более пятидесяти работ об израильском театре. В Израиле с 1990 г. Член СРПИ. Живет в Маале-Адумим.

Захарова Инна – автор двух сборников стихов, преподаватель русского языка и литературы, член правозащитной группы "Мемориал". Живет в Харькове.

Земфира приехала в Израиль в пятнадцатилетнем возрасте из Белоруссии. Студентка биологического факультета Техниона. Живет в Афуле.

Зильман Виктор родился в Киеве, закончил биофак Черновицкого университета по специальности физиология и психология. Кандидат наук, автор ряда научных работ, учебников и пособий. В Израиле с 1991 г. Печтается в местной прессе.

Камянов Борис (Барух Авни) – поэт, публицист, переводчик, литературный редактор, автор многих стихотворных сборников. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1987). Член СРПИ. Член международного ПЕН-клуба. В Израиле с 1976 г. Живет в Иерусалиме.

Коган Валерий родился в гор. Шостка на Украине. Закончил педагогический институт. Работал в ведомственной киностудии при объединении "СВЕМА", преподавал в профтехучилище. Печтается в местной прессе, в сборниках. Репатрировался в 1994 г. Публикуется в израильской периодике. Живет в Нацрат-Илите.

Крамер Александр – поэт и актер. Родился на Украине. В настоящее время живет в Германии.

Кременчугский Петр – киевлянин, по образованию юрист. В Израиле с 1994 г. Публикуется в периодической печати. Живет в Нацрат-Илите.

Левинзон Рина – поэт, автор многочисленных стихотворных сборников. Переведена на арабский, иврит, немецкий. Лауреат литературной премии им. Рафаэли, лауреат первой премии на 13-м Международном конгрессе поэтов. Член СРПИ. Член международного ПЕН-клуба. В Израиле с 1976 г. Живет в Иерусалиме.

Локшина Нина (Эдельман) – поэт, переводчик, закончила Литературный институт им. Горького, автор книг "Родство времен" (1990), поэмы "Светильник в храме" (1993), "Моление о дожде" (1996). Лауреат премии Литвы (1989). Член СРПИ. В Израиле с 1991 г. Живет в Иерусалиме.

Мамонтова Нина – автор и исполнитель песен. Пишет стихи, рассказы. Родилась в Харькове, работала на заводе "ФЭД". Живет на Украине.

Мирошенский Даниил – поэт, бард, член СРПИ. Родился в Молдавии, закончил пединститут. Спортсмен, тренер по гребле. Печатался в журналах "Кодры", "Колумна", "Горизонт", в сборнике "Дельтаплан". В Израиле с 1990 г. Тренирует команду гребцов на Кинерете. Лауреат первого фестиваля авторской песни в Иерусалиме. В 1998 г. публиковался в альманахе "Ветка Иерусалима", выступает в программах радиостанции "РЭКА", печатается в периодике, выпустил книгу стихов "Поднять якоря". Живет в Мигдаль ха-Эмеке.

Нарыжный Виктор родился в Херсоне. Кадровый военный – офицер МВД. За 20 лет службы (1973-1993) побывал и на юге, и на севере – от Афганистана до Норильска. После выхода в отставку и до репатриации в 1995 г. жил в Умани. В Израиле издал два романа "Проклятые евреи" и "Не верь, не бойся, не проси", которые относит к жанру триллера. Сейчас работает над философским детективом "Упокой душу мою". Все три произведения опираются на фактический материал. Живет в Нацрат-Илите.

Ольшевский Рудольф – автор двадцати поэтических сборников, вышедших в Москве и Кишиневе. Живет в Кишиневе.

Подлубная Стелла жила в Ташкенте. По образованию инженер-литейщик. Автор стихов и пародий. Печаталась в периодике и альманахе "Роза ветров". В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

Рабкин Борис – поэт и бард. Родился и жил на Украине. Закончил Харьковский политехнический институт. Публикуется в периодической печати. В Израиле с 1996 г. Живет в Нацрат-Илите.

Реак-Гофштейн Анна – поэт, прозаик, журналист. Жила и работала в Донецке. Репатрировалась в 1991 г. Печатается в израильской периодике. Готовит к изданию книгу прозы "Дорога на родину". Член редакционной коллегии журнала "Галилея". Возглавляет культурный центр репатриантов в Нацрат-Илите, где и живет.

Ронкин Михаил – поэт, автор четырнадцати сборников стихотворений, из них пяти сатирических – в соавторстве с Эммануилом Прагом.

Более четверти века занимался переводами на русский язык стихов киргизских поэтов. Заслуженный деятель искусств Киргизии. Член Союза писателей СССР. В Израиле с 1993 г. Член СРПИ. Живет в Афуле.

Свирский Владимир – прозаик, автор романа "Ученик маркера", повести "Спроси у марки", сборников рассказов и литературоведческих работ. Член Союза писателей СССР. Член СРПИ. В Израиле с 1991 г. Живет в Мигдаль ха-Эмеке.

Супоницкий Юрий родился в Черновцах, закончил мединститут в Тюмени. В Израиле с 1990 г. Служил в ЦАХАЛе. Работает по специальности. Публикует стихи и прозу в израильской периодике. В 1998 г. выпустил книгу стихов "Возвращаясь, всегда забываешь". Член редакционной коллегии журнала "Галилея". Живет в Афуле.

Тайберт Ефим родился на Украине. До 1949 г. жил в Биробиджане, затем в Киеве. Художник-маляр. В Израиле с 1991 г. Живет в Нацрат-Илите.

Финкель Леонид – прозаик, драматург, публицист. Закончил Литературный институт им. Горького. Автор многочисленных сборников рассказов и повестей. Член Всесоюзной ассоциации писателей "Апрель", член Союза театральных деятелей СССР, член СРПИ, член международного ПЕН-клуба. Лауреат премии банка "Дисконт" и газеты "Надежда" на лучший рассказ (первая премия 1995 г.). В Израиле с 1992 г. Живет в Ашкелоне.

Фишелева Анна – участница второй мировой войны. Училась в Харьковском университете. Литредактор и библиотечный работник. В Израиле с 1994 г. Публикуется в периодике, выступает на радио "РЭКА". В 1997 г. выпустила сборник стихов "Дожди. Деревья". Живет в Нацрат-Илите.

Фридберг Грэгори родился на Алтае, жил в Литве. В Израиле с 1979 г. Член президиума Сионистского форума. Фотохудожник. Работал в Союзе художников Израиля, позднее – медицинским фотографом в больнице "Ха-Эмек" в Афуле. Был представлен на шестнадцати индивидуальных и групповых художественных выставках. Один из инициаторов издания и член редакционной коллегии журнала "Галилея". Пишет стихи и прозу. Живет в Нацрат-Илите.

Хармац Феликс жил в Ташкенте. Выпускник факультета АСУ политехнического института. Публиковался в альманахах "Молодая смена" и "Молодость". Участник скандально известного выступления "непричесанных авторов" "Автопортрет с Венеры". Выпустил самиздатом книжку поэм "Абсолютный ноль". В Израиле с 1992 г. Подготовил к изданию книгу стихов и прозы. Живет в Маалот.

Чеботарева Людмила – поэт, бард, член СРПИ. Преподаватель английского и испанского языков, переводчик. Публиковалась в альманахе "Ветрило", в сборнике "Радуга", в Израиле – в периодике и в альманахе "Роза ветров". Выпустила книгу "Четыре времени души". Готовит к изданию вторую книгу стихов "Вечны женщины". Живет в Нацрат-Илите.

Шмидт Отто закончил Киевский университет, по специальности электронщик. Пишет со школьной скамьи. Публикуется в газетах и журналах. В Израиле с 1993 г. В 1995 г. издал исторический детектив "Тайна медного свитка". Живет в Нацрат-Илите.

Шойхет Александр – прозаик, автор сборников "Приехали мы в Израиль" (1996) и "Танцы на чужих свадьбах" (2000). Член СРПИ, член международного ПЕН-клуба. В Израиле с 1990 г. Живет в Ришон ле-Ционе.

Ягубец Алиса – молодая поэтесса. Живет в Молдове.

СОДЕРЖАНИЕ

- Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ.** Иноходец. *Стихи* 3
- Марк АЗОВ.** Ицик Шрайбер в стране большевиков. Эпизоды. *Проза* 5
- Анна ФИШЕЛЕВА.** «О Боже, дай мне этот час...» *Стихи* 68
- Виктор ЗИЛЬМАН.** Выставка Шагала в Москве. 1987 год. Музыка. Зима. Бражник. Фламинго. *Стихи* 72
- Анна РЕАК-ГОФШТЕЙН.** Пустота. *Проза* 74
- Юрий СУПОНИЦКИЙ.** Иерусалим. «Город меж холмов распят...». «Мой белый Иерусалим...». Кто-то. Ископаемые. Кресла. *Стихи* 82
- Стелла ПОДЛУБНАЯ.** «Чего нам ждать осеннею порой...». «Сезонной влаги ждет дорога...». Сонет № 7. «Когда придет пора проститься...». *Стихи* 85
- ЗЕМФИРА.** Над темною водой. *Стихи* 87
- Света ДМИТРИЕВА.** Красной нитью. *Стихи* 88
- Ицхак БОГОЛЮБОВ.** Палладий. *Проза* 91
- Борис КАМЯНОВ.** «К величайшей вершине мира...». Старый Иерусалим. «Какая это сладкая тоска...». «Седьмые классы. Кипы всех расцветок...». «Прости, если можешь, за горькую эту любовь...». *Стихи* 98
- Владимир ДОБИН.** Крысы. «Есть редкое счастье – однажды понять...». «Пересеки Садовое кольцо...». Верлибры. «Время – это не враг...». *Стихи* 102
- Фредди БЕН-НАТАН.** «На всем есть смысла высшего печать...». «Напоминает куколка о том...». «Кто верит, книжку детскую листая...» *Стихи* 105
- Александр ВОЛОВИК.** Из «Книги молений». *Стихи* 107
- Владимир СВИРСКИЙ.** Виночерпий всея Руси. *Проза* 109
- Петр КРЕМЕНЧУГСКИЙ.** Как я поступал в консерваторию, или Спасибо товарищу Сталину... *Проза* 114
- Даниил МИРОШЕНСКИЙ.** Старый дом. Ночное. Предотъездное. «Если будет все барух ха-Шем...». *Стихи* 120
- Борис РАБКИН.** Биография. У черты. Евреи. Восток. *Стихи* 123
- Ефим ТАЙБЕРТ.** Сысой Сысоевич. *Проза* 125
- Фанна ДИБНЕР.** «Чтоб ты покушал...» *Проза* 130
- Михаил БРИМАН.** Декабрь в Хайфе. «А дни мои...». *Стихи* 133

Нина ЕЧМАЕВА. Город взрыва. «Отлетают пальцы от клавиш...». *Стихи* 135

Валерий КОГАН. Поговори со мной. Следы. *Проза* 137

Нина ЛОКШИНА. Посвящение. «От веселой букашки, ползущей по тонкому стеблю...». «Вязкий хумус, связки бус...». «Я к прыжку не готовлюсь, я брать не хочу высоту...». «На исходе субботы повисла луна...»
Стихи 146

Леонид ФИНКЕЛЬ. «Надо сделать, чтобы суббота была субботой...»
Проза 149

ФОТОГАЛЕРЕЯ 161

Рина ЛЕВИНЗОН. «Быть женщиной – дышать судьбой...». «Как за соломинку держусь...». «Господи, прости мне этот день...». «А жизнь и есть тепло и торжество...». «Свечу зажгу, перечитаю Зельду...». *Стихи* 169

Федерико Гарсиа ЛОРКА в переводах Людмилы Чеботаревой. «Если б я мог оборвать лепестки...». Поворот. Деревья. Есть души...*Стихи* 171

Виктор НАРЫЖНЫЙ. Лях. *Проза* 174

Отто ШМИДТ. Счастье привалило. *Проза* 179

Инна ЗАХАРОВА. Возвращение. «Умный компьютер играет в слова...»
Стихи 185

Алиса ЯГУБЕЦ. «Не изведав осенней печали...». Ушедшим. Мальчик.
Стихи 187

Нина МАМОНТОВА. Клячеловка и ее обитатели. *Проза* 189

Михаил ГЕЛЛЕР. Детское. *Стихи* 201

Феликс ХАРМАЦ. Лаврентий Павлович Гершензон и Черт. Чемодан. Он.
Проза 203

Александр КРАМЕР. Хвала недостаткам. *Проза.* По поводу священных коров. *Стихи* 207

Генрих ГОРЧАКОВ. О «Медном всаднике» А.С.Пушкина. *Эссе* 210

Моше ГОХЛЕРНЕР. «Русский роман». О романе Амоса Оза «Мой Михайль». 249

Вильям БАТКИН. Арон Копштейн. К 85-летию поэта. Воспоминания 260

Злата ЗАРЕЦКАЯ. Театральный ренессанс в Галилее, или Полеты с Мастером... *Очерк* 271

Михаил РОНКИН. Убийственный обман. Из путешествий по «белым пятнам». *Журналистская гипотеза* 279

Александр ШОЙХЕТ. Сны о жизни или сама жизнь? Опыт критического осмысления прозы Ефрема Бауха 285 